

БОРИС ПАСТЕРНАК

Проза 1915-1958. Повести, рассказы,
автобиографические произведения



ПАСТЕРНАК

Проза 1915-1958. Повести, рассказы,
автобиографические произведения

PASTERNAK
SHORT PROSE



Настоящее собрание сочинений Б. Л. Пастернака состоит из четырех томов. Один из них представляет выпущенный уже ранее нашим издательством роман “Доктор Живаго”. В трех других, подготовленных к печати и отредактированных проф. Г. П. Струве и Б. А. Филипповым, сделана первая попытка собрать воедино всё остальное когда-либо напечатанное Пастернаком, за исключением его переводов, поскольку последние не вошли в статьи о переводах. Настоящее издание, осуществляемое посмертно, задумано было еще при жизни поэта, и ему было известно о нем.

В западном мире довольно широко распространено мнение, будто бы Нобелевская премия по литературе была присуждена Б. Л. Пастернаку главным образом по политическим соображениям и во всяком случае исключительно за его роман “Доктор Живаго”. Мнение это, разумеется, ошибочно. Кандидатура Пастернака на Нобелевскую премию была выдвинута его иностранными поклонниками, когда о “Докторе Живаго” ничего еще не было известно: те, кто на Западе был знаком с современной русской литературой, отдавали себе отчет в том, какое место Пастернак занимает в русской поэзии. Еще в 1926 г. покойный кн. Д. П. Святополк-Мирский во втором томе своей английской “Истории русской литературы” писал: “Если бы русским поэтам моложе сорока лет предложено было в порядке голосования назвать имя первого среди молодых поэтов, на первом месте вероятно было бы названо имя Бориса Леонидовича Пастернака”. В 1934 г., на Первом съезде советских писателей, один из главных идеологов русского коммунизма, Н. И. Бухарин, сделав ряд идеологических оговорок, провозгласил Пастернака “одним из замечательнейших мастеров стиха в наше время”. А год спустя один советский критик писал: “Массовый читатель хочет знать крупнейшего поэта страны”. С тех пор Пастернак еще вырос как поэт. Но советскому читателю доступ к его произведениям более или менее закрыт. Его роман “Доктор Живаго”, его “Автобиографический очерк” и целый ряд стихотворений, написанных в последние годы жизни, не были напечатаны в Советском Союзе. Остальные произведения пока не переиздаются вот уже пятнадцать лет.

В настоящем, втором, томе Собрания сочинений печатается художественная проза Б. Л. Пастернака, начиная с рассказов, написанных в разное время и собранных в книгу впервые в 1925 г., и кончая “Автобиографическим очерком”, написанным Пастернаком для намечавшегося в 1957 г. однотомника его избранных стихотворений. Из-за последовавших на поэта после выхода за-границей “Доктора Живаго” гонений одно-

ПАСТЕРНАК

Проза 1915-1958. Повести, рассказы,
автобиографические произведения

МИЧИГАН
MICHIGAN

**БОРИС ПАСТЕРНАК
СОЧИНЕНИЯ**

Стихи и поэмы
1912-1932

Проза 1915-1958. Повести, рассказы,
автобиографические произведения

Стихи 1936-1959. Стихи для детей.
Стихи 1912-1957, не собранные в книги автора.
Статьи и выступления

Доктор Живаго

**ПРОЗА 1915-1958. ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

БОРИС ПАСТЕРНАК

Проза 1915-1958. Повести, рассказы, автобиографические произведения

Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова

Вступительная статья Владимира Вейдле

ANN ARBOR
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS

Copyright © by The University of Michigan 1961
All rights reserved
Published in the United States of America
by The University of Michigan Press
and simultaneously in Toronto, Canada,
by Ambassador Books Limited

Library of Congress Catalog Card No. 60-15772

Manufactured in the United States of America
by Rausen Bros., New York, N. Y.

ОТ РЕДАКТОРОВ

Во второй том Собрания сочинений Б. Л. Пастернака включена вся его художественная (в том числе и автобиографическая) проза, за исключением романа «Доктор Живаго», впервые изданного по-русски тем же американским издательством и составляющего теперь как бы четвертый том настоящего Собрания сочинений.

В приложении дано «Послесловие» к «Охранной грамоте», при жизни писателя никогда не печатавшееся.

В примечаниях приведены сведения библиографического характера — о всех публикациях каждого из помещенных в томе произведений Пастернака. Там же указаны все основные разночтения.

Редакторы приносят благодарность всем лицам, способствовавшим выходу в свет этого тома, в особенности же *О. Н. Анстей, Н. С. Благовещенской, А. С. Геренроту, И. Ф. Дорошу, Г. М. Каткову, графине Жаклине де Пруаяр, Б. И. Сагатову и В. С. Франку.*

*Глеб Струве
Борис Филиппов*

ПРОЗА ПАСТЕРНАКА

В середине двадцатых годов, когда стихи Пастернака горячо обсуждались и многими превозносились до небес, о прозе его речи почти не было. «Детство Люверс», однако, он опубликовал в том же году, что и «Сестру мою жизнь», а «Воздушные пути» через год после «Тем и вариаций», так что и тогда было достаточно оснований придавать его прозе не меньше значения, чем стихам. Основания эти еще умножились немного позже, когда появилась «Повесть» и произведшая всё же некоторое впечатление «Охранная грамота», но и после этого в авторе их продолжали видеть исключительно поэта, а прозаические его писания считать чем-то побочным и не уделять им особого внимания. Между тем тогдашним поклонникам его следовало бы этой прозой восторгаться едва ли не еще больше, чем стихами, оттого что поэтом оставался он и в ней, а его сугубо поэтический, до предела насыщенный образностью язык был здесь еще более нов, необычен, острее, чем в сочетании с рифмой и с привычным сравнительно размером. Но и независимо от этой (не очень оцененной) модернистической своей природы, а то и прямо ей наперекор, проза эта поражала чертами, резко отличавшими ее от той, что так пышно цвела у нас в то время. Любили расплывшуюся, рыхлую, а она была подтянута и сухощава, держалась вдали от разговорной речи, не подражала никакому «сказу», и синтаксис ее был четко артикулирован. Как и в стихах тех лет, Пастернак приближался тут скорей к западному, чем к нашему доморощенному модернизму. Некоторое сходство с его прозой обнаруживает у нас лишь проза Мандельштама, стихи которого на стихи Пастернака во-

все не похожи. За тридцать лет и больше она не выцвела, и немало в ней есть страниц, крепче слаженных, выверенных точнее, чем это можно сказать о многих современных ей пастернаковских стихах.

«Апеллесову черту», рассказ 1915 года, навеянный путешествием в Италию и озаглавленный сперва по-итальянски, а также «Письма из Тулы», написанные три года спустя — нечто среднее между рассказом и стихотворением в прозе — можно рассматривать еще как пробы пера. В них много таланта, натиска, задора, но и юношеского романтического сумбура (смягченного юмором в «Апеллесовой черте»). Однако намечается в них и та особая стремительность тона, та гибкость и четкость фразы, а главное, сквозь всё фехтованье словами, та меткость слова, которые скоро приведут к подлинному словесному мастерству. В «Детстве Люверс» и «Воздушных путях» оно уже проявилось полностью. Вот его образчик, относящийся к той передаче чувственных восприятий (в данном случае зрительных и слуховых), что и в стихах с самого начала лучше всего давалась Пастернаку, а здесь, на свободе, достигает и совсем безоблачной прелести:

«Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось брэнчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, замирая в воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошкары. Но брэнчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не запыхавшись, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданьями, не спеша».

Это из «Детства Люверс». А вот из «Воздушных путей» отрывок совсем другого рода, относящийся к ситуации, определяемой на предшествующей странице так: «Неизвестная дама в третий раз уже спрашивала члена президиума губисполкома, бывшего морского офицера Поливанова. Перед дамой стоял скучающий солдат». Действие происходит в 1920, примерно, году:

«Солдат отвечал даме, что Поливанов еще не ворочался. Скука трех родов слышалась в его голосе. Это была скука существа, привыкшего к жидкой грязи и

очутившегося в сухой пыли. Это была скука человека, сжившегося в заградительных и реквизиционных отрядах с тем, что вопросы задает он, а отвечает, сбиваясь и робея, такая вот барыня, и скучавшего оттого, что порядок образцового собеседования тут перевернут и нарушен. Это была, наконец, и та напускная скучливость, которою придают вид сущей обыковенности чему-нибудь совершенно небывалому. И, превосходно зная, каким неслыханным должен был казаться барыне порядок последнего времени, он напускал на себя дурь, точно о ее чувствах и не догадывался, и отродясь ничем другим, как диктатурой, и не дышал».

Отрывок этот, в силу своей темы, не столь непосредственно поэтичен, как предыдущий, но и он насыщен, отточен и закончен, как стихотворение. Стилистически в обоих отрывках нет ни малейшего изъяна, чего не скажешь о большинстве стихотворений, входящих в «Темы и вариации» или «Сестру мою жизнь». Меткость же их, изобразительная точность, в них достигнутая, тоже не оставляют ничего желать, хотя в обоих есть элемент игры, который сходству не вредит, а только дает его сильней почувствовать и устраняет опасность смешения его с чем-то заранее известным. В тех ранних двух опытах, как и в стихах, игра эта переплескивала через край, и тогда сходство исчезало или, верней, пропадал смысл о сходстве говорить: игра становилась беспредметной. Теперь это наблюдается реже. Закипающая сама собой образность речи получает оправдание: ее образы что-то изображают, и это что-то уточняется и углубляется. Меткость, как во втором отрывке, оборачивается психологической пронизательностью. Часто уже и не знаешь, чему радоваться больше, верности наблюдения или безощибочности слов, выражающих его, например, когда дети Люверс укладываются в вагоне на верхние места, а утром Женя, проснувшись, глядит вниз и видит там читающего газету незнакомого пассажира:

«Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, оставаясь лежать только оттого, что ждет, чтобы решение встать пришло само собой, без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли».

Таких отрывков и фраз, да и целых страниц такого качества в «Детстве Люверс» немало. Еще больше их в написанной позже «Повести». От искусно, но и несколько искусственно придуманных сюжетов, как в «Апелловой черте» и еще в «Воздушных путях» (где отец дважды находит сына, о существовании которого ему не было известно, и дважды его теряет — по-разному), Пастернак в дальнейшем отказался, но повествование само по себе, в прозе или в стихах, особенно такое, куда легко включались лирически окрашенные воспоминания, стало привлекать его еще сильнее чем прежде. Об этом свидетельствует не только упомянутая уже, оставшаяся неоконченной, как и «Детство Люверс», «Повесть», но и «1905 год», «Лейтенант Шмидт», «Высокая болезнь», «Спекторский», а также насыщенная лиризмом автобиография в прозе, названная «Охранной грамотой». Повествование требует некоторого обуздания первичного лирического порыва, того, что у героя «Повести» сливается с влюбленностью и определяется автором, как то ее «качество, благодаря которому язык кишит образами, метафорами и еще более того — загадочными образованиями, не поддающимися разъяснению». Дисциплина повествования в прозе тут действует сильнее, чем та, что присуща, например, роману в стихах, такому как «Спекторский», где, несмотря на резко прозаический словарь, не достигнута та новая, отнюдь не ведущая к скудости прозрачность, которая предчувствовалась уже в «Детстве Люверс» и еще определенной наметила в «Повести». Язык «Охранной грамоты» более цветист и прян, более приближается к языку «Воздушных путей» и даже чуть-чуть к «загадочным образованиям, не поддающимся разъяснению», о чем никто, впрочем, не пожалеет, кто прочтет хотя бы только страницы этих воспоминаний, посвященные Марбургу или Венеции. Но дальнейший путь Пастернака всё же «Повесть» указывала всего ясней. Недаром со второй половины тридцатых годов он уже работал над будущим «Доктором Живаго».

*

И всё же так безболезненно и прямолинейно он к этой книге, венцу своей жизни, не пришел. «Доктора Живаго», которого мы знаем, он бы не написал, если бы не

тот глубокий, нами лишь угадываемый душевный перелом, одним из следствий которого было осуждение самим поэтом всего прежнего своего творчества. Вторая автобиография начинается с приговора над первой: «К сожалению книга испорчена ненужной манерностью, общим грехом тех лет». Из этого нельзя не заключить, что, когда немного дальше упоминается об «удручающе неумелых писаниях тех лет», то относится это и к писаниям в прозе, а слова «я не тужу об исчезновении работ порочных и несовершенных» — к потерянным рукописям, отнюдь не только стихотворным. «Я не люблю своего стиля до 1940 года». «Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Всё нормально сказанное отскакивало от меня». Это тоже касается в равной мере стихов и прозы. И как бы нам ни казалась чрезмерной строгость этого суда, она объяснена и оправдана — опять таки в равной мере — стихами последних лет и прозой его лучшей книги.

Если вдуматься, однако, в точный смысл этих самообвинений, то позволительно будет прийти к выводу, что прозой они заслужены всё-таки меньше, чем стихами. О выкрутасах и манерностях скорей возможно говорить применительно к «Сестре моей жизни» и даже еще ко «Второму рождению», чем к «Повести», где их почти нет, или к «Охранной грамоте», где они так связаны с душой этой книги, что читатель с ними сживается и на них не сетует. От прозы двадцатых годов путь к «Доктору Живаго» короче и прямей, чем от стихов того же времени к стихам, образующим последнюю главу романа. Кроме того, если в манерности и выкрутасах обличать всякую сколько-нибудь непривычную или издалека притянутую образность, то от нее проза Пастернака никогда вполне не освободилась и не должна была освободиться, потому что черта эта неотделима от лучших ее качеств: от ее живости, меткости, выразительной силы. Тут же в «Автобиографическом очерке», когда речь заходит о смерти Толстого и о стараниях Софьи Андреевны оправдать себя перед толстовцами, ненужность этих стараний изображается при помощи метафор немного громоздких (гора, скала, туча, молния), напоминающих слегка язык «Писем из Тулы» или «Апеллесовой черты», но немноги-

ми строками дальше все придирки кажутся вздорными, когда читаешь, как лежал на постели в углу «маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков» и как «садившееся солнце четырьмя наклонными стопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью оконных крестовин и мелкими детскими крестиками вычертившихся елочек». — Поздняя проза Пастернака отнюдь не сводится к «нормально сказанному», т. е. сказанному будничным, чуждым поэзии языком; ее отличие от ранней лежит в другой плоскости, как и весь смысл происшедшей в его искусстве перемены.

Когда Жене Люверс объяснили, что странное зрелище, которое она каждый день наблюдала из своего окошка, было учением солдат, случилось следующее:

«Налет бездушья, потрясающий налет наглядности сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил».

Это замечательно верно увидено и прекрасно сказано, но отнести это можно и должно не только к тому, о чем тут непосредственно идет речь. «Потрясающий налет наглядности» — вот чего только или почти только и требует долгие годы от своего искусства Пастернак и чего, даже вопреки своему сознательному намерению, он вынужден от него требовать по самой природе своего таланта. Если бы он «одушевил», «возвысил» свой мир, он бы его обесцветил. Когда в «Воздушных путях» ему нужно изобразить людей, ищущих пропавшего ребенка, он пишет:

«Находясь на больших расстояниях друг от друга, они перекликивались и махали друг другу руками, и так как эти сигналы понимались всякий раз превратно, то тут же они принимались махать по-иному, порывистой, досадливой и чаще в знак того, что знаков не поняли и они отменяются, и чтобы не возвращаться, а продолжать искать там, где искали. Стройная бурность этих фигурок производила такое впечатление, точно, задумав ночью играть в лапту, они мяч упустили и теперь шарят его по канавам, и, найдя, игру возобновят».

Если «введенный в них смысл» одушевил и возвысил для Жени Люверс упражнявшихся в лагере солдат, сделал их близкими и тем самым обесцветил, то люди ищущие ребенка сделаны дальними, обездушены, принижены рассказывающим о них, и смысл их поисков им устранен, как раз для того, чтобы картина этих поисков была не обесцвечена, а возможно более наглядна. Лучше всего это достигается последней фразой, которая всего успешней возвращает картине «налет бездушья, потрясающий налет наглядности». Этого потрясения рассказчик именно и искал; оно, по связи его рассказа, нужно и вполне оправдано; и всё-таки, если взглянуть на раннюю прозу и тем более на тогдашние стихи Пастернака в целом, придется сказать, что этот постоянно искомый и находимый «налет наглядности» придает им как никак и некоторый «налет бездушья». Слети с них этот налет — так мы чувствуем, и чувствуем слишком часто — всё улетело бы с ним: не о чем было бы писать, нечем было бы любоваться.

С одной стороны, это в порядке вещей. Для ребенка и поэта мотивировки, объяснения, причинно-следственная понятность мира обесцвечивают его, делают его будничным и пресным. Но поэзия бывает соткана из одной поэзии разве что в раю. После того как сорван плод с древа познания добра и зла, ей нужен мир, такой, как он есть, и знающая о нем человеческая совесть. К этой поэзии во всей ее полноте, но достигшей полноты только через отречение от чего-то, что составляло часть ее самой, Пастернак и шел, медленно, всю свою жизнь; к ней и пришел после перелома в конце жизни. Воплотил он ее и в стихах, но прежде всего в своей прозею написанной и названной романом поэме. В наглядности языку ее и тому, что в ней показано, не откажет никто, но необходимая жертва принесена, а потому и обошлось без того, чтобы на людях, странствиях, временах, о которых мы читаем тут, лежал какой-либо, хотя бы и самый легкий, налет бездушья.

В. Вейdle

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

МЛАДЕНЧЕСТВО

1

В «Охранной грамоте», опыте автобиографии, написанном в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет.

В настоящем очерке я не избегну некоторого пересказа ее, хотя постараюсь не повторяться.

2

Я родился в Москве 29 января 1890 года по старому стилю, в доме Лыжина, против Духовной семинарии в Оружейном переулке. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашенные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашею квартирой над воротами, в арке их сводчатого перекрытия.

3

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовав-

шим и всё объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка-великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П. П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный — Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. А в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных, и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое.

4

Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества, на Мясницкой против почтамта. Квартира помещалась во флигеле, внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боковое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулка заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с активным залом училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль к вокзалам.

С этого балкона население дома наблюдало в 1894 году церемониал перенесения праха императора Александра Третьего, а затем, спустя два года, отдельные сцены коронационных торжеств при воцарении Николая Второго.

Стояли учащиеся, преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти посыпанная песком пустая улица замирала в ожидании. Суетились военные, отдавая во всеуслышание громкие приказания, не достигавшие однако слуха зрителей наверху, на балконе, точно тишина затаивших дыхание тысяч, оттесненных шпалерами солдат с мостовой к краям тротуаров, поглощала звуки без остатка, как песок воду. Зазвонили уныло, протяжно. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска, духовенство, лошади в черных пополах с султанами, немыслимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянuty целыми полосами крепа и обиты черным, и потупленно висели траурные флаги.

Дух помпы был неотделим от училища. Оно состояло в ведении Министерства императорского двора. Великий князь Сергей Александрович был его попечителем, посещал его акты и выставки. Великий князь был худ и долговяз. Прикрывая папками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицыных и Якунчиковых, где он присутствовал.

5

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил письмоводитель училища.

Вот что я прочел пятьдесят лет спустя, совсем недавно, в позднейшее советское время, в книге Н. С. Родионова — «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого» на странице 125-й, под 1894 годом:

«23 ноября Толстой с дочерьми ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зод-

чества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолончелист А. А. Брандуков».

Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором училища был князь Львов, а не отец.

Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которою я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное меня вынесли к гостям, или может быть сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она была полна табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высывались из платьев, как именные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Н. Н. Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его, и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич.

Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепиано в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне не привычны и встревожили, как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастье.

То была, кажется, зима двух кончин: смерти Антона Рубинштейна и Чайковского. Вероятно, играли знаменитое трио последнего.

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспомощностью младенчества и моим дальнейшим детством. С

нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого.

6

Весной в залах училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сараи, которые линией тянулись за нашим домом, против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках проносили через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений.

Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только вначале и недолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, отец и другие составили более молодое объединение — «Союз русских художников».

В конце девяностых годов в Москву приехал всю жизнь проведший в Италии скульптор Павел Трубецкой. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Робекки, а также его модели — от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской.

Из той же кухни производилась отправка в Петербург замечательных отцовских иллюстраций к толстовскому «Воскресению». Роман, по мере окончательной отделки, глава за главой печатался в журнале «Нива», у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочной. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили

регулярно, без опоздания. Надо было поспеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры, и в них все переделывал. Возникла опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения: в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла.

Рисунки, ввиду спешности, отправляли с оказией. К делу привлечена была кондукторская бригада курьерских поездов Николаевской железной дороги. Детское изображение поражал вид кондуктора в форменной железнодорожной шинели, стоявшего в ожидании на пороге кухни, как на перроне, у вагонной дверцы отправляемого поезда.

На плите варился столярный клей. Рисунки второпях протирали, сушили фиксативом, наклеивали на картон, заворачивали, завязывали. Готовые пакеты запечатывали сургучом и сдавали кондуктору.

СКРЯБИН

1

Два первые десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья, с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор училища, во дворе церкви Флора и Лавра, считавшихся покровителями коневодства, производилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и конюхами, наводнялся весь переулок до ворот училища, как в конную ярмарку.

С наступлением нового века, на моей детской памяти, мановением волшебного жезла все преобразилось. Мос-

кву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству, искусству большого города, молодому, современному, свежему.

2

Горячка девятисотых годов отразилась и на Училище. Казенных ассигнований не хватало на его содержание. Поручили дельцам изыскание денежных средств для пополнения бюджета. Решено было возводить на земле Училища многоэтажные жилые корпуса для сдачи квартир внаем, а посередине владения, на месте прежнего сада, выстроить стеклянные выставочные помещения, также для сдачи в аренду. В конце девяностых годов стали сносить дворовые флигеля и сараи. На месте выкорчеванного сада вырыли глубокие котлованы. Котлованы наполнились водой. В них, как в прудах, плавали утонувшие крысы. С земли в них прыгали и ныряли лягушки. Наш флигель тоже предназначен был на слом.

Зимой нам оборудовали новую квартиру из двух или трех классных комнат и аудиторий в главном здании. Мы в нее перебрались в 1901 году. Так как квартиру перекраивали из помещений, из которых одно было круглое, а другое еще более прихотливой формы, то в новом жилище, в котором мы прожили десять лет, были чулан и ванна с площадью в виде полумесяца, овальная кухня и столовая, со входящим в нее полукруглым выемом. За дверью всегда слышался заглушенный гул училищных мастерских и коридоров, а из крайней, пограничной комнаты можно было слушать лекции по устройству отопления профессора Чаплыгина, в архитектурном классе.

Предшествующие годы, еще на старой квартире, со мною занимались дошкольным обучением то мать, то какой-нибудь приглашенный частный преподаватель. Одно время меня готовили в Петропавловскую гимназию, и я проходил все предметы начальной программы по-немецки.

Из этих наставников, которых я вспоминаю с благодарностью, назову первую свою учительницу Екатерину Ивановну Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. Она обучала меня грамоте, начаткам арифметики и французскому, с самых азов, с того, как сидеть на стуле и держать ручку с пером в руке. Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер меблированных комнат. В номере было темно. Он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, кипяченым молоком и жженым кофе. За окном, покрытым кружевной вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязанья, грязноватый серо-кремовый снег. Он отвлекал меня, и я отвечал Екатерине Ивановне, разговаривавшей со мной по-французски, невпопад. По окончании урока Екатерина Ивановна вытирала перо изнанкой кофты и, дождавшись, когда за мной зайдут, отпускала меня.

В 1901 году я поступил во второй класс Московской Пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Ванновского и, сверх введенного в курс естествознания и других новых предметов, сохранившей в программе древне-греческий.

3

Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском близ Малоярославца по Брянской, ныне — Киевской железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки, из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сквороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и Господи Сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце. Лесная движущаяся тень то так, то сяк всё время поправляла на нем шапку. На его подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем, всегда неожиданным, чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью

похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепьянном выражении сочиняли на соседней даче.

Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903-го, а не 1803-го года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно глубокого, риторически почтенного, «как у Бетховена», «как у Глинки», «как у Ивана Ивановича», «как у княгини Марьи Алексевны», но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как падший ангел.

Предполагалось, что сочиняющий такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как Бог, в день седьмой почивший от дел Своих. Таким он и оказался.

Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого не доставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным. Тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском.

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека,

аморализм, нищенство. В одном они были согласны — во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились.

Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в сущность его мнений, я был на его стороне. Скоро он на шесть лет уехал в Швейцарию.

В ту осень возвращение наше в город было задержано несчастным случаем со мной. Отец задумал картину «В ночное». На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим холмом. Увязавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы при всех призывах.

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного брэнчал на рояле и с грехом пополам подбирал кое-что свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика, благороднейшего Ю. Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р. М. Глиера.

Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты, мне все прощали ради музыки, все виды неблагодарного свинства по отношению к старшим, которым я в подметки не годился, упрямство, непослушание, небрежность и странности поведения. Даже в гимназии, когда на уроках греческого или математики меня накрывали за решением задач по фуге и контрапункту в разложенной на парте нотной тетради и, спрошенный с места, я стоял как пень и не знал, что ответить, товарищи всем классом выгораживали меня, и учителя мне все спускали. И несмотря на это я оставил музыку.

Я ее оставил, когда был вправе ликовать и все кру-

гом меня поздравляли. Бог и кумир мой вернулся из Швейцарии с «Экстазом» и своими последними произведениями. Москва праздновала его победы и возвращение. В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.

Но никто не знал о тайной беде моей и, скажи я о ней, никто бы мне не поверил. При успешно подвинувшемся сочинительстве, я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.

Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, взывавшее к оплате, непозволительная отроческая заносчивость, нигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся настоящим и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзкость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, всё должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия.

Это была обратная сторона Скрябинского влияния, в остальном ставшего для меня решающим. Его эгоцентризм был уместен и оправдан только в его случае. Семна его воззрений, по-детски превратно понятых, упали на благодарную почву.

Я и без того с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному. Чуть ли не с Родионовской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству.

Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещи-

лось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемыш.

В моих несчастиях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадание на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка негодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, у меня опускались руки.

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами.

4

Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер.

Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней, Скрябиным моих воспоминаний, Скрябиным, которым я жил и питался, как хлебом насущным, остался Скрябин среднего периода, приблизительно от третьей сонаты до пятой.

Гармонические зарницы Прометея и его последних произведений кажутся мне только свидетельствами его гения, а не повседневною пищею для души, — а в этих свидетельствах я не нуждаюсь, потому что поверил ему без доказательства.

Люди, рано умиравшие, — Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие, — перед смертью углублялись в поиски новых средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, его гласные и согласные.

Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов.

Так на старом Моцартовско-Фильдовском языке Шопен сказал столько ошеломляюще нового в музыке, что он кажется вторым ее началом.

Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса, в прелюдиях одиннадцатого всё современно, всё полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались.

Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и пронизательно.

Вдруг в течение мелодии врывается ответ или возражение ей в другом, более высоком и женском голосе и другом, более простом и разговорном тоне. Нечаянное препирательство, мгновенно улаживаемое несогласие. И нота потрясающей естественности вносится в произведение, той естественности, которою в творчестве решается всё.

Вещами общеизвестными, ходовыми истинами полно искусство. Хотя пользование ими всем открыто, общеизвестные правила долго ждут и не находят применения. Общеизвестной истине должно выпасть редкое, раз в сто лет улыбающееся счастье, и тогда она находит приложение. Таким счастьем был Скрябин. Как Достоевский не романист только и как Блок не только поэт, так Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры.

ДЕВЯТИСОТЫЕ ГОДЫ

1

В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были заготовлены кучи булыжника и ввинчены шланги в пожарные краны для встречи погромщиков.

В училище заворачивали демонстранты из мимо идущих уличных шествий, устраивали митинги в актовом зале, завладевали помещениями, выходили на балкон, произносили сверху речи оставшимся на улице. Студенты училища входили в боевые организации, в здании ночью дежурила своя дружина.

В бумагах отца остались наброски: в агитаторшу, говорившую с балкона, снизу стреляют налетевшие на толпу драгуны. Ее ранят, она продолжает говорить, хватаясь за колонну, чтобы не упасть.

В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летали шальные пули и бешено носились конные патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу.

Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры, «Бича», «Жупела» и других, куда тот его приглашал.

Вероятно тогда, или позже, после годичного пребывания с родителями в Берлине, я увидел впервые в моей жизни строки Блока. Я не помню, что это было такое, «Вербочки», или из «Детского», посвященного Олениной д'Альгейм, или что-нибудь революционное, городское, но свое впечатление помню так отчетливо, что могу его восстановить и берусь описать.

2

Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблю-

давших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся, и только потому незамечаемой, неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с Блоком. Таково было его одинокое, по-детски неиспорченное слово, такова сила его действия.

Бумага содержала некоторую новость. Казалось, что новость сама без спроса расположилась на печатном листе, а стихотворения никто не писал и не сочинял. Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем свои сырые, могуче воздействующие следы.

3

С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников, о которых речь будет ниже. У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба. Из этих качеств, и еще многих других, остановлюсь на одной стороне, может быть наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений.

Свет в окошке шатался.
В полумраке один
У подъезда шептался
С темнотой арлекин.

.

По улицам метель метет,
Свивается, шатается,

Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

.

Там кто-то машет, дразнит светом.
Там зимней ночью на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом
И быстро скроется лицо.

.

Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость, — как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица.

Эти черты проникают существо Блока, Блока основного и преобладающего, Блока второго тома Алконостовского издания, Блока «Страшного мира», «Последнего дня», «Обмана», «Повести», «Легенды», «Митинга», «Незнакомки», стихов: «В туманах, над сверканьем рос», «В кабаках, в переулках, в извивах», «Девушка пела в церковном хоре».

Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.

Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город Блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт,

отобранных рукой такую нервною, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира.

4

Я имел случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве, — Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний наезд в Москву, в коридоре или на лестнице Политехнического музея, в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме Печати и в Обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме Печати Блоку под видом критической неподкупности готовят «бенефис», разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с Блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом Печати, вечер кончился, и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме Печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины.

5

В те годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, совершенно сложившимся поэтическим слогом. Хваленая самобытность других, в том числе и моя, проистекала от полной беспо-

мощности и связанности, которые не мешали нам, однако, писать, печататься и переводить. Среди удручающе немелких писаний моих того времени самые страшные — переведенная мною пьеса Бен Джонсона «Алхимик» и поэма Гете «Тайны» в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе, среди других его рецензий, написанных для издательства «Всемирная литература» и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв; в оценке своей заслуженный, справедливый. — Однако от забежавших вперед подробностей пора вернуться к покинутому нами изложению, оставившемуся у нас на годах давнопрошедших, девяностых.

6

Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, предоставленному дядею, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в Петербург на рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирал какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским.

Еще большее, настоящее представление о путешествии получил я от поездки всей семьей в 1906 году в Берлин. Я в первый раз попал тогда за границу.

Всё необычно, всё по-другому. Как будто не живешь, а видишь сон, участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ. Длинный ряд распахивающихся и захлопывающихся дверей вдоль всей стены вагона, по отдельной дверце в каждом купе. Четыре рельсовых пути по кольцевой эстакаде, высящейся над улицами, каналами, скаковыми конюшнями и задними дворами исполинского города. Нагоняющие, обгоняющие друг друга, идущие рядом и расходящиеся поезда. Двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга огни улиц под мостами, огни вторых и третьих этажей на уровне свайных путей, иллюминированные разноцветными огоньками ав-

томатические машины в вокзальных буфетах, выбрасывающие сигары, лакомства, засахаренный миндаль. Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивной пены, слушал Вагнера. Берлин был полон русскими. Композитор Ребиков играл знакомым свою «Елку» и делил музыку на три периода: на музыку животную до Бетховена, музыку человеческую в следующем периоде и музыку будущего после себя.

Был в Берлине и Горький. Отец рисовал его. Андреевой не понравилось, что на рисунке скулы выступили, получились угловатыми. Она сказала: «Вы его не поняли. Он — готический». Так тогда выражались.

7

Наверное после этого путешествия, по возвращении в Москву, в жизнь мою вошел другой великий лирик века, тогда едва известный, а теперь всем миром признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке.

В 1900 году он ездил в Ясную Поляну к Толстому, был знаком и переписывался с отцом и одно лето прогостил под Клином в Завидово, у крестьянского поэта Дрожжина.

В эти далекие годы он дарил отцу свои ранние сборники с теплыми надписями. Две такие книги с большим запозданием попались мне в руки в одну из описываемых зим и ошеломили меня тем же, чем поразили первые виденные стихотворения Блока: настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи.

8

У нас Рильке совсем не знают. Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны. Переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне.

В 1913 году в Москве был Верхарн. Отец рисовал его. Иногда он обращался ко мне с просьбой занять портретируемого, чтобы у модели не застывало и не мертвело

лицо. Так однажды я развлекал историка В. О. Ключевского. Так пришлось мне занимать Верхарна. С понятным восхищением я говорил ему о нем самом и потом робко спросил его, слышал ли он когда-нибудь о Рильке. Я не предполагал, что Верхарн его знает. Позировавший преобразился. Отцу лучшего и не надо было. Одно это имя оживило модель больше всех моих разговоров. — «Это лучший поэт Европы, — сказал Верхарн, — и мой любимый названный брат».

У Блока проза остается источником, откуда вышло стихотворение. Он ее не вводит в строй своих средств выражения. Для Рильке живописующие и психологические приемы современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от языка и стиля его поэзии.

Однако сколько бы я ни разбирал и ни описывал его особенностей, я не дам о нем понятия, пока не приведу из него примеров, которые я нарочно перевел для этой главы с целью такого ознакомления.

9

За книгой

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья строки рвутся
И буквы катятся, куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог

Дороже золота цена при этом.
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко всё, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему!
Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села
Как свет в последнем домике прихода.

Созерцание

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать среди неожиданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.

Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.

Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.

Всё, что мы побеждаем — малость.
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Совет борцов совсем не тех.

Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под статью.

Как арфу он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознаныи и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

10

Приблизительно с 1907 года стали расти как грибы издательства, часто давали концерты новой музыки, одна за другою открывались выставки картин «Мира Искусства», «Золотого Руна», «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубой розы». Вместе с русскими именами Сомова, Сапунова, Судейкина, Крымова, Ларионова, Гончаровой мелькали французские имена Боннара и Вьюяра. На выставках «Золотого Руна» в затененных занавесями залах, где пахло землей, как в теплицах, от наставленных кругом горшков с гиацинтами, можно было видеть присланные на выставку работы Матисса и Родена. Молодежь примыкала к этим направлениям.

На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось старое деревянное жилье домовладельца генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие. Зимы он проводил за границей. Знакомые собирались у него в хорошую погоду весной и осенью. Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа.

Хозяин, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски, сам воплощал собою поэзию в той степени, которая составляет очарование любительства и при которой трудно

быть еще вдобавок творчески сильной личностью, характером, из которого вырабатывается мастер. У нас были сходные интересы, общие любимцы. Он мне очень нравился.

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурьин, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он меня переманил из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах. Он жил бедно, содержа мать и тетку уроками, и своей восторженной прямоотой и неистовой убежденностью напоминал образ Белинского, как его рисуют предания.

Здесь университетский мой товарищ К. Г. Локс, которого я знал раньше, впервые показал мне стихотворения Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неизвестным.

У кружка было свое название. Его окрестили Сердардой, именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев, однажды на Волге. Он его слышал в ночной суматохе двух сошедшихся у пристани пароходов, когда один пришвартовывают к другому и публика с нового парохода проходит с багажом на пристань через внутренность ранее причаленного, смешиваясь с его пассажирами и вещами.

Гурьев был из Саратова. Он обладал могучим и мягким голосом и артистически передавал драматические и вокальные тонкости того, что он пел. Как все самородки, он одинаково поражал непрерывным скоморошничеством и задатками глубокой подлинности, проглядывавшими сквозь его ломанье. Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есенина. Это был готовый артист, оперный и драматический, в исконной актерской своей сути, неоднократно изображенный Островским.

У него была лобастая, круглая, как луковица, голова с едва заметным носом и признаками будущей лысины во весь череп, от лба до затылка. Весь он был движение, выразительность. Он не жестикулировал, не размахивал руками, но верх туловища, когда он, стоя, рассуждал или декламировал, ходил, играл, говорил у него. Он склонял

голову, откидывался назад корпусом, и ноги ставил врозь, как бы застигнутый в плясовой с притоптыванием. Он немного зашибал и в запое начинал верить в свои выдумки. К концу своих номеров он делал вид, что пятка пристала у него к полу и ее не оторвать, и уверял, будто черт ловит его за ногу.

В Сердарде бывали поэты, художники, Б. Б. Красин, положивший на музыку Блоковские «Вербочки», будущий сотоварищ ранних моих дебютов Сергей Бобров, появлению которого на Разгуляе предшествовали слухи, будто это новонародившийся русский Рембо, издатель «Мусагета» А. И. Кожебаткин, наезжавший в Москву издатель «Аполлона» Сергей Маковский.

Сам я вступил в Сердарду на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались.

Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали, гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинившимся от безлюдья улицам гроыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры», — говорил кто-нибудь на языке времени.

11

Вокруг издательства «Мусагет» образовалось нечто вроде академии. Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовской, Эмилий Метнер, Шенрок, Петровский, Эллис, Нилендер занимались с сочувственной молодежью вопросами ритмики, историей немецкой романтики, русской лирикой, эстетикой Гете и Рихарда Вагнера, Бодлером и французскими символистами, древнегреческой досократовской философией.

Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авторитет этого круга тех дней, первостепенный поэт и еще более поразительный автор «Симфоний» в прозе и романов «Серебряный голубь» и «Петербург», совершивших переворот в дореволюционных вкусах со-

временников и от которых пошла первая советская проза.

Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгулявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бесплодную и разрушительную силу. Этот изъян излишнего одухотворения не ронял его, а вызывал участие и прибавлял страдальческую черту к его обаянию.

Он вел курс практического изучения русского классического ямба и методом статистического подсчета разбирал, вместе со слушателями, его ритмические фигуры и разновидности. Я не посещал работ кружка, потому что, как и сейчас, всегда считал, что музыка слова явление не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания.

Иногда молодежь при «Мусагете» собиралась не в конторе издательства, а в других местах. Таким сборным местом была мастерская скульптора Крахта на Пресне.

В мастерской был жилой верх в виде неогороженных, свешивавшихся сверху полатей, а внизу, задрапированные плющом и другой декоративной зеленью, белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина.

Однажды поздней осенью я читал в мастерской доклад под названием «Символизм и бессмертие». Часть общества сидела внизу, часть слушала сверху, разлегшись на полу антресолей и выставив за их край головы.

Доклад основывался на соображении о субъективности наших восприятий, на том, что ощущаемым нами звукам и краскам в природе соответствует нечто иное, объективное колебание звуковых и световых волн. В докладе проводилась мысль, что эта субъективность не является свойством отдельного человека, но есть качество родовое, сверхличное, что это субъективность человеческого мира, человеческого рода. Я предполагал в докладе, что от каждой умирающей личности остается доля этой неумирающей, родовой субъективности, которая содержалась в человеке при жизни и которую он участвовал в истории человеческого существования. Главной целью доклада было выставить допущение, что, мо-

жет быть, этот предельно субъективный и всечеловеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и главное содержание искусства. Что, кроме того, хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье существования, которое он испытал, бессмертно, и в некотором приближении к личной и кровной форме его первоначальных ощущений может быть испытано другими, спустя века после него, по его произведениям.

Доклад назывался «Символизм и бессмертие» потому, что в нем утверждалась символическая, условная сущность всякого искусства, в том самом общем смысле, как можно говорить о символике алгебры.

Доклад произвел впечатление. О нем говорили. Я с него вернулся поздно. Дома я узнал, что задержанный болезнью в пути после ухода из Ясной Поляны Толстой скончался на станции Астапово и что отец вызван туда телеграммой. Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал к ночному поезду.

12

Тогда выезд за город был заметнее, чем теперь, сельская местность больше отличалась от городской, чем в настоящее время. С утра окно вагона наполнила и уже весь день не оставляла ровная, едва оживляемая редкими селениями ширь паров и озимей, тысячеверстная ширь России пахотной, деревенской, которая кормила небольшую городскую Россию и на нее работала. Землю уже посеребрили первые морозы, и необлетевшее золото берез обрамляло ее по межам, и это серебро морозов и золото берез скромным украшением лежало на ней, как листочки накладного золота и серебряной фольги на ее святой и смиренной старине.

Вспаханная и отдыхающая земля мелькала в окнах вагона и не знала, что где-то рядом, совсем неподалеку, умер ее последний богатырь, который по родовитости мог быть ее царем, а по искушенности ума, избалованного всеми тонкостями мира, баловнем всем баловникам и барином всем барам, и который, однако, из любви к ней и совестливости перед ней ходил за сохой и одевался и подпоясывался по-мужицки.

Наверное стало известно, что покойного будут рисовать, а потом приехавший с Меркуровым формовщик будет снимать с головы маску, и прощавшихся удалили из комнаты. Когда мы вошли, она была пуста. Из дальнего угла навстречу отцу быстро шагнула заплаканная София Андреевна и, схватив его за руки, судорожно и прерывисто промолвила сквозь слезы: «Ах, Леонид Осипович, что я перенесла! Вы ведь знаете, как я его любила». И она стала рассказывать, как она пыталась покончить с собой, когда Толстой ушел, и топилась, и как ее, едва живую, вытащили из пруда.

В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была ее большой отдельной скалой. Комнату занимала грозовая туча в полнеба, и она была ее отдельной молнией. И она не знала, что обладает правом скалы и молнии безмолствовать и подавлять загадочностью поведения и не вступать в тяжбу с тем, что было самым нетолстовским на свете — с толстовцами, и не принимать карликового боя с этой стороною.

А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что преданностью и идейным пониманием превосходит соперников, и уберегла бы покойного лучше, чем они. Боже, думал я, — до чего можно довести человека, и более того: жену Толстого.

Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль, как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему следовало жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и всё было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней и присочинил бы несколько продолжений к Онегину и написал бы пять Полтав вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне.

Но в углу лежала не гора, а маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков, которых десятки он описал и рассыпал по своим страницам. Место было кругом утыкано невысокими елочками.

Садившееся солнце четырьмя наклонными снопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью оконных крестовин и мелкими детскими крестиками вычертившихся елочек.

Станционный поселок Астапово представлял в тот день нестройно шумевший табор мировой журналистики. Бойко торговал буфет на вокзале, официанты сбивались с ног, не поспевая за требованиями и бегом разнося поджаристые бифштексы с кровью. Рекою лилось пиво.

На вокзале были Толстые, Илья и Андрей Львовичи. Сергей Львович прибыл в поезде, пришедшем за прахом Толстого для перевоза его в Ясную Поляну.

С пением «Вечной памяти» студенты и молодежь перенесли гроб с телом по станционному дворику и саду на перрон к поданному поезду и поставили в товарный вагон. Толпа на платформе обнажила головы, и под возобновившееся пение поезд тихо отошел в Тульском направлении.

Было как-то естественно, что Толстой упокоился, успокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежащую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели и обняли их взором и увековечили, навсегда на ней закрылись.

15

Если взять по одному качеству от каждого писателя, например, назвать страстность Лермонтова, многосодержательность Тютчева, поэтичность Чехова, ослепительность Гоголя, силу воображения Достоевского, — что сказать о Толстом, ограничив определение одной чертой?

Главным качеством этого моралиста, уравнителя, проповедника законности, которая охватывала бы всех без послаблений и изъятий, была ни на кого не похожая, парадоксальности достигавшая, оригинальность.

Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной окончателности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях, в детстве, или на

гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.

Для того, чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.

Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел всё в первоначальной свежести, по-новому, и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема.

ПЕРЕД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЮ

1

Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на западе на летний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга.

В этом университете Ломоносов слушал математика и философа Христиана Вольфа. За полтора столетия до него здесь проездом из-за границы, перед возвращением на родину и смертью на костре в Риме, читал очерк своей новой астрономии Джордано Бруно.

Марбург — маленький средневековый город. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты. Он живописно лепится на горе, из которой добыт камень, пошедший на постройку его домов и церквей, замка и университета, и утопает в густых садах, темных, как ночь.

У меня остались крохи от средств, отложенных на жизнь и учение в Германии. На этот неизрасходованный остаток я съездил в Италию. Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквамаринно-зеленую, как прозрачные камешки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию, темную, тесную, стройную — живое извлечение из Дантовских терцин. На осмотр Рима у меня не хватило денег.

В следующем году я окончил Московский университет. Мне в этом помог Мансуров, оставленный при университете молодой историк. Он снабдил меня целым собранием подготовительных пособий, по которым сам он сдавал государственный экзамен в предшествующем году. Профессорская библиотека с избытком превышала экзаменационные требования и, кроме общих руководств, содержала подробные справочники по классическим древностям и отдельные монографии по разным вопросам. Я насилу увез это богатство на извозчике.

Мансуров был родней и другом молодого Трубецкого и Дмитрия Самарина. Я их знал по Пятой гимназии, где они ежегодно сдавали экзамены экстернами, обучаясь дома.

Старшие Трубецкие, отец и дядя студента Николая, были — один профессором энциклопедии права, другой — ректором университета и известным философом. Оба отличались крупной корпуленцией и слонами, в сюртуках без галий, взгромоздясь на кафедру, тоном упрямости, глуховатыми, аристократически-картавыми, кланчащими голосами читали свои замечательные курсы.

Сходной породы были молодые люди, неразлучную тройкой заглядывавшие в университет, рослые даровитые юноши со сросшимися бровями и громкими голосами и именами.

В этом кругу была в почете Марбургская философская школа. Трубецкой писал о ней и посылал туда наиболее одаренных учеников совершенствоваться. Побывавший там до меня Дмитрий Самарин был в городе своим человеком и патриотом Марбурга. Я туда отправился по его совету.

Дмитрий Самарин был из знаменитой славянофильской семьи, в бывшем имении которой теперь раскинулся городок писателей в Переделкине и Переделкинский детский туберкулезный санаторий.

Философия, диалектика, знание Гегеля были у него в крови, были наследственными. Он разбрасывался, был рассеян, и, наверное, не вполне нормален. Благодаря странным выходкам, которыми он поражал, когда на него находило, он был тяжел и в общечитии невыносим. Нельзя винить родных, не уживавшихся с ним и с которыми он вечно ссорился.

В начале нэпа он очень опростившимся и всепонимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие окружили его заботами. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль.

Я не знаю, что случилось с Мансуровым, а знаменитый филолог Николай Трубецкой прославился на весь мир и недавно умер в Вене.

2

Лето после государственных экзаменов я провел у родителей на даче в Молодях, близ станции Столбовой, по Московско-Курской железной дороге.

В доме, по преданию, казаки нашей отступавшей армии отстреливались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы.

Внутри дома были узкие, по сравнению с их высотой, комнаты, высокие окна. Настольная керосиновая лампа разбрасывала гигантских размеров тени по углам темно-бордовых стен и потолку.

Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водороинах. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза.

Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водою воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться, сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол.

Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку.

В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги.

Книга называлась до глупости притязательно «Блинец в тучах», из подражания космологическим мудростям, которыми отличались книжные заглавия символов и названия их издательств.

Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие.

Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственно-го труда, негодуя: «Какое падение! Какое варварство!» Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи, и дамы профессорши, после их чтения в кругу шести или семи почитателей, говорили: «Позвольте пожать вашу честную руку». Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой, почти без участия слов, сами собой начинают двигаться ноги и руки. Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал.

Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня задатки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего.

Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моя постоянная мечта, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красками своей черной, бескрасочной печати.

Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял передо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них.

Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский, вокзал.

Строки «Бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал» из названного «Вокзала» нравились Боброву. У нас было в сообществе с Асеевым и несколько-

ми другими начинающими небольшое содружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в «Русском Архиве» Бобров сам печатался с нами и выпускал нас. Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Асеева.

Мария Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила: «Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки». Она была права. Я часто жалел о том.

3

Жарким летом 1914 года, с засухой и полным затмением солнца, я жил на даче у Балтрушайтисов в большом имении на Оке близ города Алексина. Я занимался предметами с их сыном и переводил для возникшего тогда Камерного театра, которого Балтрушайтис был литературным руководителем, немецкую комедию Клейста «Разбитый кувшин».

В имении было много лиц из художественного мира, поэт Вячеслав Иванов, художник Ульянов, жена писателя Муратова. Неподдалеку в Тарусе Бальмонт для того же театра переводил Сакунталу Калидасы.

В июле я ездил в Москву на комиссию призываться и получил белый билет, чистую отставку, по укорочению сломанной в детстве ноги, с чем и вернулся на Оку к Балтрушайтисам.

Вскоре после этого выдался такой вечер. По Оке долго в пелене тумана, стлавшегося по речным камышам, плыла и приближалась снизу какая-то полковая музыка, польки и марши. Потом из-за мыса выплыл небольшой буксирный пароходик с тремя баржами. Наверное с парохода увидели имение на горе и решили причалить. Пароход повернул через реку наперерез и подвел баржи к нашему берегу. На них оказались солдаты, многочисленная гренадерская воинская часть. Они высадились и развели костры под горою. Офицеров пригласили наверх ужинать и ночевать. Утром они отвалили. Это была одна из частных заблаговременно проводившейся мобилизации. Началась война.

Тогда я в два срока с перерывами, около года прослужил домашним учителем в семье богатого коммерсанта Морица Филиппа, гувернером их сына Вальтера, славного и привязчивого мальчика.

Летом во время московских противонемецких беспорядков, в числе крупнейших фирм, Эйнема, Феррейна и других, громили также Филиппа, контору и жилой особняк.

Разрушения производили по плану, с ведома полиции. Имуущества служащих не трогали, только хозяйское. В творившемся хаосе мне сохранили белье, гардероб и другие вещи, но мои книги и рукописи попали в общую кашу и были уничтожены.

Потом у меня много пропадало при более мирных обстоятельствах. Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не всё мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог. Я не тужу об исчезновении работ порочных и несовершенных. Но и совсем с другой точки зрения меня никогда не огорчали пропажи работ удавшихся.

Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не дает всхода, если не умрет. Надо жить, не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые, совместно с памятью, вырабатывают забвение.

В разное время у меня по разным причинам затерялись: текст доклада «Символизм и бессмертие». Статьи футуристического периода. Сказка для детей в прозе. Две поэмы. Тетрадь стихов, промежуточная между сборником «Поверх барьеров» и «Сестрой моей жизнью». Черновик романа в нескольких листовых форматах тетрадях, которого отделанное начало было напечатано в виде повести «Детство Люверс». Перевод целой трагедии Суинберна из его драматической трилогии о Марии Стюарт.

Из разоренного и наполовину сожженного дома Филиппы перебрались в наемную квартиру. Тут имелась для меня отдельная комната. Я хорошо помню. Лучи садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в

ней. Один легким порозовением лежал на ее страницах. Другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник».

5

В те же годы, между службою у Филиппов, я ездил на Урал и в Прикамье. Одну зиму я прожил во Всеволоде-Вильве, на севере Пермской губернии в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном, по свидетельству А. Н. Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих горах на Каме, на химических заводах Ушковых.

В конторе заводов я вел некоторое время военный стол, и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону.

Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстахпятидесяти верстах, как во время «Капитанской дочки», на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь.

Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На Ижевском заводе я должен был найти и захватить ранее командированного туда инженера и замечательно-го человека — Збарского, поступить в его распоряжение и следовать с ним дальше.

Из Тихих гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекачивался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался, и закрывал и открывал глаза.

Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стезжку. Часто возок крышею наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней и с шорохом проволакивался под ними, таща их на себе. Белизна снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Светящийся

снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча.

Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их, и когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпираал ее, чтобы она не упала.

Я опять засыпал, теряя представление о протекшем той порою времени, и вдруг пробуждался от толчка и прекратившегося движения.

Ямской стан в лесу, совершенно как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар и тикают часы. Пока довезший кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко, по-ночному, во внимание к спящим за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поесть становихой, новый утирает губы, застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку.

И опять гон во всю, свист полозьев и дремота и сон. А потом, на другой день — неведомая даль в фабричных трубах, бескрайняя снежная пустыня большой замерзшей реки и какая-то железная дорога.

6

Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он несусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под таковыми он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергла меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости.

Мне были по душе супруги Анисимовы, Юлиан и его жена Вера Станевич. Невольным образом мне пришлось участвовать в разрыве Боброва с ними.

Мне сделал трогательную надпись на подаренной книге Вячеслав Иванов. Бобров в кругу Брюсова высмеял надпись в таком духе, точно я сам дал толчок зубокальству. Вячеслав Иванов перестал со мною кланяться.

Журнал «Современник» поместил мой перевод комедии Клейста «Разбитый кувшин». Работа была незрелая, неинтересная. Мне следовало в ноги поклониться

журналу за ее помещение. Кроме того еще больше надлежало мне поблагодарить редакцию за то, что чья-то неведомая рука прошла по рукописи к ее вящей красе и пользе.

Но чувство правды, скромность, признательность не были в ходу среди молодежи левых художественных направлений и считались признаками сентиментальности и кисляйства. Принято было задира́ть нос, ходить гоголем и нахальничать, и, как это мне ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не отстать от товарищей.

Что-то случилось с корректурой комедии. Она опоздала и содержала посторонние приписки наборной, к тексту не относившиеся.

В оправдание Боброва надо сказать, что сам он о деле не имел ни малейшего представления и в данном случае, действительно, не ведал, что творил. Он сказал, что так этого безобразия, мазни в корректуре и непрошенной стилистической правки оригинала нельзя оставить и что я должен на это пожаловаться Горькому, негласно причастному, по его сведениям, к ведению журнала. Так я и сделал. Вместо благодарности редакции «Современника» я в глупом письме, полном деланной невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны и оказали мне любезность. Годы прошли, и оказалось, что я жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию и он правил ее своею рукою.

Наконец, и знакомство мое с Маяковским началось с полемической встречи двух враждовавших между собой футуристических групп, из которых к одной принадлежал он, а я к другой. По мысли устроителей должна была произойти некоторая потасовка, но ссоре помешало с первых слов обнаружившееся взаимопонимание нас обоих.

7

Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было короткости. Его признание меня преувеличивает. Его точку зрения на мои вещи искажают. Он не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкою. Ему нравились две книги: «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь».

Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений. Я постараюсь дать, насколько могу, общую характеристику Маяковского и его значения. Разумеется, то и другое будет субъективно окрашено и пристрастно.

8

Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству. Под физическую пытку на дыбе ежеминутно теряют сознание, муки истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен. Впадая в беспамятство от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем и, если он захочет, может воспользоваться ими, перед смертью они могут помочь ему.

Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающей жизнью, ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души думая, — как знать, может быть это еще не конец и, неровен час, бабушка надвое гадала. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседнежности работой, и, когда ей показалось, что это непереносимая роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательною страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, в испуге отшатнулась и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунув голову в петлю, как под подушку. Мне ка-

жется, Паоло Яшвили, уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь и воображал, что больше недостоин глядеть на нее, а утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев, с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну вот, всё кончено, прощай, Саша».

Но все они мучились неопишимо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевной болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием.

9

Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны были я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. Но они привели с собой Маяковского.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже, и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах.

Несколько раньше один будущий слепой его привереженец показал мне какую-то из первинок Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку показал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до чрезвычайности. Это были первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив и, может быть, архиталантлив, — это не главное в нем, а главное — железная внутренняя вы-

держка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей.

Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда, в период упадка главных центров, глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так в царство танго и скетинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным.

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной громоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл.

10

Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничанья ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Время! молю:
Хоть ты слепой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!

Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать.

Или он говорит:

Вам ли понять
почему я,
спокойный,
насмешек грозою,
душу на блюде несую
к обеду грядущих лет...

Нельзя отделаться от литургических параллелей. «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах пустынножителей» пересказывавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, перекладывавшего погребальные самогласны Дамаскина стихами, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распевов и чтений были дороги в их буквально-сти, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любимыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали и помнили с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

11

Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружили непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перебивавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремление к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило.

У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей — Сергей Есенин.

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества, в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией, создали особый странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию.

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобною свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую, вслед за Пушкиным, мы зовем высшим Моцартовским началом, Моцартовской стихией.

Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке. Он, Иван-Царевичем на сером волке, перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то как из карт раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем — образ родной природы, лесной, средне-русской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве.

По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует.

12

Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным юмором так определил наше несходство: «Ну что же. Мы

действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я в электрическом утюге».

Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности.

Еще непостижимее мне был журнал «Леф», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном, Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то, испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное лжеискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.

За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос», позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным.

Но по ошибке нас считали друзьями и, например, Есенин, в период недовольства имажинизмом, просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели.

Хотя с Маяковским мы были на вы, а с Есениным на ты, мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние.

13

В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии, ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, ска-

жем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабеля, Федина и Всеволода Иванова, в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главной опорой.

Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его.

Еще раньше, в годы, когда я еще находился под обаянием его огня, внутренней силы и его огромных творческих прав и возможностей, а он платил мне ответной теплотой, я сделал ему надпись на «Сестре моей жизни» с такими, среди прочих, строками:

«Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим Голландцем
Над краем любого стиха.
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?»

14

Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен.

ТРИ ТЕНИ

1

В июле 1917 года меня по совету Брюсова разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого.

Тогда начался большой приток возвращающихся из-за границы, политических эмигрантов, людей, застигнутых на чужбине войной и там интернированных, и других. Приехал из Швейцарии Андрей Белый. Приехал Эренбург.

Эренбург расхваливал мне Цветаеву, показывал ее стихи. На одном сборном вечере в начале революции я присутствовал на ее чтении в числе других выступавших. В одну из зим военного коммунизма я заходил к ней с каким-то поручением, говорил незначительности, выслушивал пустяки в ответ. Цветаева не доходила до меня.

Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Всё нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми они увешаны.

Именно гармония Цветаевских стихов, ясность их смысла, наличие одних достоинств и отсутствие недостатков служили мне препятствием, мешали понять, в чем их суть. Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты.

Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооценивал многих — Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилева.

Я уже сказал, что среди молодежи, не умевшей изъясняться осмысленно, возводившей косноязычие в добродетель и оригинальной поневоле, только двое, Асеев, и Цветаева, выражались по-человечески и писали классическим языком и стилем.

И вдруг оба отказались от своего умения. Асеева прельстил пример Хлебникова. С Цветаевой произошли собственные внутренние перемены. Но победить меня успела еще прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения.

В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждения. Не возьму греха на душу, если скажу: за вычетом Анненского и Блока и, с некоторыми ограничениями, Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями истинного творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском.

Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее «Версты». Меня сразу покорило лирическое могущество Цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей, без обрыва ритма, целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно учатившаяся в середине двадцатых годов, когда появилось ее «Ремесло» и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычайные по новизне «Поэма конца», «Поэма горы» и «Крысолов». Мы подружились.

Летом 1935 года я, сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы, попал в Париж на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата любил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека.

Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью

же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и беспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения.

3

В начале этого вступительного очерка, на страницах, относящихся к детству, я давал реальные картины и сцены и описывал живые происшествия, а с середины перешел к обобщениям и стал ограничивать изложение беглыми характеристиками. Это пришлось сделать в интересах сжатости.

Если бы я стал рассказывать случай за случаем и положение за положением историю объединявших меня с Цветаевой стремлений и интересов, я далеко вышел бы из поставленных себе границ. Я должен был бы посвятить этому целую книгу, так много пережито было тогда совместного, менявшегося, радостного и трагического, всегда неожиданного и всегда, от раза к разу, обоюдно расширявшего кругозор.

Но и здесь и в оставшихся главах я воздержусь от личного и частного и ограничусь существенным и общим.

Цветаева была женщиной с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех.

Кроме немногого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные, бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов.

Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу в один прием обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром.

Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву.

Мы были друзьями. У меня хранилось около ста писем от нее, в ответ на мои. Несмотря на место, которое, как я раньше сказал, занимали в моей жизни потери и пропажи, нельзя было вообразить, каким образом могли когда-нибудь пропасть эти бережно хранимые драгоценные письма. Их погубила излишняя тщательность их хранения.

В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию, одна сотрудница музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на хранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Роллана. Всё перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несыгораемого шкафа.

Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой.

4

На протяжении десятилетий, прошедших с напечатания «Охранной грамоты», я много раз думал, что, если бы пришлось переиздать ее, я приписал бы к ней главу о Кавказе и двух грузинских поэтах. Время шло, и необходимости в других дополнениях не представлялось. Единственным пробелом оставалась эта недостающая глава. Сейчас я напишу ее.

Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женой поэт Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.

Вскоре в двух семьях, моей и другой, дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.

Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Всё было ново, всё удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианства символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде наступающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное бляенье волынки и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен.

5

Паоло Яшвили — замечательный поэт послесимволистического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни европейской новейшей прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит.

Первая мировая война застала Яшвили в Париже студентом Сорбонны. Он кружным путем возвращался к себе на родину. На глухой норвежской станции Яшвили зазевался и не заметил, как ушел его поезд. Молодая норвежская чета, сельские хозяева, из глубины края на санях приехавшие на станцию за почтой, видели ротозейство жгучего южанина и его последствия. Они пожалели Яшвили и, неизвестно как объяснившись с ним, увезли к себе на ферму до следующего поезда, ожидавшегося только на другие сутки.

Яшвили чудно рассказывал. Он был прирожденный рассказчик приключений. С ним вечно происходили не-

ожиданности в духе художественных новелл. Случайности так и льнули к нему, он имел на них дар, легкую руку.

Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.

В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой.

6

Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же, в тот же вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души вместе со всем тем страшным, что потом в ней и близ нее произошло.

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.

7

Если Яшвили весь был во внешнем центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую своей строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.

Главное в его поэзии чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру, способной к ясновидению и самопожертвованию.

Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят в голову, комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многолюдных пирушках.

Мысль о Табидзе наводит на стихии природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря. Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотная и приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется. Вот он поднялся, стал боком к столу и постучал ножом о бокал, чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким.

Стоит дом в Коджорах на углу дорожного поворота. Дорога подымается вдоль его фасада, а потом, обогнув дом, идет мимо его задней стены. Всех идущих и едущих по дороге видно из дома дважды.

Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибаем, это заслуги тифлисских друзей-чудотворцев, которые всё время что-то достают и привозят, и неизвестно подо что снабжают нас денежными ссудами от издательств.

Мы в сборе, делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Веянье прохлады точно пальчиками быстро перебирает серебристую листвою тополя, белобархатною с изнанки. Воздух, как слухами, переполнен одуряющими ароматами юга. И, как передок любой повозки на шкворне, ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов своей звездной колымаги. А по дороге идут и едут арбы и машины, и каждого видно из дома дважды.

Или мы на Военно-Грузинской дороге, или в Боржоме, или в Абастумане. Или после поездов, красот, приключений и возлияний мы, кто с чем, а я с подбитым от падения глазом — в Бакурианах, в гостях у Леонидзе, самобытнейшего поэта, больше всех связанного с тайнами языка, на котором он пишет, и потому меньше всех поддающегося переводу.

Ночное пиршество на траве в лесу, красавица хозяй-

ка, две маленьких очаровательных дочки. На другой день неожиданный приход мествире, бродячего народного импровизатора с волынкой, и величание экспромтом всего стола подряд, гостя за гостем, с подобающим каждому текстом и умением ухватиться за любой подвернувшийся повод для тоста, за мой подбитый глаз, например.

Или мы на море в Кобулетах, дожди и штормы, и в одной гостинице с нами Симон Чиковани, будущий мастер яркого живописного образа, тогда еще совсем юный. И над линией всех гор и горизонтов голова идущего рядом со мною улыбающегося поэта, и светлые признаки его непомерного дара, и тень грусти и судьбы на его улыбке. И если я еще раз прощусь с ним теперь на этих страницах, пусть будет это в его лице прощанием со всеми остальными воспоминаниями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь кончается мой биографический очерк.

Продолжать его дальше было бы непомерно трудно.

Соблюдая последовательность, дальше пришлось бы говорить о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою революции. О мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, новой сдержанности, новой строгости и новых испытаний, которые ставил этот мир человеческой личности, чести и гордости, трудолюбию и выносливости человека.

Вот он отступил в даль воспоминаний, этот единственный и подобия не имеющий мир, и высится на горизонте, как горы, видимые с поля, или как дымящийся в ночном зареве далекий, большой город.

Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы. Писать о нем затверженно и привычно, писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский, — не только бессмысленно и бесцельно, писать так — низко и бессовестно.

Мы далеки еще от этого идеала.

Ноябрь 1957.

АПЕЛЛЕСОВА ЧЕРТА

... Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Апеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший притчей художества.

I

В один из сентябрьских вечеров, когда пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей, вечерним ветром раззуженной Тосканы пахнет, как от потертого меж пальцев лаврового листа, в один из таких вечеров, — ба, да я ведь точно помню число то: 23 августа, вечером, — Эмилио Релинквимини, не застав Гейне в гостинице, потребовал у подобострастно расшаркивающегося лакея бумаги и огня. Когда тот, сверх просимого, явился еще с чернилами, с ручкой, палочкой сургуча и печаткою, Релинквимини брезгливым жестом отстранил его услуги. Вынув из галстука булавку, он раскалил ее на свече, кольнул себя в палец и, выхватив карточку с фирмой трактирщика из целой стопки ей подобных, загнул ее с краю уколотым пальцем. Затем он протянул ее безразлично предупредительному лакею со словами:

— Передайте г-ну Гейне эту визитную карточку. Завтра в эти же часы я повторю свое посещение.

Пизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений. На улице число людей, выдавших ее с моста, ежеминутно возрастало. Зарева, как партизаны, ползла по площадям. Улицы запружались опрокинутыми тенями, иные еще рубились в тесных проходах. Пизанская башня косила наотмашь, без разбору, пока одна шальная исполинская тень не прошла по солнцу... День оборвался.

Но лакей, вкратце и сбивчиво осведомляя Гейне о недавнем посещении, все же успел за несколько мгновений до полного захода солнца вручить нетерпеливому постояльцу карточку с побуревшим, запекшимся пятном.

«Вот оригинал!» Но Гейне тотчас же догадался об истинном имени посетителя, автора знаменитой поэмы «Il Sanguè».

Та случайность, по которой феррарец Релинквимини оказался в Пизе как раз в те дни, когда еще более случайная прихоть путешествующего поэта занесла сюда его самого, вестфальца Гейне, — случайность эта не показалась ему странной. Он вспомнил об анониме, от которого получил на днях небрежно написанное, вызывающее письмо. Претензии неизвестного выходили из границ дозволенного. Как-то вскользь и туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии, неизвестный требовал от Гейне... Апеллесова удостоверения личности.

«Любовь, — писал аноним, — кровавое это облако, которым сплошь застилается порою вся наша безоблачная кровь, — скажите о ней так, чтобы очерк ваш не превышал лаконизма черты Апеллесовой. Помните, только о принадлежности вашей к аристократии крови и духа (эти понятия неразрывны), — вот о чем единственно любопытствует Зевксис.

Р. S. Я воспользовался вашим пребыванием в Пизе, о чем был своевременно извещен моим издателем Конти, чтобы раз навсегда покончить с терзавшим меня сомнением. Через три дня я лично явлюсь к вам взглянуть на росчерк Апеллеса...»

Прислуга, явившаяся по зову Гейне, была облечена им следующими полномочиями:

— Я уезжаю с десятичасовым поездом в Феррару. Завтра вечером меня будет спрашивать известное уже вам лицо, предъявитель этой карточки. Вы из рук в руки

передадите ему этот пакет. Прошу подать мне счет. Позовите факино.

Тем призрачным весом, коим на вид пустой пакет всё-таки обладал, он был обязан тоненькой бумажной полоске, очевидно вырезанной из какой-то рукописи. Клочек этот заключал в себе часть фразы, без начала и конца: «но Рондольфина и Энрико, свои бывшие имена отбросив, их сменить успели на небывалые доселе: он — «Рондольфина!» — дико вскрикнув, «Энрико!» — возопив — она».

II

На тротуарных плитах, на асфальтированных площадях, на балконах и на набережных Арно пизанцы сожигали благовонную тосканскую ночь. От черного ее сгорания еще тяжелее дышалось в душных и без того проходах, под пыльными платанами; ко всему еще знойный, маслянистый блеск ее довершали рассыпные снопы звезд и пучки колючих туманностей. Искры эти переполняли чашу терпения итальянцев; с жарким фанатизмом произнося свои ругательства, словно бы это молитвы были, отирали они при первом же взгляде на Кассиопею грязный пот со лбов. Носовые платки мелькали впотьмах, как сотрясаемые термометры. Показания этих батистовых градусников удручающей пагубой проносились по улице: духота распространялась ими, как кем-то подхваченный слух, как поветрие, как панический ужас. И так же, как распадался без прекословия коснеющий город на кварталы, дома и дворы, так точно состоял ночной воздух из отдельных неподвижных встреч, восклицаний, ссор, кровавых столкновений, шопотов, смешков и шушуканий. Шумы эти стояли пыльным и частым плетевом над тротуарами, стояли в шеренгах, вращая в панели, точно уличные деревья, задыхающиеся и бесцветные в свете газовых фонарей. Так причудливо и властно положила пизанская ночь крепкий предел человеческой выносливости.

Тут же, об этот предел рукой подать, начинался хаос. Такой хаос царил на вокзале. Носовые платки и проклятия сходили здесь со сцены. Люди, мгновение назад почитавшие чуть что не пыткой естественное передви-

жение, здесь, ухватясь за чемоданы и картонки, бушевали у кассы, как угорелые набрасывались штурмом на обуглившиеся вагоны, осаждали ступеньки и, меченные сажей, как трубочисты, врывались в отделения, перегороженные горячею коричневой фанерой, которая, казалось, коробилась от жару, ругани и увесистых толчков. Вагоны горели, горели рельсы, горели нефтяные цистерны, паровозы на запасных путях, горели сигналы и расплющенные, парами исходящие вопли далеких и близких локомотивов. Семена своими вспышками, щекочущим насекомым засыпало на щеке машиниста и на кожаной куртке кочегара тяжкое дыханье растворенной топки: горели машинист с кочегаром. Горел часовой циферблат, горели чугунные перекаты путевых междоузлий и стрелок; горели сторожа. Все это находилось за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести.

Место у самого окна. В последний миг — совершенно пустой перрон из цельного камня, из цельной гулкости, из цельного восклицанья кондуктора: “Pronti” — и кондуктор пробегает мимо, вдогонку за собственным восклицанием. Плавно сторонятся станционные столбы. Огоньки снуют, скрещиваясь, как вязальные спицы. Лучи рефлекторов заскакивают в окна вагонов, подхваченные тягою, проходят насквозь, наружу, через противоположные окна, растягиваются по путям, подрагивая, отступают о рельсы, поднимаются, пропадают за сараями. Карликовые улочки, уродливые, ублюдочные закоулки. Гулко глотают их зевы виадуков. Бушеванье вплотную к шторке подступающих садов. Отдохновенная ширь курчавых, ковровых виноградников. Поля.

Гейне едет на авось. Думать ему не о чем. Гейне пытается вздремнуть. Он закрывает глаза.

«Что-нибудь да выйдет из этого. Наперед загадывать нет проку, да и возможности нет. Впереди — упоительная полная неизвестность».

Померанцы, вероятно, в цвету. Душистые широты садов — в разливе. Оттуда набегают ветерок соснуть хоть капельку на слипшихся ресницах пассажира.

«Это — наверняка. Что-нибудь да выйдет. А то с какой это радости — аа-ах, — зевает Гейне, — с ка-

кой это радости, что ни любовное стихотворенье у Релинквимини, то неизменная пометка 'Феррара'!».

Скалы, пропасти, сном пришибленные соседи, смрад вагонный, газовый язычок фонаря. Он слизывает с потолка шорохи и тени, он облизывается, и он задыхается, когда скалы и пропасти сменяются тоннелем: гора грохоча сползает по вагонной крыше, распластывает паровозный дым, загоняет его в окна, цепляется за вешалки и сетки. Тоннели и долины. Путь в одну колею плачет заунывно над горной, о камни разбившейся речонкой, с каких-то невероятных, чуть брезжущих во тьме высот сорвалась она. Там-то и чадят и дымятся водопады, глухой их рев всю ночь кружит вокруг поезда.

«Апеллесова черта... Рондольфина... За сутки, пожалуй, ничего не успеть. А больше нельзя. Надо скрыться бесследно. А завтра... Ведь он с места же сорвется на вокзал, как только лакей ему скажет о моем маршруте!»

Феррара! Иссиня-черный, стальной рассвет. Холодом напоен душистый туман. О, как звонко латинское утро!

III

— Невозможно, номер "Vose" уже сверстан.

— Да, но я никак, ни за какие деньги и ни в чьи руки не передам своей находки, между тем более одного дня я не могу остаться в Ферраре.

— Вы говорите, в вагоне, под диваном, записная его книжка?

— Да, записная книжка Эмилио Релинквимини. Мало того, записная книжка, содержащая среди массы обычных записей еще большее множество неопубликованных стихотворений, ряд набросков, отрывочных заметок, афоризмов. Записи велись весь этот год, большей частью в Ферраре, насколько можно судить по подписям.

— Где она? Она с вами?

— Нет, я оставил вещи на вокзале, а книжка в саквояже.

— Жалко! Мы могли бы доставить книжку ему на дом. Феррарский адрес Релинквимини известен редакции, но вот уже с месяц, как он в отъезде.

— Как, разве Релинквимини не в Ферраре?

— В том-то и дело. Я собственно в толк не возьму, на какой исход можете вы надеяться, объявляя о своей находке?

— Единственно на то, что через посредство вашей газеты установится надежная связь между собственником книжки и мною, и Релинквимини в любое время сможет воспользоваться любезными услугами “Vose” в этом деле.

— Что с вами поделаешь! Присядьте, пожалуйста, и благоволите составить заявление.

— Виноват, господин редактор, я вас побеспокою, у вас настольный телефон — разрешите?

— Пожалуйста, сделайте одолжение.

— ...Гостиница «Торквато Тассо»?.. Какие номера свободны?.. В котором этаже?.. Прекрасно, оставьте восьмой за мною.

«Ritrovamento. — Найдена рукопись новой, готовящейся к выходу книги Эмилио Релинквимини. Владелец рукописи или его доверенных в течение всего дня до 11 часов ночи будет ждать у себя, в гостинице «Тассо», лицо, занимающее № 8 названной гостиницы. Начиная с завтрашнего дня редакция газеты “Vose”, равно как дирекция гостиницы будут периодически и своевременно извещаться вышеозначенным лицом о каждой новой перемене его адреса».

Гейне, утомленный дорогой, спит мертвым, свинцовым сном. Жалюзи в его номере, нагретые дыханием утра, горят, точно медные перепонки губной гармоники. У окошка сетка лучей упала на пол расползающейся соломенной плетенкой. Соломинки сплываются, теснятся, жмутся друг к другу. На улице — невнятный говор. Кто-то заговаривается, у кого-то заплетается язык. Проходит час. Соломины уже плотно прилегают друг к другу, уже солнечною лужицей растекается по полу плетенка. На улице заговариваются, клюют носом, на улице заплетаются языки. Гейне спит. Солнечная лужица разжигается, словно пропитывается ею паркет. Снова это — редущая плетенка из подпаленных, пляющихся соломин. Гейне спит. На улице говор. Проходят часы. Они лениво вырастают вместе с ростом черных прорезей в плетенке. На улице говор. Плетенка выцветает, пылится, тускнеет. Уже это — веревочный половик, свалявшийся,

спутанный. Уже стежков и нитей не отличить от петель. На улице — говор. Гейне спит.

Сейчас он проснется. Сейчас Гейне вскочит, помяните мое слово. Сейчас. Дайте ему только до конца доглядеть последний обрывок сновиденья...

От жара рассохшееся колесо раскалывается вдруг по самую ступицу, спицы выпирают пучком перекушенных колышков, тележка со стуком, с грохотом падает набок, кипы газет вываливаются. Толпа, парасоли, витрины, маркизы. Газетчика на носилках несут — аптека совсем поблизости.

— Вот видите! Что я говорил! — Гейне вскакивает. — Сейчас!

Кто-то нетерпеливо, с остервенением стучится в дверь. Гейне спросонья, взлохмаченный, во хмелю еще, хватается за халат.

— Виноват, сию секунду! — Чуть что не металлически брякнув, тяжело опускается на пол правая нога. — Сейчас. Ах, да!

Гейне подходит к двери.

— Кто тут?

Голос лакея.

— Да, да, тетрадь у меня. Попросите у синьоры от моего имени извиненья. Она в салоне?

Голос лакея.

— Предложите синьорине подождать минут десять. Через десять минут я весь к ее услугам. Слышите?

Голос лакея.

— Постойте, камерьере!

Голос лакея.

— Да не забудьте передать мадмуазель, что синьор-де выражает неподдельное свое сожаление по поводу того, что не может сию же минуту выйти к ней, чувствует себя перед ней глубоко виноватым, но постарается... Слышите ли вы, камерьере?..

Голос лакея.

— ...но постарается через десять минут полностью загладить свою непростительную оплошность. Да поучтивей, камерьере, я ведь не из феррарцев.

Голос лакея.

— Ладно, ладно.

— Камерьере, дама в салоне?

- Да, синьор.
- Она одна там?
- Одна, синьор, пожалуйста. Налево, синьор. Налево!
- Здравствуйте. Чем могу служить синьоре?
- Pardon, вы из номера восьмого?
- Да, я занимаю этот номер.
- Я — за тетрадью Релинквимини.
- Позвольте представиться: Генрих Гейне.
- Простите... Вы в родстве?..
- Нисколько. Случайное совпадение. Прискорбное даже. Я тоже имею счастье...
- Вы пишете стихи?
- Я не писал никогда ничего другого.
- Я знаю по-немецки и отдаю поэзии весь мой досуг, а между тем...
- Знакомы вам «Стихи, не изданные при жизни поэта»?
- Конечно. Так это вы?!
- Простите, я мечтаю всё же услышать ваше имя.
- Камилла Арденце.
- Чрезвычайно приятно. Итак, синьора Арденце, вам попало на глаза мое сегодняшнее заявление в «Vосе»?
- Да, да. О найденной тетради. Где она? Дайте ее сюда.
- Синьора! Синьора Камилла, вы, может быть, всем сердцем своим, воспетым несравненным Релинквимини...
- Оставьте, мы не на подмостках...
- Вы ошибаетесь, синьора, мы — всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по силе та естественность, которая, как роль, навязана каждому от самого рождения. Синьора Камилла, вы любите родной свой город, вы любите Феррару, между тем это — первый город, определенно отталкивающий меня. Вы прекрасны, синьора Камилла, и у меня сердце содрогается при мысли, что вы в заговоре с отвратительным этим городом против меня.
- Я не понимаю вас.
- Не прерывайте меня, синьора. С городом, говорю я, который усыпил меня, как отравитель усыпляет собутыльника, когда к тому приближается его счастье; он усыпляет его затем, чтобы пробудить искру презре-

ня к несчастному в глазах его счастья, зашедшего в таверну; и счастье изменяет усыпленному. «Миледи, — обращается к вошедшей отравитель, — взгляните на этого лежебока: это ваш возлюбленный; он коротал часы ожидания рассказами о вас; они шпорами вонзались в мое воображение. Не на его ли хребте прискакали вы сюда? Зачем так немилосердно хлестали вы его своей тонкой плетью, — оно в мыле, оно разгорячено. О, эти рассказы! Но потрудитесь взглянуть на него. Миледи, он усыплен собственными рассказами о вас, — вы видите, разлука оказывает действие колыбельной песни на вашего возлюбленного. Однако мы можем разбудить его». — «Не надо, — отвечает отравителю счастье отравленного. — Не надо, не тревожьте его, он спит так сладко и, может быть, видит меня во сне. Лучше позаботьтесь о стакане пунша для меня. На улице так холодно. Я вся оконечела. Разотрите мне, пожалуйста, руки...»

— Вы очень странный человек, господин Гейне. Но продолжайте, пожалуйста, ваша высокопарная речь занимает меня.

— Виноват, как бы не забыть о тетради Релинкви-мини; я подымусь к себе в номер...

— Не беспокойтесь, я не забуду про нее. Продолжайте, пожалуйста. Вот забавный! Продолжайте же. «Разотрите мне руки», — говорит, кажется, счастье?

— Да, синьора Камилла. Вы слушали меня внимательно, благодарю вас.

— Ну?

— Так-то, как отравитель со своим собутыльником, обошелся со мной город, и вы, прекрасная Камилла, на его стороне. Он подслушал мои мысли о старых, как разбойничьи замки, и, как разбойничьи замки, одиноко стоящих, разваливающихся рассветах и усыпил меня, чтобы исподтишка воспользоваться ими; он дал мне всласть наговориться о садах, на всех парусах из красного вечернего воздуха несущихся в открытую ночь, и вот — он поднял эти паруса, а меня оставил лежать в портовой таверне, и вы ведь не позволите ему будить меня, если хитрец это вам предложит.

— Послушайте, дорогой, при чем же я тут? Лакей, надеюсь, окончательно вас разбудил?

— «Нет, — скажете вы, — ночь прибывает, не быть буре б, надо торопиться, пора, не буди его».

— О, синьор Гейне, как глубоко вы заблуждаетесь! «Да, — скажу я, — да, да, Феррара, растормоши его, если он еще спит, мне недосуг, разбуди его живей, собери все свои толпы, грохочи всеми площадями, пока не доудишься его: время не терпит».

— Да, правда, тетрадь!..

— После, после.

— О, дорогая синьора, Феррара обманулась в своих расчетах, Феррара одурачена; отравитель бежит, я пробуждаюсь, я пробужден, — я на коленях перед вами, любовь моя!

Камилла вскакивает.

— Довольно!.. Довольно!.. Правда, все это вам к лицу. Даже эти банальности. Именно эти банальности! Но нельзя же так, право! Вы ведь странствующий комедиант какой-то! Мы почти незнакомы. Только полчаса назад... Да Господи, мне смешно даже рассуждать об этом — и всё же я ведь вот рассуждаю. Никогда еще в жизни глупее себя не чувствовала. Вся эта сцена, как японский цветок, моментально распускающийся в воде. Ни больше, ни меньше! Но ведь цветы-то эти бумажные. И дешевые цветы!

— Я слушаю вас, синьора.

— Синьор, я охотнее слушала бы вас. Вы очень умны, и даже саркастичны, кажется. Между тем вы не гнушаетесь банальностями. Это странно, но в этом нет противоречия. Ваш театральный пафос...

— Простите, синьора. Пафос — это по-гречески — страсть и воздушный поцелуй по-итальянски. Бывают вынужденно воздушные...

— Опять! Увольте, это несносно! Что-то кроется в вас; объяснитесь. И послушайте, пожалуйста не сердитесь на меня, милый господин Гейне. За всем тем вы всё-таки — вы не осудите меня за фамильярность? — вы — необыкновенный какой-то ребенок. Нет, это не то слово, вы — поэт. Да, да, как это сразу я не нашла его, а ведь для этого достаточно взглянуть на вас. Какой-то Богом взысканный, судьбою избалованный бездельник.

— Evviva! — Гейне вскакивает на подоконник, перегибается всем телом наружу.

— Осторожнее, синьор Гейне, — кричит Камилла, — осторожнее, я боюсь!

— Не беспокойтесь, дорогая синьора. Эй, фурфанте! Лови! — Лиры летят на площадь. — Столько же, и, может, вдесятеро больше, получишь, обворовав с десятков феррарских садов. Сольдо за каждую дыру в штанине! Марш. Да смотри, не дыхни на цветы, как будешь несть: у контессы чутье мимозы. Рысью, шалопай! Волшебница, вы слышали? Мальчишка вернется в костюме амура. Но к делу. Что за пронизательность! Одною чертой, чертой Апеллеса, передать все мое существо, всю суть положения!

— Я вас не понимаю. Или это — новый выход? Опять подмости? Чего вы собственно хотите?

— Да, это снова подмости. Но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе полного освещения? Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы. Какая резкость! Всё остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмости, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами набережных... Синьора Камилла, вы не вняли бы и половине моих слов, если бы мы не столкнулись с вами на таком опасном месте. Оно опасно, надо полагать, хотя сам я этого не знаю; надо полагать, потому, что на его освещение людьми была потрачена бездна огня, и я не виноват в том, что мы освещены так грубо и аляповато.

— Хорошо. Вы кончили? Все это так. Но ведь это неслыханная бессмыслица! Мне хочется довериться вам. Это не прихоть. Это почти потребность у меня. Вы не лжете. Глаза ваши не лгут. Да, так что это я хотела вам сказать?.. Забыла... Пойдите... Вот. Послушайте, милый, но ведь час еще назад...

— Перестаньте! Это — слова. Существуют часы, существуют и вечности. Их множество, и ни у одной нет начала. При первом же удобном случае они вырываются наружу. А это — сама случайность. И потом — долой слова! Знаете ли вы, синьора, когда и кем они свергаются? Долой слова! Знакомы ли вам такие восстания, синьора? Синьора, все мои фибры восстают на меня, и я дол-

жен буду уступить им, как уступают толпе. И вот послед-
нее. Помните, как вы сейчас назвали меня?

— Конечно; и готова повторить это другой раз.

— Не надо. Но вы умеете глядеть так животворно. И уже овладели линией, единственной, как сама жизнь. Так не упускайте же, не обрывайте ее на мне, оттяните ее, насколько она сама это позволит. Ведите дальше эту черту... Что же получилось у вас, синьора? Как вышли вы? В профиль? В поборота? Или еще как?

— Я вас понимаю. — Камилла протягивает Гейне руку. — И все же. Нет, Господи, я ведь не девочка. Надо опомниться. Это как гипноз.

— Синьора, — театрально восклицает Гейне у ног Камиллы, — синьора, — глухо восклицает он, спрятав лицо в ладони, — провели ли вы уже ту черту?.. Что за мука! — полупшепотом вздыхает он, отрывает руки от внезапно побледневшего лица... и, взглянув в глаза все более и более теряющейся госпожи Арденце, к несказанному изумлению своему замечает, что...

IV

...что женщина эта действительно прекрасна, что до неузнаваемости прекрасна она, что биение собственного его сердца, курлыча, как вода за кормой, подымается, идет на прибыль, заливаает вплотную приблизившиеся колени и ленивыми, наслаивающимися волнами прокатывается по ее стану, колышет ее шелка, затягивает ровною гладью ее плечи, подымает подбородок и — о, чудо! — слегка приподымает его, приподымает выше, — синьора по горло в его сердце, еще одна такая волна, и она захлебнется! И Гейне подхватывает тонущую; поцелуй, — и какой! — поцелуй на себе выносит их, но стоном стонет он под напором разыгравшихся сердец, дергает и срывается ввысь, вперед, черт его разберет — куда; а она не сопротивляется, нет. Нет, хочешь, — поет поцелуем влекомое, поцелуем взнузданное, вытанувшееся ее тело, — хочешь — буду шлюпкой таких поцелуев, только неси, неси ее, неси меня...

— Сту-чат! — хрипом вырывается из груди Камиллы. — Стучат! — И она вырывается из его объятий.

И правда.

— Тысяча чертей! Кто там?

— Синьор напрасно замкнул салон, у нас это не принято.

— Молчать! Я властен делать что угодно.

— Вы больны, сударь.

Итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молитвословие. Гейне отпирает. В коридоре доругивающийся лакей, за ним, немного отступя, подросток-оборвыш, с головой ушедшей в целый лес лиан, олеандров, флерд'оранжа, лилий...

— Этот негодяй...

...роз, магнолий, гвоздики...

— Этот негодяй во что бы то ни стало требовал пропустить его в комнату, окнами обращенную на площадь; таковою может быть только салон.

— Да, да, салон, — гортанно рычит мальчишка.

— Разумеется, в салон, — соглашается Гейне, — это я сам ему приказал.

— ...Потому что, — нетерпеливо продолжает лакей, — ни до конторы, ни до ванн, ни, тем более, до читальной комнаты никакого дела у него быть не может. Однако при совершенной непристойности его костюма...

— Ах, да, — словно только сейчас проснувшись, восклицает Гейне, — Рондольфина, взгляните на его панталоны! Кто сшил тебе эти брючки из рыбачьей сети, прозрачное создание?

— Синьор, шипы колючих изгородей в Ферраре ежегодно оттачиваются наново специальными садовыми...

— Ха-ха-ха!

— ...При совершенном неприличии его костюма, — нетерпеливо продолжает лакей, по-особенному напирая на это выражение ввиду подошедшей синьоры, на лице коей борется тень внезапного недоумения с лучами вовсе не преоборимой веселости, — при совершенном неприличии его костюма мы предложили мальчишке, передав через нас требуемое синьором, дожждаться ответа на улице. Но мошенник этот...

— Да, да, он прав, — останавливает ритора Гейне, — это я велел ему самолично явиться перед лицо синьоры...

— ...Мошенник этот, — уже не владея собой, тараторит запальчивый калабриец, — пустил в ход угрозы.

— А именно? — любопытствует Гейне. — Как это колоритно, синьора, не правда ли?

— Сорванец сослался на вас. «Синьор, — пригрозил он, — синьор негоциант в следующие свои проезды через Феррару станет пользоваться услугами других albergo, если вы, наперекор его воле, не допустите меня до него».

— Ха-ха-ха! Вот забавник! Каково, синьора! Вы отнесете эту тропическую плантацию... Погодите! — Гейне, обернувшись, ждет от Камиллы указаний, — ...в восьмой, пока что, — не дождавшись от нее ответа, продолжает Гейне.

— К вам, покамест, — слегка краснея, повторяет Камилла.

— Слушаю-с, синьор. А относительно мальчишки...

— А ты, обезьяна, во что ценишь ты свои панталоны?

— Джулио весь в рубцах, Джулио посинел от холода. У Джулио нет другого платья, ни папы, ни мамы нет у Джулио, — плаксиво хнычет, обливаясь потом, десятилетний жулик.

— Итак, сколько же, отвечай!

— Сто сольди, синьор, — неуверенно-мечтательно, как галлюцинант, произносит подросток.

— Ха-ха-ха! — хохочут все: хохочет Гейне, хохочет Камилла, хохотом раздражается и лакей, лакей в особенности, когда, вынув бумажник, Гейне достает оттуда кредитку в десять лир и, не переставая смеяться, протягивает ее оборвышу.

Тот молниеносно стреляет цепкой лапой по протянутой бумажке.

— Постой, — говорит Гейне. — Это, надо думать, первое твое выступление на поприще коммерции. В добрый час... Послушайте, камерьере, уверяю вас, смех ваш в этом случае положительно неблагоприятен: он за живое задевает юного негоцианта. И не правда ли, мой милый, ты никогда уже больше при ближайших своих операциях в Ферраре не станешь показываться на пороге негостеприимного «Торквато»?

— О нет, синьор, напротив... А сколько дней еще остается синьор в Ферраре?

— Через два часа я совсем уезжаю отсюда.

— Синьор Энрико...

— Да, синьора.

— Выйдемте на улицу, не возвращаться же нам, право, в этот глупый салон.

— Хорошо... Камерьере, эти цветы — в восьмой. Погодите, этой розе надо еще распуститься; на этот вечер сады Феррары поручают ее вам, синьора.

— Мерси, Энрико... Черная эта гвоздика лишена всякой сдержанности, сады Феррары, синьор, вверяют вам уход за этим разнузданным цветком.

— Вашу ручку, синьора... Итак, камерьере, это — в восьмой. И шляпу мне: она в номере.

Лакей удаляется.

— Вы не сделаете этого, Энрико.

— Камилла, я не понимаю вас.

— Вы останетесь, — о, не отвечайте мне ничего, — вы останетесь еще на день хотя бы в Ферраре... Энрико, Энрико, вы выпачкали себе бровь в цветочной пыли, дайте я обмахну.

— Синьора Камилла, на вашем башмачке пушистая гусеница, я собью ее, — я отправлю телеграмму домой во Франкфурт, — и платье у вас всё в лепестках, синьора, — и буду посылать депеши ежедневно, пока вы не запретите мне.

— Энрико, я не вижу на вашем пальце обручального кольца; надевали вы когда-нибудь такое украшение?

— Зато я давно заметил на вашем, Камилла... А, шляпа! Благодарю вас.

V

Благоуханный вечер преисполнил собою все закоулки Феррары и гулкою каплей перекатывался по ее уличному лабиринту, словно капля морской воды, что забилась в ухо и весь череп глухой налила.

В кофейне шумно. Но тихая, утлая улочка ведет к кофейне. В ней-то и заключается главная причина того, что, затаив дыхание, окружил ее со всех сторон оглушенный, ошеломленный город: вечер забился в одну из его улочек, и в ту как раз, где на углу кофейня.

Камилла призадумалась, дожидаясь Гейне. Он пошел в телеграфное бюро рядом с кофейней.

«Почему это ни за что не хотел он написать телеграмму в кафе и с посыльным ее отправить? Неужели он никак не мог удовольствоваться простою, официальной депешей? Какая-то крепкая, сплошь на чувстве стоящая связь? Но, с другой стороны, он и совсем бы позабыл о ней, если бы не напомнить ему про телеграмму. И эта Рондольфина... надо будет спросить о ней. А можно ли? Это интимности ведь. Господи, я точно девочка! Можно, нужно! Сегодня я получаю право на все, сегодня я на все теряю право. Они тебя исковеркали, милая, эти артисты. Но этот? А Релинквимини?.. Какой далекий образ! С весны? О нет, раньше еще; а встреча Нового года?!.. Да нет, он никогда не был близок мне... А этот?...»

— О чем вы задумались, Камилла?

— А вы отчего так грустны, Энрико? Не печальтесь: я отпускаю вас. Есть телеграммы, которые пишутся лакеем под диктовку. Отправьте такую депешу домой, вы просрочили только три часа, ночью из Феррары отходит поезд на Венецию, ночью же и на Милан, ваше опоздание не превысит...

— К чему это, Камилла?

— Отчего вы так грустны, Энрико? Расскажите мне что-нибудь о Рондольфине.

Гейне содрогается и вскакивает со стула.

— Откуда вы знаете? Он тут? Он был здесь в мое отсутствие?! Где он, где он, Камилла?

— Вы побледнели, Энрико. О ком говорите вы? Я вас спрашивала о женщине. Не так ли?! Или я не так произношу это имя? Рондольфина? Все дело в гласной. Садитесь. На нас смотрят.

— Кто вам рассказал о ней? Вы получили от него известие? Но каким образом и как дошло оно сюда? Ведь мы случайно здесь; я хочу сказать — никто ведь не знает, что мы здесь.

— Энрико, никого здесь не было и ничего не произошло, пока вы были на телеграфе. Даю вам честное слово. Но это с минуты на минуту становится любопытней. Их двое значит?

— Тогда это чудо! Уму непостижимо... я рассудка лишаюсь. Кто подсказал вам это имя, Камилла? Где вы слышали его?

— Нынешнюю ночь, во сне. Господи, это ведь так обычно! Но вы все еще не ответили мне, кто такая эта Рондольфина? Чудеса не перевелись на свете — оставим чудеса в покое. Кто она такая, Энрико?

— О, Камилла, Рондольфина — это вы!

— Актер изолгавшийся!.. Нет!.. нет! Пустите!.. не прикасайтесь ко мне!

Оба вскакивают. Камилла вся — одно движение бесповоротного стремительного маневра. Их разделяет только столик. Камилла хватается за спинку кресла, что-то встало меж ней и ее решением, что-то вселилось в нее, и, как карусель, круговой волной повело кофейню вверх, наоткос... Пропала!.. Сорвать его, сорвать колье...

Той же тошнотворной, карусельной бороздой тронулась, пошла и потекла цепь лиц... эспаньолок... моноклей... лорнетов, в ежесекундно растущем множестве наводимых на нее; разговоры за всеми столиками претыкаются об этот несчастный столик, она еще видит его, еще опирается, может пройдет... Нет... нестройный оркестр сбивается с такта...

— Камерьере, воды!

VI

Лихорадит слегка.

— Какой у вас крошечный номер!.. Да, да, вот так, спасибо. Я еще полежу немного. Это малярия — а потом... У меня ведь целая квартира; но вы не должны оставлять меня. Это может стрястись надо мной каждую минуту. Энрико!

— Да, дорогая?

— Чего ж вы молчите?.. Нет, нет, не надо, лучше так... Ах, Энрико, я и не припомню, было ли утро сегодня... А они всё стоят еще?

— Что, Камилла?

— Цветы. Их надо вынести на ночь. Какой тяжелый аромат! Сколько в нем тонн?

— Я велю вынести их... Что такое, Камилла?

— Я встану... Да я сама, спасибо. Вот — совсем прошло, стоит только на ноги стать... Да, надо вынести их. А куда бы? Постойте, у меня ведь целая квартира на площади Ариосто. Отсюда видать, наверное...

- Ночь уже. Кажется, посвежело немного.
- Отчего так мало народу на улице?
- Тсс, каждое слово слышать.

.

— О чем это они?

— Не знаю, Камилла. Студенты, кажется. Похвальба какая-то. Может быть, о том, что и мы...

— Пустите-ка. Остановились на углу! Господи, он маленького через голову перебросил!! Вот опять тишина. Как диковинно свет застревает в ветвях! А фонаря не видно. Мы не в последнем?

— Что, Камилла?

— Над нами еще этаж?

— Да, кажется.

Камилла высовывается из окошка, она заглядывает за навесной щиток снизу вверх.

— Нет... — Но Гейне не дает ей договорить. — Нет никого, — высвобождаясь, повторяет она.

— В чем дело?

— Я думала, там человек стоит, лампа на окне, а он крошенные листья и тени в окошко швыряет на улицу; хотела лицо подставить, поймать на щеку. Ну, и нет никого.

— Да это поэзия сама, Камилла!

— Правда? Не знаю. Вот он. Вот там, около театра. Где зарево лиловое.

— Кто, Камилла?

— Вот чудак! Дом мой, вот кто. Да, но это припадки! Если бы устроить как-нибудь...

— Номер уже заказан для вас.

— Правда? Какая заботливость! Наконец-то. Который час? Пойдем посмотрим, какой это номер у меня? Интересно.

Они уходят из восьмого, улыбающиеся и взволнованные, как школьники, осаждающие Трою на дровяном дворе.

VII

Задолго еще до его наступления, о близости нового утра стали болтливо разглагольствовать католические колокола, толчками, с кувыркающихся колод, отवेशи-

вая свои холодные поклоны. В гостинице горела одна всего лампочка. Она вспыхнула, когда едко затрещал телефонный звонок, и ее уже не тушили потом. Она была свидетельницей того, как подбежал к аппарату заспанный дежурный; как, отложив трубку на пульт, после некоторых пререканий с звонившимся, затерялся он в глуби коридора, как спустя некоторое время вынырнул он из тех полутемных недр.

— Да, синьор уезжает сегодня поутру, он позвонит вам, если это так срочно, через полчаса, потрудитесь оставить свой номер. Скажите, кого вызвать.

Лампочка осталась гореть и тогда, когда, застегиваясь на ходу, ночной походкою, на носках, из поперечного коридорчика в главный прошел человек из восьмого, как был он назван по телефону.

Лампочка находилась как раз напротив этого номера. Человек из восьмого, однако, для того чтобы попасть к телефону, совершил пешеходную прогулку по коридору, и начало этой прогулки лежало где-то в зоне восьмидесятых номеров. После непродолжительных переговоров с дежурным, изменившись в лице, на котором тревожное волнение уступило место чертам внезапной беззаботности и любопытства, он отважно взялся за телефонную трубку и, по исполнении всех технических обрядностей, нашел себе собеседника в лице редактора газеты „Vосе”.

— Слушайте, это безбожно! Кто вам сказал, что я бессонницей страдаю?

.....
— Вы по ошибке, кажется, попали к телефону, подымаясь на колокольню. Чего вы благовестите? Ну, в чем дело?

.....
— Да, я задержался на сутки.

.....
— Лакей прав, домашнего адреса я им не оставлял и не оставлю.

.....
— Вам? Тоже нет. Да вообще я и не думал его публиковать, да еще сегодня, как вы, кажется, вообразили.

— Он вам никогда ни на что не понадобится.

— Не горячитесь, господин редактор, и вообще побольше хладнокровия. Релинквимини и не подумает обращаться к вашему посредничеству.

— Потому что он не нуждается в нем.

— Еще раз напоминаю вам о драгоценности вашего спокойствия для меня. Релинквимини никогда никакой тетрадки не терял.

— Позвольте, — хотя это первое недвусмысленное выражение у вас. Нет, безусловно нет.

— Опять? Хорошо, допускаю. Но это — шантаж только в пределах вчерашнего номера вашей „Vосе“. И далеко не то — за его пределами.

— Со вчерашнего дня. С шести часов пополудни.

— Если бы вы хоть стороной нюхнули того, что вошло на дрожжах этой выдумки, вы бы подыскали всему этому названье порезче, и оно еще дальше находилось бы от истины, чем то, что вы только что изволили преподнести мне.

— Охотно. С удовольствием. Сегодня я не вижу этому никаких препятствий. Генрих Гейне.

— Вот именно.

— Очень лестно слушать.

— Да что вы?

— Очень охотно. Как же это сделать? Жалею, что вынужден сегодня же ехать. Приходите на вокзал, проведемте часок вместе.

— Девять тридцать пять. Впрочем, время — цепь сюрпризов. Лучше не приезжайте.

— Приходите в гостиницу. Днем. Вернее будет. Или ко мне на квартиру. Вечером. Во фраке, пожалуйста, с цветами.

— Да, да, господин редактор, вы — пифия.

— Или завтра на дуэльную площадку, за город.

— Не знаю, может быть, и не шутка.

— Или, если вы заняты эти два дня сплошь, приходите, знаете что, приходите на Campo Santo, послезавтра.

— Вы думаете?

— Вы думаете?

— Какой странный разговор ни свет ни заря! Ну, простите, я устал, меня в номер тянет.

— Не слышу...?.. В восьмой? Ах, да. Да, да, в восьмой. Это — дивный номер, господин редактор, с совершенно особым климатом, там вот уже пятый час стоит вечная весна. Прощайте, господин редактор.

Гейне машинально повертывает выключатель.

— Не туши, Энрико, — раздается в темноте из глубины коридора.

— Камилла?!!

1915

ПИСЬМА ИЗ ТУЛЫ

I

На воле заливались жаворонки, и в поезде, шедшем из Москвы, везли задыхавшееся солнце на множестве полосатых диванов. Оно садилось. Мост с надписью «Упа» поплыл по сотне окошек в ту самую минуту, как кочегару, летевшему впереди состава на тендере, открылся в шуме его собственных волос и в свежести вечернего возбуждения, в стороне от путей, быстро несшийся навстречу город.

Тем временем там, здороваясь на улицах, говорили: «С добрым вечером». Некоторые прибавляли: «Оттуда?» — «Туда», отвечали иные. Им возражали: «Поздно. Всё кончилось».

«Тула, 10-го.

Ты, значит, перешла, как уговорились с проводником. Сейчас генерал, освободивший место, проходя к стойке, поклонился мне, как доброму знакомому. Ближайший поезд в Москву в три часа ночи. Это он прощался, уходя. Швейцар открывает ему двери. Там шумят извозчики. Издали, как воробьи. Дорогая, эти проводы были безумием. Теперь разлука вдесятеро тяжелей. Воображенью есть с чего начать. Оно меня изложет. Там подходит конка и перепрягают. Поеду осматривать город. О, тоска! Забью, затуплю ее, неистовую, стихами».

«Тула.

Ах, середины нет. Надо уходить со второго звонка или же отправляться в совместный путь до конца, до могилы. Послушай, ведь будет светать, когда я проделаю весь этот путь целиком в обратном порядке, а то во всех мелочах, до мельчайших. А они будут теперь тонкостями изысканной пытки.

Какое горе родиться поэтом! Какой мучитель воображенья! Солнце — в пиве. Опустилось на самое доннышко бутылки. Через стол — агроном или что-то в этом роде. У него бурое лицо. Кофе он помешивает зеленою рукой. Ах, родная, все чужие кругом. Был один, да ушел свидетель (генерал). Есть другой еще, мировой, — не признают. Ничтожества! Ведь они думают свое солнце похлебавают с молоком из блюдца. Думают не в твоём, не в нашем вязнут их мухи, чокают кастрюли у поварят, брыжжет сельтерская и звонко, как языком, щелкают целковые о мрамор. Пойду осматривать город. Он в стороне остался. Есть конка, да не стоит; ходьбы, говорят, минут сорок. Квитанцию нашел, твоя была правда. Завтра навряд поспею, надо будет выспаться. Послезавтра. Ты не беспокойся, — ломбард, дело терпит. Ах, писать — только себя мучить. А расстаться нет сил».

Прошло пять часов. Была необычайная тишина. На глаз нельзя стало сказать, где трава, где уголь. Мерцала звезда. Больше не было ни живой души у водокачки. В гнилом продаве мшаника чернела вода. В нем дрожало отраженье березки. Ее лихорадило. Но это было очень далеко. Очень, очень далеко. Кроме нее не было ни души на дороге.

Была необычайная тишина. Бездыханные котлы и вагоны лежали на плоской земле, похожие на скопления низких туч в безветренные ночи. Не апрель, — играли бы зарницы. Но небо волновалось. Пораженное прозрачностью, как недугом, изнутри подтачиваемое весной, оно волновалось. Последний вагон тульской конки подошел из города. Захлопали откидные спинки скамей. Последним сошел человек с письмами, торчавшими из широких карманов широкого пальто. Остальные направились в зал, к кучке весьма странной молодежи, шумно ужинавшей в конце. Этот остался за фасадом, ища зеленого ящика. Но нельзя было сказать, где трава, где

уголь, и когда усталая пара поволокла по дерну дышло, бороня железкою тропу, пыли не было видно, и только фонарь у конного двора дал тусклое понятие об этом. Ночь издала долгий горловой звук — и всё стихло. Это было очень, очень далеко, за горизонтом.

«Тула, десятое (зачеркнуто) одиннадцатое, час ночи. Дорогая, справься с учебником. Ключевский с тобой, клал сам в чемодан. Не знаю, как начать. Ничего еще не понимаю. Так странно; так страшно. Тем временем, как пишу тебе, все продолжается своим чередом в другом конце стола. Они геньяльничают, декламируют, бросаются друг в дружку фразами, театрально швыряют салфетки об стол, утерев бритые рты. Я не сказал кто это. Худший вид богемы. (Тщательно зачеркнуто). Кинематографическая труппа из Москвы. Ставили «Смутное время» в Кремле и где были валы.

Прочти по Ключевскому, — не читал, думаю должен быть эпизод с Петром Болотниковым. Это и вызвало их на Упу. Узнал, что поставили точка в точку и сняли с другого берега. Теперь семнадцатый век рассован у них по чемоданам, всё же остальное виснет над грязным столом. Ужасны полячки, и боярские дети страшней. Дорогой друг! Мне тошно. Это — выставка идеалов века. Чад, который они поднимают, — мой, общий наш чад. Это угар невежественности и самого неблагоприятного нахальства. Это я сам. Дорогая, я опустил тебе два письма. Я их не помню! Вот словарь этих (зачеркнуто, брошено без замещения). Вот их словарь: гений, поэт, скука, стихи, бездарность, мещанство, трагедия, женщина, я и она. Как страшно видеть свое на посторонних. Это шарж на (оставлено без продолжения).»

«2 часа. Вера сердца больше, чем когда еще, клянусь тебе, придет время, — нет, дай вперед расскажу. Терзай, терзай меня ночь, не всё еще, пали до тла, гори, гори ясно, светло, прорвавшее засыпь, забытое, гневное, огненное слово «совесть». (Под ним черта, продравшая места ми бумагу). О, гори бешеный нефтяной язык, озаривший пол ночи.

Завелся такой пошиб в жизни, отчего не стало на земле положений, где бы мог человек согреть душу огнем

стыда; стыд подмок повсеместно, и не горит. Ложь и путаное беспутство. Так тридцать уже лет живут и мочут стыд все необыкновенные, стар и мал, и уже перекинулось на мир, на безвестных. В первый, в первый раз с далеких детских лет я сгораю (зачеркнуто всё).»

Новая попытка. Письмо остается неотосланным.

«Как описать тебе? Приходится с конца. Иначе не выйдет. Так вот, и позволь в третьем лице. Я писал тебе о человеке, прогуливавшемся вдоль багажной стойки? Так вот. Поэт, ставящий отныне это слово, пока не очистят огнем, в кавычки, «поэт» наблюдает себя на безобразничаящих актерах, на позорище, обличающем товарищей и время. Может, он кокетничает? Нет. Ему подтверждают, что его отождествление не химера. Подымаются, подходят к нему. «Коллега, не разменяете ли трешку?» Он рассеивает заблуждение. Бреются не одни актеры. Вот двугривенных на три рубля. Он отделяется от актера. Но дело не в бритых усах. «Коллега», сказал этот подонок. Да. Прав. Это свидетельское показание обвинения. В это время происходит новое, сущий пустяк, по-своему сотрясающий всё случившееся и испытанное в зале до этого момента.

«Поэт» узнает, наконец, прогуливавшегося по багажной. Лицо это он видел когда-то. Из здешних мест. Он видел его раз, не однажды, в течение одного дня, в разные часы, в разных местах. Это было когда составляли особый поезд в Астапове, с товарным вагоном под гроб, и когда толпы незнакомого народа разъезжались со станции в разных поездах, кружившихся и скрещивавшихся весь день по неожиданностям путаного узла, где сходились, разбегались и секлись, возвратясь, четыре железных дороги.

Тут мгновенное соображение наваливается на всё, что было в зале с «поэтом» и как на рычаге поворачивает сцену, и вот как. — Ведь это Тула! Ведь эта ночь — ночь в Туле. Ночь в местах Толстовской биографии. Диво ли, что тут начинают плясать магнитные стрелки? Происшествие — в природе местности. Это случай на *территории совести*, на ее гравитирующем, рудоносном участке. «Поэта» больше не станет. Он клянется тебе. Он клянется тебе, что когда-нибудь, когда он увидит с экрана «Смутное время» (ведь, поставят его когда-нибудь) — экспо-

зиция сцены на Упе застанет его совсем одиноким, если не исправятся к тому времени актеры, и, топтавшись однажды весь день на минированной территории духа, останутся целы в своем невежестве и фанфаронстве сновидцы всех толков.»

Пока писались эти строки, из будок вышли и поплелись по путям низкие нашпальные огоньки. Стали раздаваться свистки. Пробуждался чугунок, вскрикивали ушибленные цепи. Мимо дебаркадера тихо-тихо скользили вагоны. Они скользили давно уже, и им не было числа. За ними росло приближение чего-то тяжелодышащего, безвестного, ночного. Потому, что стык за стыком, за паровозом близилось внезапное очищение путей, неожиданное явление ночи в кругозоре пустого дебаркадера, явление тишины по всей шире семафоров и звезд, — наступление полевого покоя. Эта-то минута и храпела в хвосте товарного, нагибаясь под низким навесом, близилась и скользила.

Пока писались эти строки, стали составлять смешанный Елецкий.

Писавший вышел на перрон. Была ночь на всём протяжении сырой русской совести. Ее озаряли фонари. По ней, подгибая рельсы, медленно следовали платформы с веялками за брезентом. Ее топтали тени и оглушали клоушья пара, петушками выбивавшиеся из клапанов. Писавший обогнул вокзал. Он вышел за фасад.

Ничто не изменилось на всём пространстве совести, пока писались эти строки. От нее несло гниlostностью и глиной. Далеко, далеко, с того ее края мерцала березка и, как упавшая серьга, обозначался в болотце продав. Вырываясь из зала наружу, падали полосы света на ночной пол, под скамейки. Эти полосы буянили. Стук пива, безумья и смрада попадал под скамейки за ними. И еще, когда замирали вокзальные окна, где-то поблизости слышался хруст и храп. Писавший прохаживался. Он думал о своем искусстве и о том, как ему выйти на правильную дорогу. Он забыл с кем ехал, кого проводил, кому писал. Он предположил, что всё начнется, когда он перестанет слышать себя, и в душе наступит полная физическая тишина. Не ибсеновская, но акустическая.

Так он думал. По телу его пробежала дрожь. Серел восток, и на лицо всей, еще в глубокую ночь погруженной, совести выпадала быстрая, растерянная роса. Пора было подумать о билете. Пели петухи и оживала касса.

II

Только тогда улегся, наконец, в городских номерах на Посольской чрезвычайно странный старик. Пока писались письма на вокзале, номер подрагивал от легких шажков, и свечка на окне ловила шепот, часто прерывавшийся молчанием. То не был голос старика, хотя кроме него не было ни души в комнате. Всё это было удивительно странно.

Старик провел необычайный день. Он пошел опечаленный прочь с лужайки, когда узнал, что это вообще не пьеса, а покудова вольная еще фантазия, которая станет пьесой, как только будет показана в «Чарах». Сначала, при виде бояр и воевод, колыхавшихся на том берегу, и черных людей, подводивших связанных и сшибавших с них шапки в крапиву; при виде поляков, цеплявшихся за ракитовые кусты по обрыву, и их секир, нечувствительных к солнцу и не издававших звона, старик стал рыться в своем собственном репертуаре. Он в нем не нашел такой хроники. Тогда он решил, что это из до-временного еще ему, Озеров или Сумароков. Тут-то и указали ему на фотографа и, назвав Чары, учреждение, которое он ненавидел от души, напомнили, что он стар и одинок, и времена другие. Он пошел прочь, удрученный.

Он шел в старых нанковых штанах и думал о том, что на свете нет уже никого, кто бы звал его Саввушкой. День был праздничный. Он грелся на рассоренных подсолнушках.

Сквозь низкую грудную речь его заплывали новым. В высоте рыхло, колобком таял месяц. Небо казалось холодным, удивленно далеким. Голоса были промаслены еденым и питым. Рыжик, ржаная коврижка, сало и водка пропитали даже эхо, соловевшее за рекой. На иных улицах былолюдно. Грубые оборки придавали бабам и юбкам особую рябость.

Бурьян ни на шаг не отставал от гулявших. Подымалась пыль, слипая глаза и застилая лопух, клубами бившийся о плетни и пристававший к платьям. Палка казалась куском стариковского склероза. Он опирался на это продолжение своих узловатых жил судорожно и подагрически плотно.

Весь день у него было такое чувство, будто он побывал на не в меру шумной толкучке. Это были последствия зрелища. Оно оставило неудовлетворенной его потребность в трагической человеческой речи. Этот молчаливый пробел и звенел в ушах у старика.

Весь день он ходил больной тем, что не услышал с того берега ни одной пятистопной строчки.

А когда настала ночь, он присел к столу, подпер голову рукой и задумался. Он решил, что это смерть его. Так непохожа была на последние его годы, горькие и ровные, эта душевная смута. Он решил достать из шкапа ордена и предупредить кого-нибудь, хоть швейцара, всё равно кого, а меж тем всё сидел, ожидая, что может это так, придет.

Мимо, тенькая, протрусил конка. Это шла последняя к вокзалу.

Прошло с полчаса. Сияла звезда. Кроме не было ни души кругом. Было уже поздно. Горела, зябла и дрожала свеча. Волновался размягченный силуэт этажерки в четырех черных струи. В это время ночь издала долгий горловой звук. Далеко, далеко. На улице хлопнули дверью и заговорили, взволнованно-тихо, как подобает в такую весеннюю ночь, когда вокруг ни души и только в номере наверху — свет, и растворено окошко.

Старик встал. Он преобразился. Наконец-то. Он нашел. Ее и себя. Ему помогли. И он бросился пособлять этим намекам, чтобы не упустить *обоих*, чтобы не ускользнули, чтобы впитаться и замереть. Он достиг двери в несколько шагов, полузакрыв глаза и размахивая рукою, спрятав подбородок в другую. Он вспоминал. Вдруг он выпрямился и бодро прошелся назад, не своим, чужим шагом. Повидимому, он играл.

«Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна», произнес он и откашлялся и сплюнул в платок, и вновь: «Ну и ме-

тет, и метет же, Любовь Петровна», — произнес он, — и не стал кашлять, и теперь это вышло похоже.

Он стал шевелить руками и бросаться воздухом, будто пришел с непогоды, раскутывается, скидывает шубу. Он подождал, что ему ответят из-за переборки и, будто не дождавшись, спросил: «Разъ вы не дома, Любовь Петровна?» всё тем же чужим голосом, и вздрогнул, когда, как это *полагалось*, на расстоянии двух с половиной десятков лет услышал за *той* перегородкой милое, веселое «до-о-ма». Тогда опять, и на этот раз всего сходней, с иллюзией, которая составила бы гордость иного его брата в таком положении, он протянул, как бы возьась в табачке, и косым поглядываньем по переборке расстраивая части речи: «М-м — а виноват, Любовь Петровна, — а Саввы Игнатьевича что ж— нету?».

Это было уже слишком. Он увидел обоих. Ее и себя. Старика душили беззвучные рыдания. Шли часы. Он плакал и шептал. Была необычайная тишина. А тем временем как старик содрогался и беспомощно обжимал платком глаза и лицо, и трясся и мял его, мотая головой и отмахиваясь, как хихикающий, когда он давится и дивится, как это, прости Господи, как это он цел еще и его не разорвало — на путях стали собирать смешанный Елецкий.

Он в течение часа консервировал в слезах, как в спирту, свою молодость, и когда у него не стало слез, всё распалось, унеслось, исчезло. Он сразу потускнел и будто запылился. И тогда, вздыхая, как виноватый, и позевывая, стал укладываться спать.

Он тоже брил усы, как все в рассказе. Он тоже, как главное лицо, искал физической тишины. В рассказе только он один нашел ее, заставив своими устами говорить постороннего.

Шел поезд в Москву и в нем везли огромное пунцовое солнце на множестве сонных тел. Оно только-что показалось из-за холма и подымалось.

Апрель 1918.

ДЕТСТВО ЛЮБЕРС

Повесть

ДОЛГИЕ ДНИ

I

Люберс родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее кораблики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в доме. Отец ее вел дела Луньевских копей и имел широкую клиентуру среди заводчиков с Чусовой.

Дареные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему. Это была шкура, заведенная для «Женечкиной комнаты» — облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посыльным.

По летам живали на том берегу Камы на даче. Женю в те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней Мотовилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидела взрослых на балконе. Нависшая над брусьями ольха была густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты — желты, сукно — зелено. Это было похоже на бред, но у этого бреда было свое название, известное и Жене: шла игра.

Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным, и не было

бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие ветреные тени на рыжие бревна галереи. Женя расплакалась. Отец вошел и объяснил ей. Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца было коротко:

— Это — Мотовилиха. Стыдно! Такая большая девочка... Спи!

Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное — Мотовилиха. В эту ночь это объяснило еще всё, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение.

Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое — Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха — завод, казенный завод, и что делают там чугуны, а из чугуна... Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрыла.

В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Она в первый раз за свои годы заподозрила явление в чем-то таком, что явление либо оставляет про себя, либо если и открывает кому, то тем только людям, которые умеют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку. Она впервые, как и эта новая Мотовилиха, сказала не всё, что подумала, и самое существенное, нужное и беспокойное скрыла про себя.

Шли годы. К отъездам отца дети привыкли с самого рождения настолько, что в их глазах превратилось в особую отрасль отцовства редко обедать и никогда не ужинать. Но всё чаще и чаще игралось и вздорилось, пилось и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки не могли заменить присутствия матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью запальчивости и упорства, как каким-то родным электричеством. Сквозь гардины струился тихий северный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался седым. Тяжело и сурово грудилось серебро. Над скатертью двигались лавандой умытые руки англичанки, она никого не обделяла и обладала неистощимым запасом терпенья; а чувство справедливости было свой-

ственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была и опрятна ее комната и ее книги. Горничная, подав кушанье, застаивалась в столовой и в кухню уходила только за следующим блюдом. Было удобно и хорошо, но страшно печально.

А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувства греховности и того, что хочется обозначить по-французски «христианизмом», за невозможностью назвать всё это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности; что это поделом. А между тем, — но это до сознания детей никогда не доходило, — между тем, как раз наоборот, всё их существо содрогалось и бродило, сбитое совершенно с толку отношением родителей к ним, когда те бывали дома; когда они не то чтобы возвращались домой, но возвращались в дом.

Редкие шутки отца вообще выходили неудачно и бывали не всегда кстати. Он это чувствовал и чувствовал, что дети это понимают. Налет какой-то печальной сконфуженности никогда не сходил с его лица. Когда он приходил в раздражение, то становился решительно чужим человеком, чужим начисто и в тот самый миг, в который он утрачивал самообладанье. Чужой не трогает. Дети никогда не дерзословили ему в ответ.

Но с некоторого времени критика, шедшая из детской и безмолвно стоявшая в глазах детей, заставляла его нечувствительным. Он не замечал ее. Ничем не уязвимый, какой-то неузнаваемый и жалкий, этот отец был — страшен, в противоположность отцу раздраженному, — чужому. Он трогал больше девочку, сына — меньше.

Но мать смущала их обоих. Она осыпала их ласками и задаривала и проводила с ними целые часы тогда, когда им менее всего этого хотелось; когда это подавляло их детскую совесть своей незаслуженностью, и они не узнавали себя в тех ласкательных прозвищах, которыми взбалмошно сыпал ее инстинкт.

И часто, когда в их душах наступал на редкость ясный покой, и они не чувствовали преступников в себе, когда от совести их отлегалось всё таинственное, чужающееся обнаружения, похожее на жар перед сыпью, они

видели мать отчужденной, сторонящейся их и без поводу вспылчивой. Являлся почтальон. Письмо относилось по назначению — маме. Она принимала, не благодаря. «Ступай к себе!» Хлопала дверь. Они тихо вешали голову и, заскучав, отдавались долготу, унылому недоумению.

Вначале, случалось, они плакали; потом, после одной особенно резкой вспышки, стали бояться; затем, с течением лет, это перешло у них в затаенную, всё глубже укorenяющуюся неприязнь.

Всё, что шло от родителей к детям, приходило не-впопад, со стороны, вызванное не ими, но какими-то посторонними причинами, и отдавало далекостью, как это всегда бывает, и загадкой, как ночами нытье по за-ставам, когда все ложатся спать.

Это обстоятельство воспитывало детей. Они этого не сознавали потому, что мало кто и из взрослых знает и слышит то, что жидет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен никто, помешать — может всякий. Как можно ей помешать? А вот как. Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево всё сплошь пойдет проростью или уйдет целиком в корень или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и произведет что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же.

И чтобы не было суков в душе, — чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии и все общие понятия и все предрассудки людей, и самый яркий из них, самый развлекающий — п с и х о л о г и я.

Из первобытного младенчества дети уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и справедливости проникли уже по-детски в их душу и отвлекали в сторону их сознание, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и прекрасным.

II

Мисс Hawthorn этого б не сделала. Но в один из приступов своей беспричинной нежности к детям госпожа Люверс по самому пустому поводу наговорила резкостей англичанке, и в доме ее не стало. Вскоре и как-то незаметно на ее месте выросла какая-то чахлая француженка. Впоследствии Женя припоминала только, что француженка похожа была на муху, и никто ее не любил. Имя ее было утрачено совершенно, и Женя не могла бы сказать, среди каких слогов и звуков можно на это имя набрести. Она только помнила, что француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено.

Ей казалось, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо сплывалась перед ней, как учебник после обеда.

Тот день тянулся страшно долго. Матери не было в тот день. Женя об этом не жалела. Ей казалось даже, что она ее отсутствию рада.

Вскоре долгий день был предан забвению среди форм *passé* и *futur antérieur*, поливки гиацинтов и прогулок по Сибирской и Оханской. Он был позабыт настолько, что долготу другого, второго по счету в ее жизни, она заметила и ощутила только к вечеру, за чтением при лампе, когда лениво подвигавшаяся повесть навела ее на сотни самых праздных размышлений. Когда впоследствии она припоминала тот дом на Осинской, где они тогда жили, он представлялся ей всегда таким, каким она его видела в тот второй долгий день, на его исходе. Он был действительно долог. На дворе была весна. Трудно назревающая и больная, весна на Урале прорывается затем широко и бурно, в срок одной какой-нибудь ночи, и бурно и широко протекает затем. Лампы только оттеняли пустоту вечернего воздуха. Они не давали света, но набухали, изнутри, как большие плоды, от той мутной и светлой водянки, которая раздувала их одутловатые колпаки. Они отсутствовали. Они попадались, где надо, на своих местах, на столах и спускались с лепных потолков в комнатах, где девочка привыкла их видеть. Между тем до

комнат у ламп было касательства куда меньше, чем до весеннего неба, к которому они казались пододвинутыми вплотную, как к постели больного — питье. Душой своей они были на улице, где в мокрой земле копошился говор дворни и где, леденя, застывала на ночь редеющая капель. Вот где вечерами пропадали лампы. Родители были в отъезде. Впрочем, мать ожидалась, кажется, в этот день. В этот долгий или в ближайшие. Да, вероятно. Или, может быть, она нагрянула ненароком. Может быть и то.

Женя стала укладываться в постель и увидала, что день долог от того же, что и тот, и сначала подумала было достать ножницы и выстричь эти места в рубашке и на простыне, но потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре.

— Она пудрится! Только этого недоставало.

Теперь она поняла наконец. Она давно замечала.

Женя расплакалась от побоев, от крика и от обиды; от того, что, чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было — она это чувствовала — куда сквернее ее подозрений. Надо было — это чувствовалось до отупенья настоятельно, чувствовалось в икрах и в висках — надо было неведомо отчего и зачем скрыть это, как угодно и во что бы то ни стало. Суставы, ноя,плыли слитным гипнотическим внушением. Томящее и измощдающее, внушение это было делом организма, который таил смысл всего от девочки и, ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотечении какое-то тошнотворное, гнусное зло. «Menteuse!» Приходилось только отрицать, упорно запершись в том, что было гаже всего и находилось где-то в середине между срамом безграмотности и позором уличного проишествия. Приходилось вздрагивать, стиснув зубы, и, давсь слезами, жаться к стене. В Каму нельзя было броситься, потому что было еще холодно и по реке шли последние урывни.

Ни она, ни француженка не услышали во-время звонка. Поднявшаяся кутерьма ушла в глухоту черно-бурых шкур, и когда вошла мать, то было уже поздно. Она застала дочь в слезах, француженку — в краске. Она по-

требовала объяснения. Француженка напрямик объявила ей, что — не Женя, нет — *votre enfant*, сказала она, — что е е д о ч ь пудрится и что она замечала и догадывалась уже раньше. Мать не дала договорить ей — ужас ее был непритворен: девочке не исполнилось еще и тринадцати.

— Женя — ты?.. Господи, до чего дошло! (Матери в эту минуту казалось, что слово это имеет смысл, будто уже и раньше она знала, что дочка деградирует и опускается, и она только не распорядилась во-время — и вот застает ее на такой низкой степени паденья). Женя, говори всю правду — будет хуже! — что ты делала... — с пудреницей, хотела, вероятно, сказать госпожа Люверс, но сказала: — с этой вещью, — и схватила «эту вещь» и взмахнула ею в воздухе.

— Мама, не верь m-Це, я никогда... — и она разрыдалась.

Но матери слышались злобные ноты в этом плаче, которых не было в нем; и она чувствовала виноватой себя, и внутренне себя ужасалась; надо было, по ее мнению, исправить всё, надо было, пускай и против материнской природы, «возвыситься до педагогических и благоразумных мер»: она решила не поддаваться состраданью. Она положила выждать, когда прольется поток этих глубоко терзавших ее слез.

И она села на кровать, устремив спокойный и пустой взгляд на краешек книжной полки. От нее пахло дорогими духами. Когда дочь пришла в себя, она снова приступила к ней с расспросами. Женя кинула заплаканными глазами по окну и всхлипнула. Шел и, верно, шумел лед. Блестала звезда. Ковко и студено, но без отлива, шершаво чернела пустынная ночь. Женя отвела глаза от окна. В голосе матери слышалась угроза нетерпенья. Француженка стояла у стены, вся — серьезность и сосредоточенная педагогичность. Ее рука по-адъютантски покоилась на часовом шнурке. Женя снова глянула на звезды и на Каму. Она решила. Несмотря ни на холод, ни на урывни. И — бросилась. Она, путаясь в словах, непохоже и страшно рассказала матери п р о э т о. Мать дала договорить ей до конца только потому, что ее поразило, сколько души вложил ребенок в это сообщение. Понять — поняла-то она всё по первому слову.

Нет, нет: по тому, как глубоко глотнула девочка, приступая к рассказу. Мать слушала, радуясь, любя и изнывая от нежности к этому худенькому тельцу. Ей хотелось броситься на шею к дочери и заплакать. Но — педагогичность; она поднялась с кровати и сорвала с постели одеяло. Она подозвала дочь и стала ее гладить по голове медленно-медленно, ласково.

— Хорошая де... — вырвалось у ней скороговоркой. Она шумно и широко отошла к окну и отвернулась от них.

Женя не видала француженки. Стояли слезы, стояла мать — во всю комнату.

— Кто управляет постель?

Вопрос не имел смысла. Девочка дрогнула. Ей стало жаль Грушу. Потом на знакомом ей французском языке, незнакомым языком было что-то сказано: строгие выражения. А потом опять ей, совсем другим голосом:

— Женечка, ступай в столовую, детка, я сейчас тоже туда приду и расскажу тебе, какую мы чудную дачу на лето вам... нам на лето с папой сняли.

Лампы были опять свои, как зимой, дома, с Люверсами, — горячие, усердные, преданные. По синей шерстяной скатерти резвилась мамина куница. «Выиграно задержусь на Благодати жди концу Страстной если...»; остального нельзя было прочесть: депеша была загнута с уголка. Женя села на край дивана, усталая и счастливая. Села скромно и хорошо, точь-в-точь, как села полгода спустя в коридоре Екатеринбургской гимназии на край желтой холодной лавки, когда, ответив на устном экзамене по русскому языку на пятерку, узнала, что «может итти».

На другое утро мать сказала ей, что нужно будет делать в таких случаях и что это ничего, не надо бояться, что это будет не раз еще. Она ничего не назвала и ничего ей не объяснила, но прибавила, что теперь она сама займется предметами с дочерью, потому что больше уезжать не будет.

Француженка была разочтена за нерадение, пробыв немного месяцев в семье. Когда ей наняли извозчика и она стала спускаться по лестнице, она встретилась на площадке с подымавшимся доктором. Он очень непри-

ветливо ответил на ее поклон и ничего не сказал ей на прощанье; она догадалась, что он уже знает всё, нахмурилась и повела плечами.

В дверях стояла горничная, дожидавшаяся пропустить доктора, и потому в передней, где находилась Женья, дольше, чем полагалось, стоял гул шагов и гул отдающего камня. Так и запечатлелась у ней в памяти история ее первой девичьей зрелости: полный отзвук щебечущей утренней улицы, медлящей на лестнице, свежо проникающей в дом; француженка, горничная и доктор, две преступницы и один посвященный, омытые, обеззараженные светом, прохладой и звучностью шаркавших маршей.

Стоял теплый, солнечный апрель. «Ноги, ноги оботрите!» — из конца в конец носил голый, светлый коридор. Шкуры убирались на лето. Комнаты вставали чистые, преображенные и вздыхали облегченно и сладко. Весь день, весь томительно беззакатный, надолго увязавший день, по всем углам и середь комнат, по прислоненным к стенке стеклам и в зеркалах, в рюмках с водой и на синем садовом воздухе, ненасытно и неутолимо, щурясь и охорашиваясь, смеялась и неистовствовала черемуха и мылась, захлебываясь, жимолость. Круглые сутки стоял скучный говор дворов; они объявляли ночь низложенной и твердили мелко и дробно, день-денской, с затеканьями, действовавшими как сонный отвар, что вечера никогда больше не будет и они никому не дадут спать. «Ноги, ноги!» — но им горелось, они приходили пьяные с воли, со звоном в ушах, за которым упустили понять толком сказанное и рвались поживей отхлебать и отжеваться, чтобы, с дерущим шумом сдвинув стулья, бежать снова назад, в этот на вылет, за ужин ломящийся день, где просыхающее дерево издавало свой короткий стук, где пронзительно щебетала синева и жирно, как топлениная, блестела земля. Граница между домом и двором стиралась. Тряпка не домывала наследленного. Полы поволакивались сухой и светлой мазней и похрустывали.

Отец навез сластей и чудес. В доме стало чудно хорошо. Камни с влажным шелестом предупреждали о своем появлении из папиросной, постепенно окрашивавшейся бумаги, которая становилась всё более и более

прозрачной по мере того, как слой за слоем разворачивались эти белые, мягкие, как газ, пакеты. Одни подходили на капли миндального молока, другие — на брызги голубой акварели, третьи — на затверделую сырную слезу. Те были слепы, сонны или мечтательны, эти — с резвою искрой, как смерзшийся сок королек. Их не хотелось трогать. Они были хороши на пенящейся бумаге, выделявшей их, как слива свою тусклую глеть.

Отец был необычайно ласков с детьми и часто провозил мать в город. Они возвращались вместе и казались радостны. А главное, оба были спокойны духом, ровны и приветливы, и когда мать урывками, с шутилкой укоризной взглядывала на отца, то казалось, она черпает этот мир в его глазах, некрупных и некрасивых, и изливает его потом своими, крупными и красивыми, на детей и окружающих.

Раз родители поднялись очень поздно. Потом, неизвестно с чего, решили поехать завтракать на пароход, стоявший у пристани, и взяли с собой детей. Сереже дали отведать холодного пива. Всё это так понравилось им, что завтракать на пароход ездили еще как-то. Дети не узнавали родителей. Что с ними случилось? Девочка недоуменно блаженствовала, и ей казалось, что так будет теперь всегда. Они не опечалились, когда узнали, что на дачу их в это лето не повезут. Скоро отец уехал. В доме появились три дорожных сундука, огромных, желтых, с прочными накладными ободьями.

III

Поезд отходил поздно ночью. Люверс переехал месяцем раньше и писал, что квартира готова. Несколько извозчиков трусцой спускалось к вокзалу. Его близость сказала по цвету мостовой. Она стала черна, и уличные фонари ударили по бурому чугуну. В это время с виадука открылся вид на Каму, и под них грохнулась и выбежала черная, как сажа, яма, вся в тяжесть и в тревогах. Она стрелой побежала прочь и там, далеко-далеко, в том конце, пугаясь, раскатилась и затряслась мигающими бусинами сигнализационных далей.

Было ветрено. С домков и заборов слетали их очертанья, как обечайки с решет, и зыбились и трепались в

рытом воздухе. Пахло картошкой. Их извозчик выбрался из череды подскакивавших спереди корзин и задков и стал обгонять их. Они издали узнали полук со своим багажом; поровнялись; Уляша что-то громко кричала барыне с возу, но гогот колес ее покрывал, и она тряслась и подскакивала, и подскакивал ее голос.

Девочка не замечала печали за новизной всех этих ночных шумов и чернот и свежести. Далеко-далеко что-то загадочно чернелось. За пристанскими бараками болтались огоньки, город полоскал их в воде с бережка и с лодок. Потом их стало много, и они густо и жирно зароились, слепые, как черви. На Любимовской пристани трезво голубели трубы, крыши пакгаузов, палубы. Лежали, глядя на звезды, баржи. «Здесь — крысятник», — подумала Женя. Их окружили белые артельщики. Сережа соскочил первый. Он оглянулся и очень удивился, увидав, что ломовик с их поклажей тоже тут уже, — лошадь задрала морду, хомут вырос, встал торчмя, петухом, она уперлась в задок и стала осаживать. А его занимало всю дорогу, насколько те от них отстанут.

Мальчик стоял, упиваясь близостью поездки, в беленькой гимназической рубашке. Путешествие было обожим в новинку, но он знал и любил уже слова: депо, паровозы, запасные пути, беспересадочный, и звукосочетание «класс» казалось ему на вкус кисло-сладким. Всем этим увлекалась и сестра, но по-своему, без мальчишеской систематичности, которая отличала увлечения брата.

Внезапно рядом, как из-под земли, выросла мать. Было приказано повести детей в буфет. Оттуда, пробираясь павой через толпу, пошла она прямо к тому, что было названо в первый раз на воле громко и угрожающе «начальником станции» и часто упоминалось затем в различных местах, с вариациями, среди разнообразия давки.

Их одолевала зевота. Они сидели у одного из окон, которые были так пыльные, так чопорны и так огромны, что казались какими-то учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в шапке. Девочка видела: за окном не улица, а тоже комната, только серьезнее и угрюмее, чем эта — в графине; и в ту комнату медленно въезжают паровозы и останавливаются, наведя мраку; а когда они уезжают и очищают комнату, то оказывает-

ся, что это не комната, потому что там есть небо, за столбиками, и на той стороне — горка, и деревянные дома, и туда идут, удаляясь, люди; там, может быть, поют петиухи сейчас и недавно был и насякотил водовоз...

Это был вокзал провинциальный, без столичной сутолоки и зарев, с заблаговременно стягивавшимися из ночного города уезжающими, с долгим ожиданием; с тишиной и переселенцами, спавшими на полу среди охотничьих собак, сундуков, зашитых в рогожу машин и не зашитых велосипедов.

Дети улеглись на верхних местах. Мальчик тотчас заснул. Поезд стоял еще. Светало, и постепенно девочке уяснилось, что вагон синий, чистый и прохладный. И постепенно уяснялось ей... Но спала уже и она.

Это был очень полный человек. Он читал газету и колыхался. При взгляде на него становилось явным то колыханье, которым, как и солнцем, было пропитано и залито всё купэ. Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, оставаясь лежать только оттого, что ждет, чтобы решение встать пришло само собой, без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли. Она разглядывала его и думала, откуда он взялся к ним в купэ, и когда это успел он одеться и умыться. Она понятия не имела об истинном часе дня. Она только проснулась, следовательно — утро. Она его разглядывала, а он не мог видеть ее: полатишли наклоном вглубь к стене. Он не видел ее, потому что и он поглядывал изредка из-за ведомостей вверх, вкось, вбок, и когда он подымал глаза на ее койку, их взгляды не встречались: он либо видел один матрац, либо же... но она быстро подбрала их под себя и натянула ослабнувшие чулочки. «Мама — в этом углу; она убралась уже и читает книжку, — отраженно решила Женя, изучая взгляды толстяка. — А Сережи нет и внизу. Так где же он?» И она сладко зевнула и потянулась. «Страшно жарко», — поняла она только теперь и с голов заглянула на полуспущенное окошко. «А где же земля?» — ахнуло у ней в душе.

То, что она увидела, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно, всем. Он сбегал, яркий и ропщущий, вниз широко и отлого и, измельчав, сгустившись и замглясь, круто обрывался, совсем уже черный. А то, что высилось там, по ту сторону срыва, походило на громадную какую-то, всю в кудрях и в колечках, зелено-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание и сразу же ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча — какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз в долину; что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его; тут и там, и та-а-ам вон; только его.

— Это — Урал? — спросила она у всего купэ, переvesясь.

Весь остаток пути она, не отрываясь, провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высовывалась. Она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Величественные знакомцы туманятся и отходят вдаль. После краткой разлуки с ними, в течение которой с отвесным грохотом, на гремящих цепях, обдавая затылок холодом, подают перед самым носом новое диво, опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась, и всё растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхожденья. Всё это производится по какому-то медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботою о целостности земли. Этими сложными передвижениями управляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал.

Она зашла на мгновенье в купэ, сощуриив глаза от резкого света. Мама беседовала с незнакомым господином и смеялась. Сережа ерзал по пунцовому плюшу, держась за какой-то ременной настенный рубезок. Мама сплонула в кулачок последнюю косточку, сбила обро-

ненные с платья и, гибко и стремительно наклонясь, зашвырнула весь сор под лавку. У толстяка, против ожиданий, был сильный надтреснутый голосок. Он, видимо, страдал одышкой. Мать представила ему Женю и протянула ей мандаринку. Он был смешной и, вероятно, добрый и разговаривая, поминутно подносил пухлую руку ко рту. Его речь пучилась и, вдруг спираемая, часто прерывалась. Оказалось, он сам из Екатеринбурга, изъездил Урал вдоль и поперек и прекрасно знает, а когда, вынув золотые часы из жилетного кармана, он поднес их к самому носу и стал совать обратно, Женя заметила, какие у него добродушные пальцы. Как это в природе полных, он брал движением дающего, и рука у него всё время вздыхала, словно поданная для целованья, и мягко прыгала, будто била мячом об пол.

— Теперь скоро, — кося глаза, криво протянул он вбок от мальчика, хотя обращался именно к нему, и вытянув губы.

— Знаешь, столб, вот они говорят, на границе Азии и Европы, и написано: «Азия», — выпалил Сережа, съезжая с дивана, и побежал в коридор.

Женя ничего не поняла, а когда толстяк растолковал ей, в чем дело, она тоже побежала на тот бок ждать столба, боясь, что его уже пропустила. В очарованной ее голове «граница Азии» встала в виде фантазмагорического какого-то рубежа, вроде тех, что ли, железных брусьев, которые полагают между публикой и клеткой с пумами полосу грозной, черной, как ночь, и вонючей опасности. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой слышалась сказок от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала, и вот скоро увидит сама.

А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купе к старшим, однообразно продолжалось: серому ольшанику, которым полчаса назад пошла дорога, не предвиделось скончания, и природа к тому, что ее вскорости ожидало, не готовилась. Женя досадовала на скучную, пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она, когда, словно на Сережин неистовый крик, мимо окна мелькнуло и стало боком к ним и побежало прочь что-то вроде могильного памятничка, унося на себе в ольху от гнавшейся за ним ольхи

долгожданное сказочное название! В это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из окон всех классов, и тучей пыли несшийся под уклон поезд оживился. За Азией давно уже числился не один десяток прогонов, а всё еще трепетали платки на летевших головах и переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и летели все в облаках крутившегося песку, летели и летели мимо всё той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи.

IV

Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом, на кухню, разносчицей; его приносила по утрам Уляша парами, и особенные, другие, не пермские булки. Тротуары здесь были какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым белым глянецом. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем по-иному выходилось на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями.

— Как в Париже, — повторяла Женя вслед за отцом.

Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закусил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку и сидел боком и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город, и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще не известных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей говорилось «вы», и, новая, — она, как знакомым, улыбалась барыне и детям. И ей отдавались какие-то приказания насчет Уляши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь, или улицу, или птиц. И Уляша, верно, спрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой ве-

щей; спрашивает и осваивается, и смотрит, в каком углу печь, в том ли, как в Перми, или еще где.

Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, совсем поблизости — и они должны были ее видеть, проезжая; отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал:

— ...Неужели не показал? Но отсюда ее не видеть, вот из кухни, может быть (он прикинул в уме), и то разве крышу одну.

Он выпил еще нарзану и позвонил.

Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь такая, — уже через минуту казалось девочке, — какую она наперед загадала в столовой и представила, — плита изразцовая, отливала бело-голубым, окон было два, в том порядке, в каком она того ждала; Ульяша накинула что-то на голые руки, комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов.

— Да, она ремонтируется, — сказал отец, когда они прошли все чередом, шумя и толкаясь, в столовую по уже известному, но еще не изведанному коридору, в который надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит за ушко свою умывальную перчатку и, словом, покончит с этой тысячей дел.

— Изумительное масло, — сказала мать, садясь.

А они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав.

— Чем же это — Азия? — подумала она вслух.

Но Сережа отчего-то не понял того, что наверняка бы понял в другое время: до сих пор они жили парой. Он раскатился к висевшей карте и сверху вниз провел рукой вдоль по Уральскому хребту, взглянув на нее, сраженную, как ему казалось, этим доводом.

— Условились провести естественную границу, вот и всё.

Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком далеко. Не верилось, что день, вместивший всё это, — вот этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут еще не весь, не кончился еще. При мысли о том, что всё это отошло назад, сохраняя свой бездыханный порядок, в положенную ему даль, она испытала чувство удивительной душевной усталости, как чувствует ее к вечеру

тело после трудового дня. Будто и она участвовала в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот, и надорвалась. И почему-то уверенная в том, что о н, ее Урал, т а м, она повернулась и побежала в кухню через столовую, где посуды стало меньше, но еще оставалось изумительное масло со льдом на потных кленовых листьях и сердитая минеральная вода.

Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швей мадаполам на зубах, пороли резкие стрижи, и внизу, — она высунулась, — блистал экипаж у раскрытого сарая, и сыпались искры с точильного круга, и пахло всем съеденным, лучше и занимательней, чем когда это подавалось, пахло грустно и надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно темнеет в Екатеринбурге и как поют внизу, под ними, за легкой, верно, работой: вымыли, верно, пол и стелют рогожи жаркими руками, — и как выплескивают воду из судомойной лохани, и хотя это выплеснули внизу, но кругом так тихо! И как там клокочет кран, как... — Ну вот, барышня... — но она еще чуждалась новенькой и не желала слушать ее, — ...как, — додумывала она свою мысль, — внизу под ними знают и, верно, говорят: «Вот во второй номер господа нынче приехали».

В кухню вошла Уляша.

Дети спали крепко в эту первую ночь, и проснулись: Сережа — в Екатеринбурге, Женя — в Азии, как опять широко и странно подумалось ей. На потолках свежо играл слоистый алебастр.

Это началось еще летом. Ей объявили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но это объявили ей. Она не звала репетитора в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к выкрашенным клевою краской стенам, что вечеру только с кровью удавалось отодрать пристававший день. Она не позвала его, когда, в сопровождении мамы, он зашел сюда знакомиться «со своей будущей ученицей». Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы отныне всегда солдаты учились в полдень, крутые, сопатые и потные, как красная судорога крана при порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливала

лиловая грозовая туча, знавшая толк в пушках и колесах куда больше их белых рубах, белых палаток и белейших офицеров? Просила ли она о том, чтобы теперь всегда две вещи: тазик и салфетка, входя в сочетание, как угли в дуговой лампе, вызывали моментально испаряющуюся третью вещь: идею смерти, как та вывеска у цирюльника, где это случилось с ней впервые? И с ее ли согласия красные, «запрещающие останавливаться» рогатки стали местом каких-то городских, запретно останавливавшихся тайн, а китайцы — чем-то лично страшным, чем-то Жениным и ужасным? Не всё, разумеется, ложилось на душу так тяжело. Многое, как ее близкое поступление в гимназию, бывало приятно. Но, как и оно, всё это о б ъ я в л я л о с ь ей. Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт. Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного протрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно, реальные, затверделые и холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, это олово начинало плыть, сливаясь в комки, капающая навязчивыми идеями.

V

У них часто стали бывать за чаем бельгийцы. Так они назывались. Так называл их отец, говоря: «Сегодня будут бельгийцы». Их было четверо. Безусый бывал редко и был неразговорчив. Иногда он приходил один ненароком, в будни, выбрав какое-нибудь нехорошее, дождливое время. Прочие трое были неразлучны. Лица их были похожи на куски свежего мыла, непочатого, из обертки, душистые и холодные. У одного была борода, густая и пушистая, и пушистые каштановые волосы. Они всегда являлись в обществе отца с каких-то заседаний. В доме все их любили. Они говорили, будто проливали воду на скатерть: шумно, свежо и сразу, куда-то вбок, куда никто не ждал, с долго досыхавшими следами от своих шуток и анекдотов, всегда понятных детям, всегда утолявших жажду и чистых.

Вокруг возникал шум, блистала сахарница, никелевый кофейник, чистые крепкие зубы, плотное белье. Они

любезно и учтиво шутили с матерью. Сослуживцы отца, они обладали очень тонким умением во-время сдерживать его, когда в ответ на их быстрые намеки и упоминания о делах и людях, известных за этим столом только им, профессионалам, отец начинал тяжело, на очень нечистом французском языке, пространно, с заминками говорить о контрагентах, о *références approuvées* и о *féroçités*, то есть *bestialités*, ce que veut dire en russe хищениях на Благодати.

Безусый, ударившийся с некоторого времени в изучение русского языка, часто пробовал себя на этом новом поприще, но оно не держало его еще. Было неловко смеяться над французскими периодами отца, и всех его *féroçités* не на шутку тяготили; но, казалось, само положение освящало тот хохот, которым покрывались Негаратовы попытки.

Звали его Негарат. Он был валлонек из фламандской части Бельгии. Ему рекомендовали Диких. Он записал его адрес по-русски, смешно выводя сложные буквы, как ю, я, ъ. Они у него выходили двойные какие-то, розные и растопыренные. Дети позволили себе встать на колени на кожаные подушки кресел и положить локти на стол, — всё стало дозволенным, всё смешалось, — ю было не ю, а какой-то десяткой; вокруг ревели и заливались, Эванс бил кулаком по столу и утирал слезы, отец трясся и, красный, похаживая по комнате, твердил: «Нет, не могу», и комкал носовой платок.

— *Faites de nouveau*, — поддавал жару Эванс. — *Comprenez*.

И Негарат приоткрывал рот, медля, как заика, и обдумывая, как разродиться ему этим неисследимым, как колонии в Конго, русским «еры».

— *Dites*: «увы», «невыгодно», — спав с голоса, влажно и силпо предлагал отец.

— *Ouvoui, niévoui*.

— *Entends tu? — ouvoui, niévoui — ouvoui, niévoui. Oui, oui, — chose inouïe, charmant!* — закатывались бельгийцы.

Лето прошло. Экзамены сданы были успешно, а иные и превосходно. Лился, как из ключей, холодный, прозрачный шум коридоров. Тут все знали друг друга. Желтел и золотился лист в саду. В его светлом пляшущем

отблеске маялись классные стекла. Матовые вполонину, они туманились и волновались низами. Форточки сводило синей судорогой. Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов.

Она не знала, что все ее волнения будут превращены в такую веселую шутку. Разделить это число аршин и вершков на семь! Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты и пуды? граны, драхмы, скрупулы и унции, казавшиеся ей всегда четырьмя возрастными скорпиона? Отчего в слове «полезный» пишется «е», а не «ѣ»? Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы соображения сошлись в усилии представить себе те неблагополучные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово «полѣзный», дикое и косматое в таком начертании. Ей осталось неизвестно, почему ее так и не отдали в гимназию тогда, хотя она была принята и зачислена и уже кроилась кофейного цвета форма и примерялась потом на булавах скупно и докучно, часами; а в комнате у ней завелись такие горизонты, как сумка, пенал, корзиночка для завтраков и замечательно омерзительная снимка.

ПОСТОРОННИЙ

I

Девочка была с головой увязана в толстый шерстяной платок, доходивший ей до коленок, и курочкой похаживала по двору. Жене хотелось подойти к татарочке и заговорить с ней. В это время стукнули створки разлетевшегося оконца. «Колька!» — кликнула Аксинья. Ребенок, походивший на крестьянский узел с наспех воткнутыми валенками, быстро просеменил в дворницкую.

Брать работу на двор всегда значило — затупив до утраты смысла какое-нибудь примечанье к правилу, идти потом наверх начинать всё сызнова в комнатах. Они разом, с порога прохватывали особым полумраком и прохладой, особой, всегда неожиданной знакомостью, с какою мебель, заняв раз навсегда предписанные места, на них оставалась. Будущего нельзя предсказать. Но его можно увидеть, войдя с воли в дом. Здесь налицо уже

его план, то размещение, которому, непокорное во всем прочем, оно подчинится. И не было такого сна, навеянного движением воздуха на улице, которого бы живо не стряхнул бодрый и роковой дух дома, ударивший вдруг, с порога прихожей.

На этот раз это был Лермонтов. Женя мяла книжку, сложив ее переплетом внутрь. В комнатах она, сделай это Сережа, сама бы восстала на «безобразную привычку». Другое дело — на дворе.

Проخور поставил мороженицу наземь и пошел назад в дом. Когда он отворил дверь в спицынские сени, оттуда повалил клубящийся дьявольский лай голеньких генеральских собачек. Дверь захлопнулась с коротким звонком.

Между тем Терек, прыгая как львица с косматой гривой на спине, продолжал реветь, как ему надлежало, и Женю стало брать сомнение только насчет того, точно ли на спине, не на хребте ли всё это совершается. Справиться с книгой было лень, и золотые облака из южных стран, издалека, едва успев проводить его на север, уже встречали у порога генеральской кухни с ведром и мочалкой в руке.

Денщик поставил ведро, нагнулся и, разобрав мороженицу, принялся ее мыть. Августовское солнце, прорвав древесную листву, засело в крестце у солдата. Оно внедрилось, красное, в жухлое мундирное сукно и, как скипидаром, жадно его собой пропитало.

Двор был широкий, с замысловатыми закоулками, мудреный и тяжелый. Мощеный в середке, он давно не перемасцивался, и булыжник густо порос плоской кудрявой травкой, издававшей в послеобеденные часы кислый лекарственный запах, какой бывает в зной возле больниц. Одним краешком, между дворницкой и каретником, двор примыкал к чужому саду.

Сюда-то, за дрова, и направилась Женя. Она подперла лестницу снизу плоскою полешкой, чтобы не сползла, утрясла ее на ходивших дровах и села на среднюю перекладину неудобно и интересно, как в дворовой игре. Потом поднялась и, взобравшись повыше, заложила книжку на верхний разоренный рядок, готовясь взяться за «Демона»; потом, найдя, что раньше лучше было сидеть, спустилась опять и забыла книжку на дровах и про

нее не вспомнила, потому что теперь только заметила она по ту сторону сада то, чего не предполагала раньше за ним, и стала, разинув рот, как очарованная.

Кустов в чужом саду не было, и вековые деревья, унеся в высоту, к листве, как в какую-то ночь, свои нижние сучья, снизу оголяли сад, хоть он и стоял в постоянном полумраке, воздушном и торжественном, и никогда из него не выходил. Сохатые, лиловые в грозу, покрытые седым лишаем, они позволяли хорошо видеть ту пустынную, малоезжую улочку, на которую выходил чужой сад тою стороною. Там росла желтая акация. Теперь кустарник сох, скрючивался и осыпался.

Вынесенная мрачным садом с этого света на тот, глухая улочка светилась так, как освещаются происшествия во сне; то есть очень ярко, очень кропотливо и очень бесшумно, будто солнце там, надев очки, шарило в курослепе.

На что ж так зазевалась Женя? На свое открытие, которое занимало ее больше, чем люди, помогшие ей его сделать.

Там лавочка, стало быть? За калиткой, на улице. На такой улице! «Счастливые», — позавидовала она незнакомкам. Их было три.

Они чернелись, как слово «затворница» в песне. Три ровных затылка, зачесанных под круглые шляпы, склонились так, будто крайняя, наполовину скрытая кустом, спит, обо что-то облокотясь, а две другие тоже спят, прижавшись к ней. Шляпы были черно-сизые, и гасли и сверкали на солнце, как насекомые. Они были обтянуты черным крепом. В это время незнакомки повернули головы в другую сторону. Верно, что-то в том конце улицы привлекло их внимание. Они поглядели с минуту на тот конец так, как глядят летом, когда мгновение растворено светом и удлинено, когда приходится щуриться и защищать глаза ладонью, — с такую-то минуту поглядели они и впали опять в прежнее состояние дружной сонливости.

Женя пошла было домой, но хватилась книжки и не сразу вспомнила, где книжка осталась. Она воротилась за ней, и когда зашла за дрова, то увидала, что незнакомки поднялись и собираются итти. Они поодиночке, друг за дружкой прошли в калитку. За ними странно, увечной походкой следовал невысокий человек. Он нес

под мышкой большущий альбом или атлас. Так вот чем занимались они, заглядывая через плечо друг дружке, а она думала — спят. Соседки прошли садом и скрылись за службами. Уже низилось солнце. Доставая книжку, Женя потревожила поленницу. Сажень пробудилась и задвигалась, как живая. Несколько поленьев съехало вниз и упало на дерн с легким стуком. Это послужило знаком, как сторожев удар в колотушку. Родился вечер. Родилось множество звуков, тихих, туманных. Воздух принялся насвистывать что-то старинное, заречное.

Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось брэнчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, обрывался и падал, замирая в воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошкары. Но брэнчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не запыхавшись, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданьями, не спеша.

Женя возвращалась в дом. «Хромой, — подумала она про незнакомца с альбомом, — хромой, а из господ, без костылей». Она пошла с черного хода. На дворе настойно и приторно пахло ромашкой. «С некоторых пор у мамы составила́сь целая аптека, масса синих склянок с желтыми шляпками». Она медленно подымалась по лестнице. Железные перила были холодны, ступеньки скрежетали в ответ на шарканье. Вдруг ей пришло в голову что-то странное. Она шагнула через две ступеньки и задержалась на третьей. Ей пришло в голову, что с недавнего времени между мамой и дворничихой завелось какое-то неуследимое сходство. В чем-то совсем неуловимом. Она остановилась. В чем-то таком, — она задумалась, — в таком, что ли, что имеют в виду, когда говорят: все мы люди... или одним, мол, миром мазаны... или судьба кости не разбирает, — она носком отбросила валяющуюся склянку, склянка полетела вниз, упала в пыльные кули и не разбилась, — в чем-то, словом, таком, что очень-очень общо, общо всем людям. Но тогда почему же не между ней самой и Аксиньей? или Аксиньей, положим, и Ульяшей? Это показалось Жене тем страннее, что трудно было найти более несхожих: в

Аксинье было что-то земляное, как на огородах, нечто напоминавшее вздутые картофелины или празелень бешеной тыквы, тогда как мама... Женя усмехнулась одной мысли о сравнимости.

А между тем именно Аксинья задавала тон этому навязывавшемуся сравнению. Она брала перевес в этом сближении. От него не выигрывала баба, а проигрывала барыня. На мгновенье Жене померещилось что-то дикое. Ей показалось, что в маму вселилось какое-то начало простонародности, и она представила себе мать произносящей «щука» вместо «щука», «работам» вместо «работаем»; а вдруг, — померещилось ей, — придет день и в своем новом шелковом капоте без кушака, кораблем, она возьмет да и брякнет: «К дверьми прислонь!»?

В коридоре пахло лекарством. Женя прошла к отцу.

II

Обстановка обновлялась. В доме появилась роскошь. Люверсы завели коляску и стали держать лошадей. Кучера звали Давлетша.

Резиновые шины составляли тогда полную новость. На прогулках оборачивались и провожали коляску глазами все: люди, заборы, часовни, петухи.

Госпоже Люверс долго не отпирали, и пока коляска, из почтения к ней, удалялась шагом, она кричала им вслед:

— Далеко не катай! до шлагбаума и назад; осторожней с горки.

А белесое солнце, достав ее с докторского крыльца, тянулось дальше, вдоль улицы и, дотянувшись до тугой и веснушчатой, багровой Давлетшиной шеи, грело и ёжило ее.

Они въехали на мост. Раздался разговор балок, лукавый, круглый и складный, сложенный некогда на все времена, свято зарубленный оврагом и памятный ему всегда, в полдень и в сон.

Выкормыш, взбираясь на гору, стал браться за срывистый, не дававшийся кремень; он вытянулся, ему было неспособно, и вдруг, напомнив в этом карабканьи ползущую саранчу, он, как и эта тварь, по природе летящая и скачущая, стал молниеносно красив в унизости

своих неестественных усилий; вот-вот, казалось, он не стерпит, гневно сверкнет крылами и взлетит. И действительно, лошадь дернулась, кинула передними голяшками и короткой скачкой понеслась по пустырям. Давлетша стал подбирать ее, укорачивая вожжи. На них дряхло, лохмато и притупленно залаяла собака. Пыль была как ружейный порох. Дорога круто сворачивала влево.

Черная улица тупиком упиралась в красный забор железнодорожного депо. Она полошилась. Солнце било сбоку из-за кустов и пеленало толпу странных фигурок в женских кофтах. Солнце окатывало их белым хлещущим светом, который, казалось, хлынул из сапогом опрокинутого ведра, как жидкая известка, и валом бежал по земле. Улица полошилась.

Лошадь шла шагом.

— Свороти направо! — приказала Женя.

— Переезда не будет, — ответил Давлетша, кнутовищем показывая на красный конец, — тупик.

— Тогда стань, я погляжу.

— Это китайцы наши.

— Вижу.

Давлетша, поняв, что барышне говорить с ним неохота, пропел с оттяжкой «тпруу», и лошадь, колыхнув всем телом, стала, как вкопанная, а Давлетша засвистал тонко и заимчиво, с перерывами, понужая ее к чему надо.

Китайцы перебежали через дорогу, держа в руках громадные ржаные ковриги. Они были в синем и походили на баб в штанах. Непокрытые головы кончались у них узелком на темени и казались скрученными из носовых платков. Некоторые задерживались. Этих можно было разглядеть. Лица у них были бледные, землистые, склябющиеся. Они были смуглы и грязны, как медь, окисленная нуждой.

Давлетша вынул кiset и расположился делать свертыш. В это время из-за угла, оттуда, куда шли китайцы, вышло несколько женщин. Верно, и они шли за хлебом. Те, что были на дороге, стали гоготать и подбираться к ним, извиваясь так, как если бы у них руки были скручены веревкой за спину. Изгибистость их движений подчеркивалась тем в особенности, что по всему телу с

ворота по самые щиколки они были одеты во что-то одно, как акробаты. В этом не было ничего страшного; женщины не побежали прочь, а стали и сами, смеясь.

— Послушай, Давлетша, чего это ты?

— Лошадь рванула! рванула! не сто-ить! — раз к разу огревая Выкормыша вожжой, дергал и бросал Давлетша.

— Тише, вывалишь. Зачем хлещешь ее?

— Надо.

И только выехав в поле и успокоив лошадь, уже заплясавшую было, хитрый татарин, стрелюю вынесший барышню от зазорного зрелища, взял вожжи в правую руку и положил кисет, всё время бывший у него в руке, за полу.

Они возвратились другой дорогой. Госпожа Люверс увидала их, вероятно, из докторского окошка. Она вышла на крыльцо в ту самую минуту, как мост, сказав им всю свою сказку, начал ее сызнава под телегой водовоза.

III

С Дефендовой, с девочкой, принесшей в класс рябины, наломанной дорогой в школу, Женя сошлась в один из экзаменов. Дочка псаломщика держала переэкзаменовку по-французски. Люверс Евгению посадили на первое свободное место. Так они и познакомились, сидев парой за одною фразой:

— *Est-ce Pierre qui a volé la pomme?*

— *Oui. C'est Pierre qui vola... etc.*

То обстоятельство, что Женю оставили учиться дома, знакомству девочек конца не положило. Они стали встречаться. Встречи их, по милости маминых взглядов, были односторонни: Лизе разрешалось бывать у них, Жене заходить к Дефендовым пока что было запрещено.

Такая урывочность во встречах не помешала Жене быстро привязаться к подруге. Она влюбилась в Дефендову, то есть стала страдательным лицом в отношениях, их манометром, бдительным и разгоряченно-тревожным. Всякие Лизины упоминания про одноклассниц, неизвестных Жене, вызывали в ней чувство пустоты и горечи. У ней падало сердце: это были приступы первой ревно-

сти. Без поводов, силой одной своей мнительности убежденная в том, что Лиза хитрит, — наружно пряма, а в душе смеется надо всем, что есть в ней люверсовского, и за глаза, в классе и дома, потешается этим, — Женя принимала это как должное, как нечто, лежащее в природе привязанности. Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечало властной потребности инстинкта, который не знает самолюбия и только и умеет что страдать и жечь себя во славу фетиша, пока он чувствует впервые.

Ни Женя, ни Лиза ничем решительно друг на друга не влияли, и Женя Женей, Лиза Лизой они встречались и расставались, — та с сильным чувством, эта — безо всякого.

Отец Ахмедьяновых торговал железом. В год между рождением Нуретдина и Смагила он неожиданно разбогател. Тогда Смагил стал зваться Самойлой, и сыновьям решено было дать русское воспитание. Отцом не была упущена ни одна особенность вольного барского быта, и за десятилетнюю гонку по всем статьям было перехвачено через край. Дети удались на славу, то есть пошли во взятый образчик, и шибкий размах отцовской воли остался в них, шумный и крушительный, как в паре закруженных и отданных на милость инерции маховиков. Самыми заправскими четвертокласниками в четвертом классе были братья Ахмедьяновы. Они состояли из ломающегося мела, подстрочников, ружейной дробы, грехота парт, непристойных ругательств и шелушившейся в морозы, краснощечкой и курносой самоуверенности. Сережа сдружился с ними в августе. К концу сентября у мальчика не стало лица. Это было в порядке вещей. Быть типическим гимназистом, а потом уже чем-нибудь еще — значило быть заодно с Ахмедьяновыми. А ничего так сильно не хотелось Сереже, как быть гимназистом.

Люверс не препятствовал дружбе сына. Он не видел перемены в нем, а если что и замечал, то приписывал это действию переходного возраста. К тому же голова у него была занята другими заботами. С некоторых пор он стал догадываться, что болен и что его болезнь неизлечима.

IV

Ей было жаль не его, хотя все вокруг только и говорили, что как это в самом деле до невероятности некстати и досадно. Негарат был слишком мудрен и для родителей, а всё, что чувствовалось родителями в отношении чужих, смутно передавалось и детям, как домашним избалованным животным. Женю печалило только то, что теперь не всё останется попрежнему, и станет бельгийцев трое, и не будет больше такого смеха, как бывало раньше.

Она случилась за столом в тот вечер, когда он объявил маме, что должен ехать в Дижон на отбывку какого-то сбора.

— Как же вы в таком случае еще молоды! — сказала мать и тут же ударилась на все лады его жалеть.

А он сидел, понурия голову. Разговор не клеился.

— Завтра придут замазывать окна, — сказала мать и спросила его, не закрыть ли.

Он сказал, что не надо, вечер теплый, а у них не замазывают и на зиму.

Вскоре подошел и отец. Он тоже рассыпался сожалениями при этой вести. Но перед тем как приняться сетовать, он приподнял брови и удивленно спросил:

— В Дижон? Да разве вы не бельгиец?

— Бельгиец, но во французском подданстве.

И Негарат стал рассказывать историю переселения «своих стариков» так занимательно, будто не был их сыном, и так тепло, будто говорил по книжке о чужих.

— Простите, я вас перебью, — сказала мать. — Женюра, ты всё-таки притвори окошко. Вика, завтра придут замазывать. Ну, продолжайте. Однако этот дядя ваш порядочный негодяй! Неужели так, б у к в а л ь н о под присягой?

— Да.

И он вернулся к прерванной повести. Когда же он дошел до дела, до бумаги, полученной им вчера по почте из консульства, то догадался, что девочка тут не понимает ничего и силится понять. Тогда он повернулся к ней и стал объяснять, — и виду не показывая, какая у него цель, чтобы не задеть ее самолюбия, — что эта воинская повинность за штука. «Да, да. Понимаю. Да. По-

нимаю, понимаю», — благодарно и машинально твердила девочка.

— Зачем ехать так далеко? Будьте солдатом тут, у ч и т е с ь, где все, — поправилась она, ярко представив себе луга, открывавшиеся с монастырской горки.

«Да, да. Понимаю. Да, да, да», — опять зарядила девочка, а Люверсы, сидевшие без дела и находившие, что бельгиец забивает ребенку голову ненужными подробностями, вставляли свои сонные и упрощающие замечания. И вдруг наступила та минута, когда ей стало жалко всех тех, что давно когда-то или еще недавно были Негаратами в разных далеких местах и потом, распротясь, пустились в нежданный, с неба свалившийся путь сюда, чтобы стать солдатами тут, в чуждом им Екатеринбургe.

Так хорошо разъяснил девочке всё этот человек. Так не растолковывал ей еще никто. Налет бездушья, потрясающий налет наглядности, сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил.

Они прощались.

— Часть книг я оставляю у Цветкова. Это тот приятель, о котором я вам столько рассказывал. Пожалуйста, пользуйтесь ими и дальше, madame. Ваш сын знает, где я живу, он бывает в семье домовладельца, а свою комнату я передаю Цветкову. Я его предупрежу.

— Пусть заходит. Цветков, вы говорите?

— Цветков.

— Пусть заходит. Познакомимся. В ранней молодости я знавала таких, — и она посмотрела на мужа, который остановился перед Негаратом, заложив руки за борт плотного пиджака, и рассеянно дожидался удобного оборота, чтобы условиться с бельгийцем окончательно насчет завтрашнего. — Пусть заходит. Только не теперь. Я позову. Да, возьмите, это ваша. Я не кончила. Читала и плакала. Доктор вообще советовал бросить. Во избежание волнения.

И она опять посмотрела на мужа, который опустил голову и стал, хрустя воротником и пыжась, интересоваться, на обеих ли ногах у него сапоги и хорошо ли вычищены.

— Так-то. Ну вот. Не забудьте трость. Мы еще увидимся, надеюсь?

— О, конечно. До пятницы ведь. Сегодня какой день? — испугался он, как в таких случаях пугаются уезжающие.

— Среда. Вика, среда?.. Вика, среда?

— Среда. Ecoutez, — дождался наконец своего череда отец, — demain.

И оба вышли на лестницу.

V

Они шли и разговаривали, и ей приходилось время от времени впадать в легкий бежок, чтобы не отстать от Сережи и попасть ему в шаг. Они шли очень быстро, и на ней ерзало пальто, потому что в помощь ходу она работала и руками, а руки держала в карманах. Было холодно, под ее калошами звонко лопался тонкий ледок. Они шли по маминому поручению покупать подарок уезжавшему и разговаривали.

— Так его везли на станцию?

— Да.

— А почему он сидел в сене?

— То есть как?

— В телеге. Весь. С ногами. Так не сидят.

— Я уже сказал. Потому что это уголовный преступник.

— Его везут на каторгу?

— Нет. В Пермь. У нас нет тюремного ведомства. Гляди под ноги.

Их путь лежал через дорогу, мимо медно-слесарного заведения. Всё лето двери заведения стояли настежь, и Женя привыкла видеть этот перекресток в том дружном и общем оживлении, которым его наделяла жарко распахнутая пасть мастерской. Весь июль, август и сентябрь тут останавливались повозки, затрудняя разъезд; топтались мужики, больше татары; валялись ведра, куски кровельных желобов, рваные и ржавленные; тут чаще, чем где-нибудь еще, превратив толпу в табор, а татар замалевав в цыган, садилось в пыль жуткое, густое солнце в часы, когда за плетнем по соседству резали цыплят; тут окунались оглоблями в пыль высвобожденные из-под кузовов передки с натертыми у шкворней кружками.

Те же ведра и железца лежали неподобренные и теперь запорошенные морозцем. Но двери были приперты вплотную, как в праздник, по случаю холодов, и было пустынно на распутьи, и только сквозь круглую отдушину шел знакомый Жене дух какого-то рудничного затхло-го газа, который заливался гремучим визгом и, ударяя в нос, осаждался на нёбе дешевой грушевой шипучкой.

— А в Перми есть тюремное правление?

— Да. Ведомство. По-моему — так итти ближе. В Перми есть, потому что это губернский город, а Екатеринбург — уездный. Маленький.

Дорожка мимо особняков была выложена красным кирпичиком и обрамлена кустами. На ней обозначались следы бессильного, мутного солнца. Сережа старался шагать как можно шумней.

— Если щекотать этот барбарис весной, когда он цветет, булавкой, он быстро хлопает всеми лепестками, как живой.

— Знаю.

— А ты боишься щекотки?

— Да.

— Значит, ты — нервная. Ахмедьяновы говорят, что если кто боится щекотки...

И они шли: Женя — бегом, Сережа — неестественными шагами, и на ней ерзало пальто. Они завидели Диких в ту самую минуту, как калитка турникетом ходившая на столбе, врытом поперек дорожки, задержала их. Они завидели его издали, он вышел из того самого магазина, до которого им оставалось еще с полквартила. Диких был не один, вслед за ним вышел невысокий человек, который, ступая, старался скрыть, что припадает на ногу. Жене показалось, что она уже видела его где-то раз. Они разминулись, не здоровавшись. Те взяли наискосок. Диких детей не заметил, он шагал в глубоких калошах и часто подымал руки с растопыренными пальцами. Он не соглашался и доказывал всеми дестью, что собеседник его... (Но где ж это она его видела? Давно. Но где? Верно, в Перми, в детстве).

— Постой! — У Сережи случилась неприятность. Он опустил на одно колено. — Погоди.

— Зацепил?

— Ну да. Идиоты, не могут толком гвоздя забить!
— Ну?
— Погоди, не нашел где. Я знаю того хромого. Ну вот. Слава Богу.
— Разорвал?
— Нет, цела, слава Богу. А в подкладке дыра — это старая. Это не я. Ну, пойдем. Стой, вот только коленку вычищу. Ну ладно, пошли.
— Я его знаю. Это — с Ахмедьянова двора. Негаратов. Помнишь, я рассказывал, — собирает людей, всю ночь пьют, свет в окне. Помнишь? Помнишь, когда я у них ночевал? В Самойлово рождение. Ну, вот из этих. Помнишь?

Она помнила. Она поняла, что ошиблась, что в таком случае хромой не мог быть виден в Перми, что ей так померещилось. Но ей продолжало казаться, и в таких чувствах, молчаливая, перебирая в памяти всё пермское, она, вслед за братом, произвела какие-то движения, за что-то взялась и что-то перешагнула и, осмотрясь по сторонам, очутилась в полусумраке прилавков, легких коробок, полок, суетливых приветствий и услуг — и... говорил Сережа.

Названия, которое им требовалось, у книгопродавца, торговавшего всех сортов табаками, не оказалось, но он успокоил их, заверив, что Тургенев обещан ему, выслан из Москвы и уже в пути, и что он только что — ну, назад минуту — говорил об этом же самом с господином Цветковым, их наставником. Детей рассмешила его верткость и то заблуждение, в котором он находился, и, прощавшись, они пошли ни с чем.

Когда они вышли от него, Женя обратилась к брату с таким вопросом:

— Сережа! Я всё забываю. Скажи, знаешь ты ту улицу, которую с наших дров видать?

— Нет. Никогда не бывал.

— Неправда, я сама тебя видала.

— На дровах? Ты...

— Да нет, не на дровах, а на той вот улице, за Череп-Саввичевским садом.

— А, ты вот о чем! А ведь верно. Как мимо итти показываются. За садом, в глубине. Там сарай какие-то и дрова. Погоди. Так это значит наш двор?! Тот двор

наш? Вот ловко! А я сколько раз хожу, думал, вот бы туда забраться — раз, и на дрова, а с дров на чердак, там лестницу я видел. Так это наш собственный двор?

— Сережа, покажешь мне дорогу туда?

— Опять. Ведь двор — наш. Чего показывать? Ты сама...

— Сережа, ты опять не понял. Я про улицу, а ты про двор. Я про улицу. На улицу покажи дорогу. Покажи, как пройти. Покажешь, Сережа?

— И опять не пойму. Да ведь мы сегодня шли... и вот опять скоро мимо итти.

— Что ты?

— Да то. А медник?.. На углу.

— Так та пыльная, значит...

— Ну да, она самая, про которую спрашиваешь. А Череп-Саввичи — в конце, направо. Не отставай, не опоздать бы к обеду. Сегодня раки.

Они заговорили о другом. Ахмедьяновы обещали научить его лудить самовары. А что касается до ее вопроса о «полуде», то это такая горная порода, одним словом руда, вроде олова, тусклая. Ею паяют жестянки и обжигают горшки, и Ахмедьяновы всё это умеют.

Им пришлось перебежать, а то обоз задержал бы их. Так они и забыли: она — про свою просьбу насчет малоезжей улочки, Сережа — про свое обещание ее показать. Они прошли мимо самой двери заведения, и тут, дохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке медных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где видела хромого и трех незнакомок, и что они делали, и в следующую же минуту поняла, что тот Цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть этот самый хромой.

VI

Негарат уезжал вечером. Отец поехал его провожать. С вокзала он вернулся поздно ночью, и в дворницкой его появление вызвало большой и не скоро улегшийся переполох. Выходили с огнями, кого-то кликали. Лил дождь, и гоготали кем-то упущенные гуси.

Утро встало пасмурное и трясущееся. Серая мокрая улица прыгала, как резиновая, болтался и брызгал гря-

зью гадкий дождик, подскакивали повозки, и шлепали, переходя через мостовую, люди в калошах.

Женя возвращалась домой. Отголоски ночного переполоха еще сказывались на дворе и утром: в коляске ей было отказано. Она пустилась к подруге пешком, сказав, что пойдет в лавку за конопляным семенем. Но с полдороги, убедясь, что из торговой части ей одной к Дефендовым пути не найти, она повернула назад. Потом она вспомнила, что дело — раннее и Лиза всё равно в школе. Она порядком вымокла и продрогла. Погода разгуливалась. Но еще не прояснило. По улице летал и листом приставал к мокрым плитам холодный белый блеск. Мутные тучи торопились вон из города, теснясь и ветрено, панически волнуясь в конце площади, за трехруким фонарем.

Переезжавший был, верно, человек неряшливый или без правил. Принадлежности небогатого кабинета были не погружены, а просто поставлены на полку, как стояли в комнате, и колеса кресел, глядевшие из-под белых чехлов, ездили по полку, как по паркету, при всяком сотрясении воза. Чехлы были белоснежны, несмотря на то, что были промочены до последней нитки. Они так резко бросались в глаза, что при взгляде на них одного цвета становились: обглоданный непогодой булыжник, продроглая подзаборная вода, птицы, летевшие с конных дворов, летевшие за ними деревья, обрывки свинца и даже тот фикус в кадучке, который колыхался, нескладно кланяясь с телеги всем пролетающим.

Воз был дик. Он невольно останавливал на себе внимание. Мужик шел рядом, и полку, широко кренясь, подвигался шагом и задевал за тумбы. А надо всем каркающим лоскутом носилось мокрое и свинцовое слово: г о р о д, порождая в голове у девочки множество представлений, которые были мимолетны, как летавший по улице и падавший в воду октябрьский холодный блеск.

«Он простудится, только разложит вещи», — подумала она про неизвестного владельца. И она представила себе человека, — ч е л о в е к а в о о б щ е, в а л к о й, на ша ги р а з р о з н е н н о й п о х о д к о й расставляющего свои пожитки по углам. Она живо представила себе его ухватки и движения, в особенности то, как он возьмет тряпку и, ковыляя вокруг кадки, станет обтирать

затуманенные изморосью листья фикуса. А потом схватит насморк, озноб и жар. Непременно схватит. Женя и это представила очень живо себе. Очень живо. Воз загромыхал под гору к Исети. Жене было налево.

Это происходило, верно, от чых-то тяжелых шагов за дверь. Подымался и опускался чай в стакане, на столке у кровати. Подымался и опускался ломтик лимона в чаю. Качались солнечные полосы на обоях. Они качались столбами, как колонки с сиропом в лавках за вывесками, на которых турок курит трубку. На которых турка... курит... трубку. Курит... трубку.

Это происходило, верно, от чых-то шагов. Большая опять заснула.

Женя слегла на другой день после отъезда Негарата; в тот самый день, когда узнала после прогулки, что ночью Аксинья родила мальчика; в тот день, когда при виде воза с мебелью она решила, что собственника подстерегает ревматизм. Она провела две недели в жару, густо по поту обсыпанная трудным красным перцем, который жег и слипал ей веки и краешки губ. Ее донимала испарина, и чувство безобразной толстоты мешалось с ощущением укуса. Будто пламя, раздувшее ее, было в нее влито летней осой. Будто тонкое, в седой волосок, ее жальце осталось в ней, и его хотелось вынуть, не раз и по-разному: то из лиловой скулы, то из охавшего под рубашкой воспаленного плеча, то еще откуда.

Теперь она выздоравливала. Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, предавалось, на свой риск и страх, какой-то странной, с в о е й геометрии. От нее слегка кружило и поташнивало.

Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот, скоро становившихся неимоверными в стремлении сумерок принять форму площади, лежащейся в основании этого помешательства пространства. Или, отделяясь от узора на обоях, оно, полюсу к полосе, прогоняло перед девочкой широты плавно, как на масле, сменявшие друг друга, и тоже, как все эти ощущения, истомлявшие правильным, постепенным приростом в размерах. Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, выдав с самого же

начала, с первой штуки в паркете свою бездонность, и пускало кровать ко дну тихо-тихо; и с кроватью — девочку. Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясаяще пустого хаоса, и растворялась и расструивалась в нем.

Это происходило от повышенной чувствительности ушных лабиринтов.

Это происходило от чых-то шагов. Опускался и подымался лимон. Подымалось и опускалось солнце на обоях.

Наконец она проснулась. Вошла мать и, поздравив ее с выздоровлением, произвела на девочку впечатление читающего в чужих мыслях. Просыпаясь, она уже слышала что-то подобное. Это было поздравление ее собственных рук и ног, локтей и коленок, которое она от них, потягиваясь, принимала. Их-то приветствие и разбудило ее. Вот и мама тоже. Совпадение было странно.

Домашние входили и выходили, садились и подымались. Она задавала вопросы и получала ответы. Были вещи, пережившие за ее болезнь, были оставшиеся без перемены. Этих она не трогала, тех не оставляла в покое. Повидимому, не изменилась мама. Совсем не изменился отец. Изменились: она сама, Сережа, распределение света по комнате, тишина всех остальных, еще что-то, много чего. Выпал ли снег? Нет, перепал, таял, подмораживало, не разберешь что, голо, бесснежье. Она едва замечала, кого о чем спрашивает. Ответы бросались наперебой.

Здоровые приходили и уходили. Пришла Лиза. Препирались. Потом вспомнили, что корь не повторяется, и впустили. Побывал Диких. Она едва замечала, от кого какие идут ответы.

Когда все вышли обедать и она осталась одна с Ульяшей, она вспомнила, как рассмеялись все тогда на кухне глупому ее вопросу. Теперь она остереглась задавать подобный. Она задала умный и дельный, тоном взрослой. Она спросила, не беременна ли опять Аксинья. Девушка звякнула ложечкой, убирая стакан, и отвернулась.

— Ми-ил!.. Дай отдохнуть. Не завсе ж ей, Женечка, в один уповод...

И выбежала, плохо притворив дверь, и кухня грянула вся, будто там обвалились полки с посудой, и за хо-

хотом последовало голошенье, и бросилось в руки поденщице и Галиму, и загорелось под руками у них, и забрякало, проворно и с задором, будто с побранок бросились драться, а потом кто-то подошел и притворил забытую дверь.

Это спрашивать не следовало. Это было еще глупее.

VII

Что это, никак опять тает? Значит, и сегодня выедут на колесах и в сани всё еще нельзя закладывать? С холодящим носом и зябнущими руками Женя часами простаивала у окошка. Недавно ушел Диких. Нынче он остался недоволен ею. Изволь учиться тут, когда по дворам поют петухи и небо гудет, а когда сдает звон, петухи опять за свое берутся. Облака облезлые и грязные, как плешивая полсть. День тычется рылом в стекло, как теленок в парном стойле. Чем бы не весна? Но с обеда воздух, как обручем, перехватывает сизою стужей, небо вбирается и впадает, слышно, как, с присвистом, дышат облака; как стремя к зимним сумеркам, на север, обрывают пролетающие часы последний лист с деревьев, выстригают газоны, колют сквозь щели, режут грудь. Дула северных недр чернеются за домами; они наведены на их двор, заряженные огромным ноябрем. Но всё октябрь еще только.

Но всё еще только октябрь. Такой зимы не запомнят. Говорят, погибли озими и боятся голодов. Будто кто взмахнул и обвел жезлом трубы, и кровли, и скворечницы. Там будет дым, там — снег, здесь — иней. Но нет еще ни того, ни другого. Пустынные, осунувшиеся сумерки тоскуют по ним. Они напрягают глаза, землю ломит от ранних фонарей и огня в домах, как ломит голову при долгих ожиданиях от тоскливого вперенья глаз. Всё напряглось и ждет, дрова разнесены уже по кухням, снегом уже вторую неделю полны тучи через край, мраком чреват воздух. Когда же он, чародей, обведший всё, что видит глаз, колдовскими кругами, произнесет свое заклятие и вызовет зиму, дух которой уже при дверях?

Как же, однако, они его запустили! Правда, на календарь в классной не обращали внимания. Отрывался

ее, детский. Но всё же! Двадцать девятое августа! Ловко! — как сказал бы Сережа. Красная цифра. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Он снимался легко с гвоздя. От нечего делать она занялась отрыванием листков. Она производила эти движения, скучая, и вскоре перестала понимать, что делает, но от поры до поры повторяла про себя: «Тридцатое, завтра — тридцать первое».

— Она уже третий день никуда из дому!..

Эти слова, раздавшиеся из коридора, вывели ее из задумчивости, она увидела, как далеко зашла в своем занятии. За самое Введение. Мать дотронулась до ее руки.

— Скажи на милость, Женя...

Дальнейшее пропало, как не сказанное. Матери впребой, словно со сна, дочь попросила госпожу Люверс произнести: «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Мать повторила, недоумевая. Она не сказала: «Предтеича». Так говорила Аксинья.

В следующую же минуту Женю взяло диво на самой себя. Что это было такое? Кто подтолкнул? Откуда взялось? Это она, Женя, спросила? Или могла она подумать, чтоб мама?.. Как сказочно и неправдоподобно! Кто сочинил?..

А мать всё стояла. Она ушам не верила. Она глядела на нее широко раскрытыми глазами. Эта выходка поставила ее в тупик. Вопрос походил на издевку; между тем в глазах у дочки стояли слезы.

Смутные ее предчувствия сбылись. На прогулке она ясно слышала, как смягчается воздух, как мякнут тучи и мягчеет чок подков. Еще не зажигали, когда в воздухе стали, вивясь, блуждать сухие серенькие пушинки. Но не успели они выехать за мост, как отдельных снежинок не стало и повалил сплошной, сплывшийся лепень. Давлетша слез с козел и поднял кожаный верх. Жене с Сережей стало темно и тесно. Ей захотелось бесноваться на манер беснующейся вокруг непогоды. Они заметили, что Давлетша везет их домой, только потому, что опять услышали мост под Выкормышем. Улицы стали неузнаваемы; улиц просто не стало. Сразу наступила ночь, и город, обезумев, зашевелил несметными тысячами толстых

побелевших губ. Сережа подался наружу и, упершись в колено, приказал везти к ремесленному. Женя замерла от восхищения, узнав все тайны и прелести зимы в том, как прозвучали на воздухе Сережины слова. Давлетша кричал в ответ, что домой ехать надо, чтобы не замучить лошади, господа собираются в театр, придется перекладать в сани. Женя вспомнила, что родители уедут и они останутся одни. Она решила усесться до поздней ночи поудобней за лампой с тем томом «Сказок Кота-Мурлыки», что не для детей. Надо будет взять в маминной спальне. И шоколаду. И читать, посасывая, и слушать, как будет заметать улицы.

А мело уже, и не на шутку, и сейчас. Небо тряслось, и с него валились белые царства и края, им не было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что эти, неведомо откуда падавшие, страны никогда не слышали про жизнь и про землю и, полуночные, слепые, засыпали ее, ее не видя и не зная.

Они были упоительно ужасны, эти царства; совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывалась, глядя на них. А воздух шатался, хватаясь за что попало, и далеко-далеко больно-пребольно взывали будто плетями огретые поля. Всё смешалось. Ночь ринулась на них, свирепея от низко сбившегося седого волоса, засекавшего и слепившего ее. Всё поехало врозь, с визгом, не разбирая дороги. Окрик и отклик пропадали, не встречаясь, гibli, занесенные вихрем на разные крыши. Мело.

Они долго топали в передней, сбивая снег с белых опухлых полушубков. А сколько воды натекло с калош на клетчатый линолеум! На столе валялось много яичной скорлупы, и перечница, вынутая из сундука, не была поставлена на место, и много перцу было просыпано на скатерть, на вытекшие желтки и в жестянку с недоеденными «серединками». Родители уже отужинали, но сидели еще в столовой, поторапливая замешкавшихся детей. Их не винили, ужинали раньше времени, собираясь в театр. Мать колебалась, не зная, ехать ли ей или нет, и сидела грустная-грустная. При взгляде на нее Женя вспомнила, что и ей ведь, собственно говоря, вовсе не весело, — она расстегнула наконец этот противный крючок, — а скорее грустно, и, войдя в столовую, она спросила, куда убрали ореховый торт. А отец взглянул на

мать и сказал, что никто не неволит их и тогда лучше дома остаться.

— Нет, зачем же, поедем, — сказала мать, — надо рассеяться; ведь доктор позволил.

— Надо решить.

— А где же торт? — опять ввязалась Женя и услышала в ответ, что торт не убежит, что до торта тоже есть что кушать, что не с торта же начинать, что он в шкапу; будто она только к ним приехала и порядков их не знает.

Так сказал отец и, снова обратившись к матери, повторил:

— Надо решить.

— Решено, едем. — И грустно улыбнувшись Жене, мать пошла одеваться.

А Сережа, постукивая ложечкой по яйцу и глядя, чтобы не попасть мимо, деловито, как занятый, предупредил отца, что погода переменялась — метель, чтобы он имел это в виду, и он рассмеялся; с оттаивавшим носом у него творилось что-то неладное: он стал ерзать, доставая платок из кармана тесных форменных брюк, он высморкался, как его учил отец, «без вреда для барабанных перепонок», взялся за ложечку и, взглянув прямо на отца, румяный и умытый прогулкой, сказал:

— Как выезжать, мы видали Негаратова знакомого. Знаешь?

— Эванса? — рассеянно уронил отец.

— Мы не знаем этого человека, — горячо выпалила Женя.

— Вика! — слышалось из спальни.

Отец встал и ушел на зов. В дверях Женя столкнулась с Ульяшей, несшей к ней зажженную лампу. Вскоре рядом хлопнула соседняя. Это прошел к себе Сережа. Он был превосходен сегодня; сестра любила, когда друг Ахмедьяновых становился мальчиком, когда про него можно было сказать, что он в гимназическом костюме.

Ходили двери. Топали в ботах. Наконец сами уехали.

Письмо извещало, что она «дононь не была недотыкой, и чтоб, как и допрежь, просили, чего надоть»; а

когда милая сестрица, увешанная поклонами и заверениями в памяти, пошла по родне распределять их поименно, Ульяша, оказавшаяся на этот раз Ульяной, поблагодарила барышню, прикрутила лампу и ушла, захватив письмо, пузырек с чернилами и остаток промасленной осьмушки.

Тогда она опять принялась за задачу. Она не заключила периода в скобки. Она продолжала деление, выписывая период за периодом. Этому не предвиделось конца. Дробь в частном росла и росла. «А вдруг корь повторяется? — мелькнуло у ней в голове. — Сегодня Диких говорил что-то про бесконечность». Она перестала понимать, что делает. Она чувствовала, что нынче днем с ней уже было что-то такое, и тоже хотелось спать или плакать, но сообразить, когда это было и что именно, — не могла, потому что соображать была не в силах. Шум за окном утихал. Метель постепенно унималась. Десятичные дроби были ей в полную новинку. Справа не хватало полей. Она решила начать сызнова, писать мельче и поверять каждое звено. На улице стало совсем тихо. Она боялась, что забудет занятое у соседней цифры и не удержит произведения в уме. «Окно не убежит, — подумала она, продолжая лить тройки и семерки в бездонное частное, — а их я во-время услышу: кругом тишина; подымутся не скоро: в шубах, и мама беременна; но вот в чем штука; 3773 повторяется, можно просто переписывать или сводить?» Вдруг она припомнила, что Диких ведь и впрямь говорил ей нынче, что «не надо делать, а просто бросать прочь их». Она встала и подошла к окну.

На дворе прояснилось. Редкие хлопья приплывали из черной ночи. Они подплывали к уличному фонарю, оплывали его и, вильнув, пропадали из глаз. На их место подплывали новые. Улица блистала, устланная снежным, санным ковром. Он был бел, сиятелен и сладостен, как пряники в сказках. Женя постояла у окна, заглядевшись на те кольца и фигуры, которые выделявали у фонаря андерсеновские серебристые снежинки. Постояла-постояла и пошла в мамину комнату за «Котом». Она вошла без огня. Было видно и так. Кровля сарая обдавала комнату движущимся сверканием. Кровати леденели под вздохом этой громадной крыши и поблескивали. Здесь

лежал в беспорядке разбросанный дымчатый шелк. Крошечные блузки издавали гнетущий и теснящий запах подмышников и коленкора. Пахло фиалкой, и шкаф был иссиня-черен, как ночь на дворе и как тот сухой и теплый мрак, в котором двигались эти леденеющие блистания. Одинокую бусиной сверкал металлический шар кровати. Другой был угашен наброшенной рубашкой. Женя прищурила глаза, бусина отделилась от полу и поплыла к гардеробу. Женя вспомнила, зачем пришла. С книжкой в руках она подошла к одному из окон спальни. Ночь была звездная. В Екатеринбурге наступила зима. Она взглянула во двор и стала думать о Пушкине. Она решила попросить репетитора, чтобы он ей задал сочинение об Онегине.

Серее хотелось поболтать. Он спросил:

— Ты надушилась? Дай и мне.

Он был очень мил весь день. Очень румян. Она же подумала, что другого такого вечера, может, не будет. Ей хотелось остаться одной.

Женя воротилась к себе и взялась за «Сказки». Она прочла повесть и принялась за другую, затаив дыхание. Она увлеклась и не слыхала, как за стеной укладывался брат. Странная игра овладела ее лицом. Она ее не сознавала. То оно у ней расплывалось по-рыбьему; она вешала губу, и помертвелые зрачки, прикованные ужасом к странице, отказывались подняться, боясь найти это самое за комодом. То вдруг принималась она кивать печати, сочувственно, словно одобряя ее, как одобряют поступок и как радуются обороту дел. Она замедляла чтение над описаниями озер и бросалась сломя голову в гущу ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня, от которого зависело их освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами, вслушиваясь, не будет ли отклика, и слышал отклик-эхо. Жене пришлось откашляться с негомо надсада гортани. Нерусское имя «Мирры» вывело ее из оцепенения. Она отложила книгу в сторону и задумалась. «Вот какая зима в Азии! Что теперь делают китайцы в такую темную ночь?» Взгляд Жени упал на часы. «Как, верно, жутко должно быть с китайцами в такие потемки». Женя опять перевела взгляд на часы и ужаснулась. С минуты на ми-

нуту могли явиться родители. Был уже двенадцатый час. Она расшнуровала ботинки и вспомнила, что надо отнести на место книжку.

Женя вскочила. Она присела на кровати, тараща глаза. Это — не вор. Их много, и они толочут и говорят громко, как днем. Вдруг, как зарезанный, кто-то закричал на голос, и что-то поволокли, опрокидывая стулья. Это кричала женщина. Женя понемногу признала всех: всех, кроме женщины. Поднялась невероятная беготня. Стали хлопать двери. Когда захлопывалась одна дальняя, то казалось, что женщине закрывают рот. Но она снова распахивалась, и дом ошпаривало жгучим полосующим визгом. Волосы встали дыбом у Жени: женщина была мать; она догадалась. Причитала Уляша, и, раз уловив голос отца, она его более не слыхала. Куда-то вталкивали Сережу, и он орал: «Не смей на ключ!» «Все — свои», — и как была, Женя босиком, в одной рубашонке бросилась в коридор. Отец чуть не опрокинул ее. Он был еще в пальто и что-то, пробегая, кричал Уляше.

— Папа!

Она видела, как побежал он назад с мраморным кувшином из ванной.

— Папа!

— Где Липа? — не своим голосом крикнул он на бегу.

Плеча на пол, он скрылся за дверью, и когда через мгновение высунулся в манжетах и без пиджака, Женя очутилась на руках у Уляши и не услышала слов, произнесенных тем отчаянно глубоким, истошным шопотом.

— Что с мамой?

Вместо ответа Уляша твердила в одно:

— Нельзя, Женечка, нельзя, милая, спи, усни, укройся, ляжь на бочок. А-ах, о Господи!.. ми-ил! Нельзя, нельзя, — приговаривала она, укрывая ее, как маленькую, и собираясь уйти.

«Нельзя, нельзя», а чего нельзя — не говорила, и лицо у ней было мокро, и волосы растрепались. В третьей ей двери за ней щелкнул замок.

Женя зажгла спичку, чтобы посмотреть, скоро ли светать будет. Был первый всего час. Это ее очень удивило. Неужто она и часу не спала? А шум не унимался

там, на родительской половине. Вопли лопались, выливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая, вековечная тишина. В нее упали то ропливые шаги и частый, осторожный говор. Потом раздался звонок, потом другой. Потом слов, споров и приказаний стало так много, что стало казаться, будто комнаты отгорают там в голосах, как столы под тысячей угасших канделябров.

Женя заснула. Она заснула в слезах. Ей снилось, что — гости. Она считает их и всё обсчитывается. Всякий раз выходит, что одним больше. И всякий раз при этой ошибке ее охватывает тот самый ужас, как когда она поняла, что это не еще кто, а мама.

Как было не порадоваться чистому и ясному утру! Сереже мерещились игры на дворе, снежки, сражения с дворовыми ребятами. Чай им подали в классную. Сказали — в столовой полотеры. Вошел отец. Сразу стало видно, что о полотерах он ничего не знает. Он и точно не знал о них ничего. Он сказал им истинную причину перемещения. Мать захворала. Нуждается в тишине.

Над белой пеленой улицы с вольным разносчивым карканьем пролетали вороны. Мимо пробежали санки, подталкивая лошадку. Она еще не свыклась с новой упряжкой и сбивалась с шагу.

— Ты поедешь к Дефендовым, я уже распорядился. А ты...

— Зачем? — перебила его Женя.

Но Сережа догадался — зачем, и предупредил отца.

— Чтоб не заразиться... — вразумил он сестру.

Но с улицы не дали ему кончить. Он подбежал к окошку, будто его туда поманули. Татарин, вышедший в обнове, был казист и наряден, как фазан. На нем была баранья шапка. Нагольная овчина горела жарче сафьяна. Он шел с перевалкой, покачиваясь, и оттого, верно, что малиновая роспись его белых пим ничего не ведала о строеньи человеческой ступни: так вольно разбежались эти разводы, мало заботясь о том, ноги ли то, или чайные чашки, или крыльцовые кровельки. Но всего замечательнее, — в это время стоны, слабо доносившиеся из спальни, усилились, и отец вышел в коридор, запретив им следовать за собою, — но всего замечательнее были

следки, которые он узенькой и чистой низкою вывел по углаженной полянке. От них, лепных и опрятных, еще белей и атласней казался снег.

— Вот письмецо. Ты отдашь его Дефендову. Самому. Понимаешь? Ну, одевайтесь. Вам сейчас сюда принесут. Вы выйдете с черного хода. А тебя Ахмедьяновы ждут.

— Уж и ждут? — насмешливо переспросил сын.

— Да. Вы оденетесь в кухне.

Он говорил рассеянно, и не спеша проводил их на кухню, где на табурете горой лежали их полушубки, шапки и варежки. С лестницы подвевало зимним воздухом. «Эйиох!» — остался в воздухе студёный вскрик пронесшихся санко́в. Они торопились и не попадали в рукава. От вещей пахло сундуками и сонным мехом.

— Чего ты возишься?

— Не ставь с краю. Упанет. Ну, что?

— Всё стонет, — горничная подобрала передник и, нагнувшись, подбросила поленьев под пламенем ахнувшую плиту. — Не мое это дело, — возмутилась она и опять ушла в комнаты.

В худом черном ведре валялось битое стекло и желтели рецепты. Полотенца были пропитаны лохматой, комканой кровью. Они полыхали. Их хотелось затоптать, как пыхающее тление. В кастрюлях кипятилась пустая вода. Кругом стояли белые чаши и ступы невиданных форм, как в аптеке.

В сенях маленький Галим колот лед.

— А много его с лета осталось? — расспрашивал Сережа.

— Скоро новый будет.

— Дай мне. Ты зря крошишь.

— Для ча зря? Талчи надо. В бутылкам талчи.

— Ну! Ты готова?

Но Женя еще сбегала в комнаты. Сережа вышел на лестницу и в ожидании сестры стал барабанить поленом по железным перилам.

VIII

У Дефендовых садились ужинать. Бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло. Лампа горела мутно и покапчивала; ее то перекручивали, то чересчур отпускали. Сухая

рука Дефендова часто тянулась к винту, и когда, медленно отымая ее от лампы, он медленно опускался на место, рука у него тряслась мелко и не по-старчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев, к ногтям.

Он говорил отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а набирал ее из букв и произносил всё, вплоть до твердого знака.

Припухлое горлышко лампы пылало, обложенное усиками герани и гелиотропа. К жару стекла сбегались тараканы, и осторожно тянулись часовые стрелки. Время ползло по-зимнему. Здесь оно нарывало. На дворе — коченело, зловонное. За окном — сновало, семеняло, двоясь и троясь в огоньках.

Дефендова поставила на стол печенку. Блюдо дымилось, заправленное луком. Дефендов что-то говорил, повторяя часто слово «рекомендую», и Лиза трещала без умолку, но Женя их не слышала. Девочке хотелось плакать еще со вчерашнего дня. А теперь ей этого жаждалось. В этой вот кофточке, шитой по материнским указаниям.

Дефендов понимал, что с ней. Он старался развлечь ее. Но то заговаривал он с ней как с малым дитятей, то ударялся в противоположную крайность. Его шуточные вопросы пугали и смущали ее. Это он ощупывал впотьмах душу дочкиной подруги, словно спрашивал у ее сердца, сколько ему лет. Он вознамерился, уловив безош и бошно одну какую-нибудь Женину черту, сыграть на подмеченном и помочь ребенку забыть о доме, и своими поисками напомнил ей, что она у чужих.

Вдуг она не выдержала и, встав, по-детски смущаясь, пробормотала:

— Спасибо. Я, правда, сыта. Можно посмотреть картинки? — И, густо краснея при виде всеобщего недоумения, прибавила, мотнув головой в сторону смежной комнаты: — Вальтер Скотта. Можно?

— Ступай, ступай, душенька! — зажевала бабушка, бровями приковыывая Лизу к месту.

— Жалко дитя, — обратилась она к сыну, когда половинки бордовой портьеры сошлись за Женею.

Суровый комплект «Севера» кренил этажерку, и внизу тускло золотился полный Карамзин. С потолка

спускался розовый фонарь, оставлявший неосвещенную пару потерянных креслиц, и коврик, пропадавший в совершенном мраке, был неожиданностью для ступни.

Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается. Но слезы наворачивались на глаза, а печали не прорывали. Как отвалить ей эту со вчерашнего дня балкой залегшую тоску? Слезы неймут ее и поднять запруды не в силах. В помощь им она стала думать о матери.

В первый раз в жизни, готовясь заночевать у чужих, она измерила глубину своей привязанности к этому дорогому, драгоценнейшему в мире существу.

Вдруг она услышала за портьерой хохот Лизы.

— У, егоза, пострел тебя!.. — кашляя, колыхала бабушка.

Женя поразилась, как могла она раньше думать, что любит девочку, смех которой раздается рядом и так далеко, так ненужен ей. И что-то в ней перевернулось, дав волю слезам в тот самый миг, как мать вышла у ней в воспоминаниях: страдающей, оставшейся стоять в веренице вчерашних фактов, как в толпе провожающих, и крутимой там, позади, поездом времени, уносящим Женю.

Но совершенно, совершенно несносен был тот проникновенный взгляд, который остановила на ней госпожа Люверс вчера в классной. Он врезался в память и из нее не шел. С ним соединялось всё, что теперь испытывала Женя. Будто это была вещь, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли, ею пренебрегнув.

Можно было голову потерять от этого чувства, до такой степени кружила пьяная, шалая его горечь и безысходность. Женя стояла у окна и плакала беззвучно; слезы текли, и она их не утирала: руки у ней были заняты, хотя она ничего в них не держала. Они были у ней выпрямлены энергически, порывисто и упрямо.

Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что страшно похоже на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще налицо, уподобить ее матери одною силой потрясающего сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стога. Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою

внешность и прелесть. Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые. В одном она не ошиблась. Так, взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткою по лайковой ладони.

Она вышла к Дефендовым, пьяная от слез и просветленная, и вошла не своей, изменившейся походкой, широкой, мечтательно разбросанной и новой. При виде вошедшей Дефендов почувствовал, что то понятие о девочке, которое у него составилось в ее отсутствие, никуда не годно. И он занялся бы составлением нового, если бы не самовар.

Дефендова пошла на кухню за подносом, оставив его на полу, и взоры всех сошлись на пыхавшей меди, будто это была живая вещь, бедовое своеобразие которой кончилось в ту самую минуту, как ее переставляли на стол. Женя заняла свое место. Она решила вступить в беседу со всеми. Она смутно чувствовала, что теперь выбор разговора за ней. А то ее будут утверждать в ее прежнем одиночестве, не видя, что ее мама тут, с нею и в ней самой. А эта близорукость причинит боль ей, а главное — маме. И словно подбодряемая последней, — «Васса Васильевна!» — обратилась она к Дефендовой, тяжело опустившей самовар на краешек подноса...

— Можешь ты рожать?

Лиза не сразу ответила Жене.

— Тсс, тише, не кричи. Ну да, как все девочки. — Она говорила прерывистым шопотом.

Женя не видела лица подруги. Лиза шарила по столу и не находила спичек.

Она знала многим больше Жени насчет этого; она знала в сё, как знают дети, узнавая это с чужих слов. В таких случаях те натуры, которые облюбиваны Творцом, восстают, возмущаются и дичают. Без патологии им через это испытание не пройти. Было бы естественно обратное и детское сумасшествие в эту пору — только печать глубокой исправности.

Однажды Лизе наговорили разных страстей и гадостей шопотом, в уголку. Она не поперхнулась слышанным, пронесла всё в своем мозгу по улице и принесла

домой. Дорогой она не обронила ничего из сказанного, и весь этот хлам сохранила. Она узнала всё. Ее организм не запылал, сердце не забило тревогой, и душа не нанесла побоев мозгу за то, что он осмелился что-то узнать на стороне, мимо ее, не из ее собственных уст, ее души, не спросясь.

— Я знаю. («Ничего ты не знаешь», — подумала Лиза). Я знаю, — повторила Женя, — я не про то спрашиваю. А про то, чувствуешь ли ты, что вот сделаешь шаг — и родишь вдруг, ну вот...

— Да войди ты! — прохрипела Лиза, преодолевая смех. — Нашла где орать. Ведь с порога слышать им!

Этот разговор происходил у Лизы в комнате. Лиза говорила так тихо, что было слышно, как каплет с ручкой мойника. Она нашла уже спички, но еще медлила зажигать, не будучи в силах придать серьезность расхопившимся щекам. Ей не хотелось обижать подругу. А ее неведение она пощадила потому, что и не подозревала, чтобы об этом можно было рассказать иначе, чем в тех выражениях, которые тут, дома, перед знакомой, не ходившей в школу, были не произносимы. Она зажгла лампу. По счастью, ведро оказалось переполнено, и Лиза бросилась подтирать пол, пряча новый приступ хохота в передник, в шлепанье тряпки, и наконец расхохоталась открыто, нашедши повод: она уронила гребенку в ведро.

Все эти дни она только и знала, что думала о своих и ждала часа, когда за ней пришлют. А за этим делом, днем, когда Лиза уходила в гимназию, а в доме оставалась одна бабушка, Женя тоже одевалась и одна выходила на улицу, в проходку.

Жизнь слободы мало чем походила на жизнь тех мест, где проживали Люверсы. Большую часть дня здесь было голо и скучно. Не на чем было разгуляться глазу. Всё, что ни встречал он, ни на что, кроме разве как на розгу или на помело, не годилось. Валялся уголь. Черные помои выливались на улицу и разом обелялись, обледенев. В известные часы улица наполнялась простым народом. Фабричные расползались по снегу, как тараканы. Ходили на блоках двери чайных, и оттуда валом валил мыльный пар, как из прачечной. Странно, будто теплей становилось на улице, будто к весне оборачивалось дело, когда по ней сутуло пробегали пареные рубахи и мелькали валенки на жи-

деньких портах. Голуби не пугались этих толп. Они перелетали на дорогу, где тоже был корм. Мало ли сорено было по снегу просом, овсом и навозцем? Ларек пирожницы лоснился от сала и тепла. Этот лоск и жар попадали в сивухую сполоснутые рты. Сало разгорячало гортани. И потом вырывалось дорогой из часто дышавших грудей. Не это ли согревало улицу?

Так же внезапно она пустела. Наступали сумерки. Проезжали дровни порожняком, пробегали розвальни с бородачками, тонувшими в шубах, которые, шая, валили их на спину, облапив по-медвежьи. От них на дороге оставались клоки тоскливого сена и медленное, сладкое таянье удаляющегося колокольца. Купцы пропадали на повороте, за березками, отсюда походившими на раздерганный часток.

Сюда слеталось то воронье, которое, раздольно каркая, пронеслось над их домом. Только тут они не каркали. Тут, подняв крик и задрвав крылья, они вприпрыжку рассаживались по заборам и потом, вдруг, словно по знаку, тучею кидались разбирать деревья и, толкаясь, размещались по опростанным сукам. Ах, как чувствовалось тогда, какой поздний-поздний час на всём белом свете! Так, — ах, так, как этого не выразить никаким часам!

Так прошла неделя, и к концу другой, в четверг, на рассвете она опять его увидела. Лизина постель была пуста. Просыпаясь, Женя слышала, как за ней брякнула калитка. Она встала и, не зажигая огня, подошла к окошку. Было еще совершенно темно. Но чувствовалось, что в небе, в ветках деревьев и в движениях собак та же тяжесть, что и накануне. Эта пасмурная погода стояла уже третьи сутки, и не было сил стащить ее с обрыхлевшей улицы, как чугуи с корявой половицы.

В окошке через дорогу горела лампа. Две яркие полосы, упав под лошадь, ложились на мохнатые бабки. Двигались тени по снегу, двигались рукава призрака, запахивавшего шубу, двигался свет в занавешенном окне. Лошадка же стояла неподвижно и дремала.

Тогда она увидела его. Она сразу его узнала по силу-эту. Хромой поднял лампу и стал удаляться с ней. За ним двинулись, перекашиваясь и удлиняясь, обе яркие поло-

сы, а за полосами и сани, которые быстро вспыхнули и еще быстрее метнулись во мрак, медленно заезжая за дом к крыльцу.

Было странно, что Цветков продолжает попадаться ей на глаза и здесь, в слободе. Но Женю это не удивило. Он ее мало занимал. Вскоре лампа опять показалась и, плавно пройдясь по всем занавескам, стала было снова пятиться назад, как вдруг очутилась за самой занавеской, на подоконнике, откуда ее взяли.

Это было в четверг. А в пятницу за ней наконец прислали.

IX

Когда на десятый день по возвращении домой, после более чем трехнедельного перерыва, были возобновлены занятия, Женя узнала от репетитора всё остальное. После обеда сложился и уехал доктор, и она попросила его кланяться дому, в котором он ее осматривал весной, и всем улицам, и Каме. Он выразил надежду, что больше его из Перми выписывать не придется. Она проводила до ворот человека, который привел ее в такое содрогание в первое же утро ее переезда от Дефендовых, пока мама спала и к ней не пускали, когда на ее вопрос о том, чем она больна, он начал с напоминания, что в ту ночь родители были в театре. А как по окончании спектакля стали выходить, то их жеребец...

— Выкормыш?!

— Да, если это его прозвище... Так Выкормыш, стало быть, стал биться, вздыбился, сбил и подмял под себя случайного прохожего и...

— Как? Насмерть?

— Увы!

— А мама?

— А мама заболела нервным расстройством, — и он улыбнулся, едва успев приспособить в таком виде для девочки свое латинское «partus praematurus».

— И тогда родился мертвый братец?!

— Кто вам сказал?.. Да.

— А когда? При них? Или они застали его уже бездыханным? Не отвечайте. Ах, какой ужас! Я теперь понимаю. Он был уже мертв, а то бы я его услышала и без

них. Ведь я читала. До поздней ночи. Я бы услышала. Но когда же он жил? Доктор, разве бывают такие вещи? Я даже заходила в спальню! Он был мертв. Несомненно!

Какое счастье, что это наблюдение от Дефендовых, на рассвете, было только вчера, а ужасу у театра — третья неделя! Какое счастье, что она его узнала! Ей смутно думалось, что не попадись он ей на глаза за весь этот срок, она теперь, после докторовых слов, непременно бы решила, что у театра задавлен хромой.

И вот, прогостив у них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал. А вечером пришел репетитор. Днем была стирка. На кухне катали белье. Иней сошел с ее рам, и сад стал вплотную к окнам и, запутавшись в кружевных гардинах, подступил к самому столу. В разговор врывались короткие погромыхиванья валька. Диких тоже, как все, нашел ее изменившейся. Перемену заметила в нем и она.

— Отчего вы такой грустный?

— Разве? Всё может быть. Я потерял друга.

— И у вас тоже горе? Сколько смертей — и все вдруг!
— вздохнула она.

Но только собрался он рассказывать, что имел, как произошло что-то необъяснимое. Девочка внезапно стала других мыслей об их количестве и, видно, забыв какую опорой располагала в виденной в то утро лампе, сказала взволнованно:

— Погодите. Раз как-то вы были у табачника, уезжал Негарат; я вас видела еще с кем-то. Этот? — Она боялась сказать: «Цветков?»

Диких оторопел, услышав, как были произнесены эти слова, привел помянутое на память и припомнил, что действительно они заходили тогда за бумагой и спросили всего Тургенева для госпожи Люверс; и точно, вдвоем с покойным. Она дрогнула, и у ней выступили слезы. Но главное было еще впереди.

Когда, рассказав с перерывами, в которые слышался рубчатый грохот скалки, что это был за юноша и из какой хорошей семьи, Диких закурил, Женя с ужасом поняла, что только эта затяжка отделяет репетитора от повторения докторова рассказа, и когда он сделал попытку и произнес несколько слов, среди которых было слово «те-

атр», Женя вскрикнула не своим голосом и бросилась вон из комнаты.

Диких прислушался. Кроме катки белья, в доме не было слышно ни звука. Он встал, похожий на аиста. Вытянул шею и приподнял ногу, готовый броситься на помощь. Он кинулся отыскивать девочку, решив, что никого нет дома, а она лишилась чувств. А тем временем, как он тыкался впотьмах на загадки из дерева, шерсти и металла, Женя сидела в уголочке и плакала. Он же продолжал шарить и ощупывать, в мыслях уже подымая ее за смертью с ковра. Он вздрогнул, когда за его локтями раздалось громко, сквозь всхлипывание:

— Я тут. Осторожней, там горка. Подождите меня в классной. Я сейчас приду.

Гардины опускались до полу, и до полу свешивалась зимняя звездная ночь за окном, и низко, по пояс в сугробах, волоча сверкающие цепи ветвей по глубокому снегу, брели дремучие деревья на ясный огонек в окне. И где-то за стеной, туго стянутый простынями, взад-вперед ходил твердый грохот раскатки. «Чем объяснить этот избыток чувствительности? — размышлял репетитор. — Очевидно, покойный был у девочки на особом счету. Она очень изменилась. Периодические дробы объяснялись еще ребенку, между тем как та, что послала его сейчас в классную... И это дело месяца! Очевидно, покойный произвел когда-то на эту маленькую женщину особо глубокое и неизгладимое впечатление. У впечатлений этого рода есть имя. Как странно! Он давал ей уроки каждый другой день и ничего не заметил. Она страшно славная, и ее ужасно жаль. Но когда же она выплачется и придет наконец! Верно, все прочие в гостях. Ее жалко от души. Замечательная ночь!»

Он ошибался. То впечатление, которое он предположил, к делу нисколько не шло. Он не ошибся. Впечатление, скрывавшееся за всем, было неизгладимо. Оно отличалось большею, чем он думал, глубиной... Оно лежало вне ведения девочки, потому что было жизненно важно и значительно, и значение его заключалось в том, что в ее жизнь впервые вошел другой человек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви, но то, которое имеют в виду заповеди, обраща-

ясь к именам и сознаниям, когда говорят: не убий, не крадь и всё прочее. «Не делай ты, особенный и живой, — говорят они, — этому, туманному и общему, того, чего себе, особенному и живому, не желаешь». Всего грубее заблуждался Диких, думавши, что есть имя у впечатлений такого рода. Его у них нет.

А плакала Женя оттого, что считала себя во всём виноватой. Ведь ввела его в жизнь семьи она в тот день, когда, заметив его за чужим садом, и заметив без нужды, без пользы, без смысла, стала затем встречать его на каждом шагу, постоянно, прямо и косвенно, и даже, как это случилось в последний раз, наперекор возможности.

Когда она увидала, какую книгу берет Диких с полки, она нахмурилась и заявила:

— Нет. Этого я сегодня отвечать не стану. Положите на место. Виновата: пожалуйста.

И без дальних слов Лермонтов был тою же рукой втиснут назад в покосившийся рядок классиков.

1918

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

Михаилу Алексеевичу Кузмину

I

Под вековую шелковицу спала нянька, прислонившись к ее стволу. Когда огромная лиловая туча, встав на краю дороги, заставила умолкнуть и кузнечиков, знойно трещающих в траве, а в лагерях вздохнули и оттрепетали барабаны, у земли потемнело в глазах, и на свете не стало жизни.

— Куды, куды! — поротой губой провыла на весь мир полоумная пастушка и, в предшестве молодого бычка, волоча отдавленную ногу и маша, как молнией, дикой хворостиной, явилась в облаке мусора с того краю сада, где начиналась дичь: паслен, кирпич, мятая проволока, гнилой полумрак.

И она исчезла.

Туча окинула взглядом низкие запекшиеся жнивья. Они стлались до самого горизонта. Туча легко вскинулась на дыбы. Они простирались и дальше, за самые лагеря. Туча опустилась на передние ноги и, плавно перейдя через дорогу, бесшумно поползла вдоль четвертого рельса разъезда. Кусты, пообнажав головы, всей насыпью двинулись за ней. Они текли, кланяясь ей. Она им не отвечала.

С дерева падали ягоды и гусеницы. Они отваливались, зачумев от жары, и, втяпнувшись в нянин передник, переставали о чем-либо думать.

Ребенок дополз до водопроводного крана. Он полз уже давно. Он пополз дальше.

Когда наконец полет и обе пары рельс полетят вдоль косых плетней, спасаясь от черной водяной ночи, спущенной на них; когда, бушующая, впопыхах она на бегу прокричит вам, чтобы вы ее не боялись, что ее зовут ливнем, любовью и еще как-то, я расскажу вам, что родители похищаемого мальчика с вечера вычистили свое пике, и было еще очень рано, когда, белоснежные, как на партию тенниса, они прошли темным еще садом и вышли к столбу с обозначением станции в то самое мгновение, как пущенная тарелка паровика, выкатываясь из-за огородничества, обволокла турецкую кондитерскую клубами желтого, одышлого дыма.

Они направлялись в порт встречать того гардемарина, который любил ее когда-то, был другом мужу и в это утро ожидался в город из учебного кругосветного плавания.

Муж горел нетерпением поскорей посвятить приятеля в глубокий смысл еще не вовсе опостылевшего ему отцовства. Так бывает. Несложное происшествие едва ли не впервые столкнуло вас с прелестью самобытного смысла. Это столь ново для вас, что вот случится человек, обогнувший весь свет, всего навидавшийся и имеющий, казалось бы, что порассказать, а вам кажется, что в предстоящей встрече слушателем будет он, а вы — поражающе его ум трещоткой.

В противность мужу, ее, как якорь в воду, тянуло в железный лязг гаванной сутолоки, к рыжей ржавчине трехтрубных гигантов, в льющееся ручьями зерно, под светлый плеск небес, парусов и матросок. Побуждения их были несходны.

Льет дождь, льет, как из ведра. Я приступаю к обещанному. Над канавой трещат ветки орешника. Две фигуры бегут по полю. У мужчины черная борода. Косматая грива женщины бьется по ветру. У мужчины зеленый кафтан и серебряные серьги, на руках он держит восхищенного ребенка. Льет, льет, как из ведра.

II

Оказалось, он давно уже произведен в мичманы.

Одиннадцать часов ночи. К станции подкатывает последний поезд из города. Досыта перед этим наплакав-

шись, он повеселел уже с закругленья и как-то расхлопотался. Теперь, забрав воздуха со всего околотка, вместе с листьями, песком и росой, влившимися в его разрывающиеся резервуары, он останавливается, бьет в ладоши и замолкает, дожидаясь ответного гула. Эхо должно будет стечь к нему со всех дорожек. Когда он его услышит, дама, моряк и штатский, все в белом, свернут с дороги на пешеходную тропку, и прямо перед ними из-за тополей всплывет ослепительный диск покрытой росой кровли. Они пройдут к изгороди, хлопнут калиткой, и, ничего не разроняв из желобов, князьков и карнизцев щекочущими сережками качающихся в ее ушках, железная планета станет закатываться по мере их приближения. Гул укотившего поезда разрастется неожиданно далеко и, обманывая себя и других, на время прикинется тишиной, а потом рассыплется дождем мелких замирающих обмылков. Однако выяснится, что вовсе это не поезд, а водяные ракеты, которыми потешается море. Из-за станционной роши на дорогу выйдет луна. И тогда, при взгляде на всю эту сцену, вам покажется, что она сочинена до крайности знакомым и постоянно забывающимся поэтом, и что теперь еще ее дарят детям на Рождество. Вы вспомните, что раз как-то этот самый забор привиделся вам во сне, и тогда он назывался краем света.

У обмытого луною крыльца белелось ведро с краской, и стояла малярная кисть, волосом вверх прислоненная к стене. Потом в сад растворили окно.

— Сегодня белили, — негромко произнес женский голос. — Вы чувствуете? Пойдемте ужинать.

И снова настала тишина. Она длилась недолго. В доме поднялась суматоха.

— Как? Как это — нету? Пропа-ал?! — одновременно восклицали сиплый, как ослабнувшая струна, басок и сверкающее истерикой женское контральто.

— Под деревом? Под деревом? Сию же минуту встать и толком. И не выть. Да отпусти ты руки мои, ради Христа. Господи, да что ж это такое! Тоша мой, Тошенька! Не сметь! Не сметь! В глаза?! Бессовестная, бесстыжая, дрянная! — И, перестав быть словами, звуки жалобно слились, осеклись и удалились. Их не стало слышать.

Ночь кончалась. Но до рассвета было далеко. Земля, как стогами, была уставлена формами, ошеломленными тишиной. Они отдыхали. Расстоянья между ними увеличились против дня; точно для того, чтобы лучше отдохнуть, формы разошлись и удалились. В промежутках между ними неслышно пыхтели и перефыркивались зябкие дуга под насквозь потными попонами. Редко какая из форм оказывалась деревом, облаком или чем знакомым. Больше же это были неясные нагромождения без имен. Их слегка кружило, и в этом полуобмороке едва ли бы сумели они сказать, был ли только что дождь и перестал, или же он собирается и вот-вот начнет накрапывать. Их то и дело поколыхивало из бывшего в будущее, из будущего в бывшее, как песок в часто переворачиваемых песочных часах.

Но на далеком отлете от них, как белье, сорванное на рассвете порывом ветра с забора и занесенное черт знает куда, смутно мелькали на том краю поля три человеческие фигуры, и в противоположной от них стороне катился и перекатывался вечно испаряющийся отгул далекого моря. Этих четверых несло только из бывшего в будущее и назад никогда не возвращало. Люди в белом перебежали с места на место, нагибались и выпрямлялись, спрыгивали во рвы и, скрывшись, выходили потом на межу в совсем другом месте. Находясь на больших расстояниях друг от друга, они перекрикивались и махали друг другу руками, и так как эти сигналы понимались всякий раз превратно, то тут же они принимались махать по-иному, порывистой, досадливой и чаще в знак того, что знаков не поняли и они отменяются, и чтобы не возвращаться, а продолжать искать там, где искали. Стройная бурность этих фигурок производила такое впечатление, точно, задумав ночью играть в лапту, они мяч упустили и теперь шарят его по канавам и, найдя, игру возобновят.

Среди отдохнувших форм царило совершенное безветрие, и уже верилось в близкий рассвет; при взгляде же на этих людей, отрывистыми вихрями взлетающих над землей, можно было подумать, что поляну взбило и встрепало ветром, потемками и тревогой, как каким-то черным гребешком о трех сломанных зубьях.

Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключать-

ся с другими. Правило это не раз приводилось писателями. Неопровержимость его состоит в том, что, пока еще нас узнают друзья, мы полагаем несчастье поправимым. Когда же мы проникаемся сознанием его непоправимости, друзья перестают узнавать нас, и, точно в подтверждение правила, мы сами становимся другими, то есть теми, которые призваны гореть, разоряться, попадать под суд или в сумасшедший дом.

Пока на няню вскидывались здоровые еще люди, дело представлялось им в том, что ли, виде, что от горячности их расправы зависело войти потом в детскую и, облегченно вздохнув, найти в ней мальчика, водворенного на место размерами их испуга и огорчения. Зрелище пустой кровати спустило с их голосов кожу. Но и с ободранною душой, кинувшись сперва шарить по саду, а потом все дальше и дальше отходя в своих розысках от дому, они долго еще были людьми нашего десятка, то есть искали, чтобы найти. Однако сменялись часы, менялась в лице своем ночь, менялись и они, и теперь, на ее исходе, это были совершенно неузнаваемые люди, переставшие понимать, за какие это грехи и для чего, не давая им отдышаться, жестокое пространство продолжает таскать и переметывать их из конца в конец по той земле, на которой им сына уже больше никогда и никак не видать. И они давно позабыли о мичмане, перенесшем свои поиски по ту сторону оврага.

Ради этого ли спорного наблюдения скрывает автор от читателя то, что ему так хорошо известно? Ведь лучше всякого другого знает он, что лишь только в поселке откроют булочные и разминутся первые поезда, как слух о печальном происшествии облетит все дачи и укажет наконец близнецам-гимназистам с Ольгиной, куда им доставить своего безыменного знакомца и трофей вчерашней победы.

Уже из-под деревьев, как из-под низко надвинутых клубуков, выбивались первые начатки неочнувшегося утра. Светало приступами, с перерывами. Морского гула вдруг как не бывало, и стало еще тише, чем прежде. Неизвестно откуда берясь, слащавый и учащающийся трепет пробегал по деревьям. Чередом, пошпалерно, отшлепав забор своим потным серебром, они снова надолго впа-

дали в сон, только что нарушенный. Два редких алмаза розно и самостоятельно играли в глубоких гнездах этой полутемной благодати: птичка и ее чириканье. Пугаясь своего одиночества и стыдясь ничтожества, птичка изо всех сил старалась без следа раствориться в необозримом море росы, неспособной собраться с мыслями по рассеянности и спросонья. Ей это удавалось. Склонив головку набок и крепко зажмурясь, она без звука упивалась глупостью и грустью только что родившейся земли, радуясь своему исчезновению. Но сил ее не хватало. И вдруг, прорвав ее сопротивление и выдавая ее с головой, неизменным узором на неизменной высоте зажегся холодной звездой ее крупный щебет, упругая дробь разлеталась иглистыми спицами, брызги звучали, зябли и изумлялись, будто расплескали блюдце с огромным удивляющимся глазом.

Но вот стало светать дружнее. Сад весь наполнился сырым белым светом. Тесней всего свет этот льнул к оштукатуренной стене, к усыпанному хрящом дорожкам и к стволам тех фруктовых деревьев, которые были обмазаны каким-то купоросным, беловатым, как известь, составом. И вот, с таким же мертвенным налетом на лице, по саду проплелась только что вернувшаяся с поля мать ребенка. Она, не останавливаясь, подкашивающимся шагом прошла наперерез к задам, не замечая, что топчут и в чем тонут ее ноги. Опускающиеся и поднимающиеся грядки бросали ее вверх и вниз, как будто ее волнение еще нуждалось во взбалтывании. Перешедши огород, она приблизилась к той части забора, за которой виднелась дорога к лагерям. К этому месту направлялся мичман, собираясь перелезть через ограду, чтобы не обходить сада кругом. Зевающий восток нес его на ограду, как белый парус сильно накренившейся лодки. Она дожидалась его, держась за заборные балясины. Видно было, что она собирается что-то сказать и полностью приготовила свое короткое слово.

Та же близость недавно пролившегося или ожидающегося дождя, что и наверху, чувствовалась на берегу моря. Откуда мог происходить гул, всю ночь слышавшийся по ту сторону полотна? Море лежало, холодея, как нартученный испод зеркала, и лишь легко спохватыва-

лось и всхлипывало по ободкам. Горизонт уже желтел болезненно и злобно. Это было простительно заре, прижавшейся к задней стене огромного, на сотни верст загаженного хлева, где во всякую минуту могли взбеситься и подняться со всех концов волны. Теперь же они ползали на брюхе и чуть заметно терлись друг о дружку, словно несметное стадо черных и скользких свиней.

На берег из-за скалы вышел мичман. Он шел быстрым и бодрым шагом, иногда перескакивая с камня на камень. Только что он узнал наверху нечто ошеломляющее. Он поднял с песка плоский оглодыш черепицы и плашмя запустил его в воду. Камень как по слюне рикошетом проскользнул вкось, издав тот же неуловимый младенческий звук, что и всё мелководье. Только что, когда, совершенно отчаявшись в поисках, он повернул к даче и стал подходить к ней со стороны поляны, как Леля подбежала изнутри к забору и, дав ему подойти вплотную, быстро проговорила:

— Мы больше не можем. Спаси! Найди его. Это твой сын.

Когда же он схватил ее за руку, она вырвалась и убежала, а когда он перелез в сад, то нигде уже не мог ее найти. Он снова поднял камень и так, не переставая швырять их, стал удаляться и скрылся за выступом скалы.

А позади него продолжали жить и шевелиться его собственные следы. Им тоже хотелось спать. Это полз, осыпался, вздыхал и переворачивался с боку на бок потревоженный хрящ, и, погрохатывая, укладывался поудобней, чтобы теперь уже выспаться на полном покое.

III

Прошло больше пятнадцати лет. На дворе смеркалось, в комнатах было темно. Незвестная дама в третий уже раз спрашивала члена президиума губисполкома, бывшего морского офицера Поливанова. Перед дамой стоял скучающий солдат. В окно прихжей виднелся проходной двор, заваленный грудями кирпича под снегом. В самой его глубине, где когда-то была помойная яма, а теперь высилась гора давно не свозившегося мусора, небо казалось дремучим запуском, выросшим по скатам этого скопища дохлых кошек и консервных жестянок, кото-

рые воскресали в оттепели и, отдышавшись, принимались двоять былыми веснами и каплющим, чиликающим, тряско погромыхивающим привольем. Но достаточно было отвести взгляд от этого закоулка и поднять глаза выше, чтобы поразиться тем, до чего это небо ново.

Нынешняя его способность разносить круглые сутки с моря и от вокзала гул ружейной и орудийной пальбы отодвинула далеко назад его воспоминанье о тысяча девятьсот пятом годе. Словно шоссейным катком из конца в конец укатанное запойной канонадой и теперь ею окончательно утрамбованное и убитое, оно безмолвно хмурилось и, не двигаясь, куда-то уводило, как это зимою свойственно всякой ленте однообразно разматывающейся рельсовой колеи.

Что же это было за небо? Оно и днем напоминало образ той ночи, которую мы видим в молодости и в походе. Оно и днем бросалось в глаза, и, безмерно заметное, оно и днем насыщалось опустошенной землей, валило с ног сонливых и подымало на ноги мечтателей.

Это были воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолинейные мысли Либкнехта, Ленина и немногих умов их полета. Это были пути, установленные на уровне, достаточном для прохождения всяческих границ, как бы они ни назывались. Одна из линий, проложенная еще во время войны, сохраняла свою прежнюю стратегическую высоту, навязанную строителям природою фронтов, над которыми ее пролагали. Эта старая военная ветка, где-то в своем месте и в какие-то свои часы пересекавшая границу Польши и потом Германии, — тут, у своего начала, на глазах у всех выходила из границ разумения посредственности и ее терпенья. Она проходила над двором, и он пугался далекости ее назначения и ее угнетающей громоздкости, как всегда пугается рельсового пути врассыпную от него бегущее предместье. Это было небо Третьего Интернационала.

Солдат отвечал даме, что Поливанов еще не ворочался. Скука трех родов слышалась в его голосе. Это была скука существа, привыкшего к жидкой грязи и очутившегося в сухой пыли. Это была скука человека, сжившегося в заградительных и реквизиционных отрядах с тем, что вопросы задает он, а отвечает, сбиваясь и робея, такая вот барыня, и скучавшего оттого, что порядок об-

разцового собеседования тут перевернут и нарушен. Это была, наконец, и та напускная скучливость, которую придают вид сущей обыкновенности чему-нибудь совершенно небывалому. И, превосходно зная, каким неслыханным должен был казаться барыне порядок последнего времени, он напускал на себя дурь, точно о ее чувствах и не догадывался, и отродясь ничем другим, как диктатурой, и не дышал.

Вдруг вошел Левушка. Что-то, подобное лямке гигантских шагов, с размаху внесло его на второй этаж с воздуха, откуда пахнуло снегом и неосвещенной тишиной. Ухватившись за этот предмет, оказавшийся портфелем, солдат остановил вошедшего, как останавливают карусель на полном ходу.

— Вот какое дело, — обратился он к нему, — из пленбежа были.

— Это опять насчет венгерцев?

— Ну да.

— Так ведь сказано им, на одних документах партия не уедет!

— Ну, а я про что? Я это очень хорошо понимаю, что по случаю пароходов. Я так им и объяснял.

— Ну, и что же?

— «Мы, говорят, и без вас знаем. Ваше дело — бумаги чтобы в полном порядке, вроде как для посадки. А там, как сказать, дело текущее». Им помещенье освободить.

— Так. А еще что?

— А боле ничего. Только и толку, что бумаги им, помещенье, — говорят.

— Да нет! — перебил Поливанов. — Зачем повторять! Я не про то.

— С Канатной пакет, — сказал солдат, назвав улицу, где помещалась Чека, и, приблизясь к нему, понизил голос до шепота, как на разводе.

— Да что ты! Так. Не может быть! — равнодушно и рассеянно проговорил Поливанов.

Солдат отошел от него. Мгновенье оба стояли молча.

— Хлеба принесли? — неожиданно кисло спросил солдат, потому что по форме портфеля не нуждался в ответе, и прибавил: — Да вот еще тут... гражданка к вам.

— Так, так, так, — в том же рассеяньи протянул Поливанов.

Канат гигантских шагов дрогнул и натянулся. Портфель пришел в движение.

— Пожалуйста, товарищ, — обратился он к даме, приглашая ее в кабинет. Он ее не узнал.

По сравнению с темнотою передней здесь был полный мрак. Она двинулась следом за ним и за дверьми остановилась. Вероятно, тут был ковер во всю комнату, потому что, едва сделав два или три шага, он куда-то пропал, а потом такие же шаги раздались в противоположном конце этих потемок. Послышались звуки, последовательно убиравшие столешницудвигающимися стаканами, сухарным и рафинадным ломом, частями разобранного револьвера, шестигранными карандашами. Он тихо водил рукой по столу, что-то перекатывая и растирая, и искал спичек. Воображение только уж было перенесло комнату, увешанную картинами, уставленную шкапами, пальмами и бронзой, на один из проспектов бывшего Петербурга и стояло с полной пригоршней огоньков в вытянутой руке, чтобы прометнуть их во всю длину перспективы, как внезапно ударил телефон. Его булькающее дребезжанье, отзывавшееся поем или захолустьем, мгновенно напомнило, что проволока пробралась сюда городом, погруженным в абсолютный мрак, и дело происходит в провинции под большевиками.

— Да, — вероятно, прикрыв глаза рукою, отвечал недовольный, нетерпеливый и смертельно утомленный человек. — Да. Знаю. Знаю. Вздор. Проверь по линии. Вздор. Я сносился со штабом. Жмеринка отвечает уже с час. И это всё? Да, буду и скажу. Да нет, через минут двадцать. Всё?

— Ну-с, товарищ, — с коробком в одной руке и синенькой каплей плюющегося серного пламени в другой обратился он к посетительнице.

И тогда, почти одновременно со стуком упавших и рассыпавшихся спичек, раздался ее отдельный, волнуемый шепот.

— Леля! — сам не свой вскричал Поливанов. — Не может быть — виноват. Да нет же — Леля?!

— Да... да... Здра... Дайте успокоюсь... Вот Бог при-
вел, — однообразно задыхаясь и плача, шептала она.

Вдруг все исчезло. При свете затепленной масленки стояли друг против друга съеденный острым недосыпаньем мужчина в короткой куртке нараспашку и грязная, давно не умывавшаяся женщина с вокзала. Молодости и моря как не бывало. При свете масла ее приезд, смерть Дмитрия и дочки, о существовании которой он не знал, и, словом, всё рассказанное ею до огня оказалось удручающею по своей обязательности правдой, приглашавшей слушателя и самого в могилу, коль скоро его сочувствие — не пустые слова. Взглянув на нее при свете масла, он тотчас же припомнил ту историю, по причине которой, встретясь, они сразу не расцеловались. И, невольно усмехнувшись, он подивился живучести таких предубеждений. При свете масла рухнули все ее надежды на убранство кабинета. Человек же этот показался ей так чужд, что этого чувства нельзя было приписать никакой перемене. Тем решительнее приступила она к своему делу и опять, как когда-то, бросилась его исполнять слепо и наизусть, как чужое порученье.

— Если вам дорог ваш ребенок... — так начала она.

— Опять! — мгновенно вспыхнул Поливанов и пошел говорить, говорить, говорить — быстро и безостановочно.

Он говорил, точно статью писал — с «которыми» и с запятыми. Он похаживал по комнате и останавливался, и разводил и потрясал руками. В промежутках, морща и собирая тремя пальцами кожу над переносицей, он бередил и растирал это место, как очаг иссякающего и разгорающегося негодованья. Он умолял ее перестать считать, что люди ниже ее выдумок и ими можно помыкать себе в угоду. Он заклинал ее всем, что свято, не нести никогда больше этой околесной, особенно после того, что и сама она тогда же в обмане созналась. Он говорил, что если даже и допустить эту чушь, так ведь она достигает совсем обратной цели. Нельзя никак вдолбить человеку, что то, чего у него минуту назад не было и вдруг явилось, есть не находка, а утрата. Он припоминал, какую беззаботность и свободу сразу испытал он, лишь только

поверил ее басне, и как тотчас же пропала у него всякая охота к дальнейшему обшариванию рвов и канав, а захотелось купаться. Так что даже если бы времена потекли вспять, — попробовал съязвить он, — и снова стало бы нужно искать одного из членов ее семейства, то и в таком случае он стал бы себя беспокоить только ради нее, или игрека, или зета, а никак не для себя или ее смехотворных...

— Вы кончили? — сказала она, дав ему уходить. — Ваша правда. Я от слов своих отступилась. Неужели вы не понимаете? Пусть это подло и малодушно. Я была без ума от радости, что мальчик нашелся. И как чудесно. Вы помните? Стало ли бы у меня после этого духу разбивать свою и Дмитриеву жизнь? Я и отреклась. Но речь не обо мне. Он ваш. Ах, Лева, Лева, и если бы вы знали, в какой он сейчас опасности! Не знаю, как и начать. Давайте по порядку. С того дня мы не видались с вами. Вы его не знаете. А он так доверчив. Это его когда-нибудь погубит. Есть такой негодяй, авантюрист, — впрочем, Бог ему судья, — Неплошаев, Тошин товарищ по корпусу...

При этих словах шагавший по комнате Поливанов встал, как вкопанный, и перестал ее слышать. Она назвала имя, среди многого другого произнесенное недавно шептавшимся солдатом. Он знал это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только в часе.

— Он действовал не под своей фамилией?

Она побледнела, услышав этот вопрос. Значит, он знает больше нее, и дело хуже, чем даже она себе рисовала. Она забыла, в чьем стане находится, и, вообразив, что весь грех в вымышленном имени, бросилась выгораживать сына с совсем ненужной стороны.

— Но, Лева, не мог же он открыто отстаивать...

И опять он перестал ее слышать, поняв, что ее ребенок может крыться за любой из фамилий, известных ему по бумагам, и стоял у стола и куда-то звонил и что-то узнавал, и от соединения к соединению уходил всё глубже и дальше в город и в ночь, пока перед ним не разверзлась пропасть последней и окончательно правильной информации.

Он оглянулся кругом. Лели в комнате не было. Он испытывал страшную ломоту в глазницах, и когда обво-

дил взглядом комнату, она плыла перед ним сплошными сталактитами, ручьями. Он хотел собрать кожу на переносице, но вместо этого провел рукой по глазам, и от этого движения сталактиты заплясали и стали расплываться. Ему легче было бы, если бы спазмы их не были так часты и беззвучны. Потом он нашел ее. Она громадную неразбившеюся куклой лежала между тумбочкой стола и стулом на том самом слое опилок и сора, который в темноте, и пока была в памяти, приняла за ковер.

1924

ПОВЕСТЬ

I

В начале 1916 года Сережа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать.

Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал; что же касается самих судеб, то, как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это — одна жизнь.

Собственно, приехал он не в Соликамск, а в Усолье. Оно белело и грудилось на другом берегу, и с заводского берега, из кухни заново отремонтированной докторовой квартиры с первого же дня очень легко было понять, чем оно стоит и для чего и с какой стати. Крутой торговый камень собора и казенных зданий мерцал и пасса, шархнутый врассыпную подрывными припасами сытости, порохом довольства. Сводя в опрятные квадраты это заречное зрелище руки Грозного и Строгановых, оконца у доктора сияли так, точно именно в честь этой дали было сбито и мешочками сливочной пенки развезено по дереву свежее масло малярных белил. Так оно, впрочем, и было, — с худых прорешливых палисадников конторской слободы нечего было взять.

По кустам, воронам в подмогу, ковырялась оттепель. В воде черных загор стояли одинокие звуки. Свистки маневренного паровика на Веретье сменялись голосами игравших детей. Таратор топоров с ближайшего эксплуатационного квартала мешал вслушаться в смутную органныю возню далекого завода. Она скорее воображалась, внушенная видом его пяти дымовых шапок, нежели действительно могла быть слышима. Ржали лошади, лаяли собаки. Щепотинкой на нитке повисал, оборвавшись, крик сиплого петушка. А с далекого притока, где из-под сугробов торчали сонные усы спеленутого лозняка, исподволь набегала задорная скоропалка динамомашин. Звуки были скудны и казались пьяными, потому что плавали по колеям. Между ними торжественно и разгульно разверзались умолчанья зимней равнины. Она таила где-то невдалеке и, по здешним уверениям, чуть ли не в соседней деревне первые отроги Урала. Она их прятала, как дезертиров.

Брат столкнулся с сестрой на ее выходе, — она собралась куда-то по хозяйству. Позади нее стояла рыластая девочка в криво стянутом полушубке. Сестра швырнула кошёлку на подоконник, и, пока они обнимались и шумели, девочка, с чемоданом в подхват, болтая вихлявыми валенками, вихрем понеслась в глубь комнат, на крену, как пущенный обруч, обегая стол в столовой. Скоро под градусом сестриных расспросов Сережа стал казанским мылом неловко и отвычно отмывать грязные следы двухсуточной бессонницы, и тут, с полотенцем на плече, сестра увидела, как он вырос и исхудал. Потом он побрился. Самого Калязина в этот служебный час дома не было, а его бритвенница, принесенная Наташей из спальни, смутила Сережу полнотою набора. В светлой столовой благодатно пахло колбасой. В черный лак фортепьян разъяренно протягивались кулачки тринадцатипалой пальмы, и ломилась, грозя высадить доску, медная ярь привинченных подсвечников. Поймав взгляд Сережи, скользнувший по туалетно-молочным отливам клеенки, Наташа сказала:

— Это от Пашина предшественника. Обстановка вся казенная. — Потом, замаявшись, прибавила: — Страшно интересно, как ты найдешь детей. Ты ведь их знаешь только по карточкам.

Их с минуты на минуту ждали с гулянья.

Он принялся за чай и, подчиняясь Наташе, выложил ей, что смерть матери потрясла его полной неожиданностью. Скорей он ее страшился тем летом, когда, как он выразился, она действительно была при смерти, и он туда ездил.

— Как же, перед экзаменами. Мне писали, — вставила Наташа.

— Ах, да! — подхватил он, чуть не поперхнувшись. — Ведь я и в самом деле их сдавал! Чего стоило их сдать, а ведь университет как тряпкой стерло.

Продолжая уминать клеклый мякиш калача и отхлебывая из стакана, он рассказал, как приступил было к подготовке весной, вскоре после ее московского гощенья, но пришлось бросить: болезнь матери, поездка в Питер и много еще чего (тут он снова всё это перечислил). Но потом за месяц до зимней сессии одумался, и всего труднее было с постоянными отвлечениями, с детства вошедшими в навык. Его обидело, что в словах о «десяти талантах, что хуже одного, да верного», сестра не признала поговорки, пущенной по семье покойным отцом, и нарочно про него.

— Ну, как же? — спеша замаять неловкость, спросила Наташа.

— Чего — как же? Гнал день и ночь, вот и всё, — и он стал уверять, что никакое наслажденье не сравнится с такой гонкой, причем назвал ее э к з а л ь т а ц и е й н е д о с у г а. По его словам, только мозговой этот спорт и помог ему справиться с прирожденными искушениями, главное же с музыкой этой, которая с тех пор и в загоне. И чтобы сестра не успела опять чего вставить, он быстро и без видимого перехода сообщил, что Москва встретила войну в разгаре строительной горячки, и сперва работы продолжались, а теперь кое-где и вовсе приостановлены, так что много домов останется навсегда недостроенными.

— Отчего же навсегда? — возразила она. — Разве ты ей конца не чаешь?

Но он отмолчался, полагая, что тут, как и везде, разговор о войне, то есть о полной непредставимости мира, будет не однажды, и Калязин, вероятно, главным по этой части разливальщиком.

Вдруг ей бросилась в глаза нездоровая догадливость, с которой Сережа все чаще и удачнее стал предупреждать ее любопытство. Тогда она поняла, как он измучен, и, бессознательно спасаясь от этого чтенья в мыслях, предложила ему раздеться и соснуть. Тут им неожиданно помешали. Раздалось слабенкое дребезжание звонка. Полагая, что это дети, Сережа сунулся было за сестрой, но, отмахиваясь и что-то бормоча, Наташа скрылась в спальню. Сережа подошел к окну и, заложа руки за спину, уставился глазами в пространство.

В состоянии победоносной рассеянности он пропустил мимо ушей неистовства, начавшиеся рядом. Надрываясь из последних сил и приложив руку к трубке, Наташа вдалбливала какие-то любезности в те самые просторы, что стлались перед братом. К бесконечному забору, тянувшемуся в конце слободы, равномерно и увесисто уходил человек, замечательный лишь тем, что кругом не было ни души и никто ему не попадался навстречу. Следя без смысла за удалявшимся, Сережа мысленно увидел лесистый кусок недавно совершенного пути. Он увидел станцию, пустой буфет с досками на козлах вместо стойки, горы за семафором и прохаживающихся, бегающих взапуски и борющихся на той бугристой снеговине, что отделяла холодные вагоны от горячих пирогов. В это время шагавший миновал забор и, свернув за него, пропал из виду.

Между тем в спальне произошли перемены. Крик по телефону кончился. Облегченно откашливаясь, Наташа осведомлялась, когда будет готова кофточка, и объясняла, как ее шить.

— Ты догадался? — сказала она, войдя и уловив внимательность братнина взгляда. — Это — Лемох. Он тут по делам своего завода и вечером собирается к нам.

— Какой Лемох? Зачем ты кричишь? — вполголоса перебил ее Сережа. — Можно было предупредить. Когда громко празднословишь, точно один в квартире, а за дверью человек работает, ему обидно. Надо было сказать, что у тебя портниха.

Недоразуменье сперва пошло в рост, а потом сполна разъяснилось. Оказалось, что никого в спальне нет, а когда Наташу разъединили с собеседником, еще более отдаленным, она разговорилась с телефонисткой, выключив-

шей линию и сидевшей далеко в конторе на другом конце поселка.

— Милейшая девушка, — прибавила Наташа. — Между прочим шьет: жалованья не хватает. Она тоже будет. Хотя неизвестно, к ней с фронта приехали.

— Знаешь, — неожиданно объявил Сергей, — я, пожалуй, и правда прилягу.

— Вот и хорошо, — быстро согласилась сестра и повела его в комнату, с самого Сереежина письма для него приготовленную. — Удивительно, как тебя освободили, — заметила она на ходу, вполоборота оглядывая брата, — ведь ты нисколько не хромаешь.

— Вот представь, и ведь без возражений, всей комиссией. Что ты делаешь? — воскликнул он, увидев, что сестра собирается ему стлать и стягивает с кровати покрывало. — Оставь, я — одевшись. Не надо.

— Ну, как знаешь, — уступила она и, оглядев по-хозяйски комнату, сказала с порога: — Спи вволю и не стесняй себя; я позабочусь, чтобы не шумели; в крайности мы пообедаем одни, а тебе согреют. А вот что ты Лемоха забыл, так это с твоей стороны непростительно; очень-очень интересный человек и достойный и очень тепло и правильно о тебе отзывался.

— Но что же мне делать? — взмолился Сергей. — Никогда не видал и в первый раз слышу.

Ему показалось, что и дверь за сестрой затворилась с тихой укоризной. Он отстегнул помочи и, присев на кровать, стал распускать шнурки на ботинках.

С тем же поездом на короткую побывку в Веретье приехал отпускной матрос с миноносца «Новик». Звали его Фардыбасов. Он отнес прямо со станции свой сундук в контору, чмокнулся с родственницей, там служившей, и тут же, круша лед и разбрасывая воду, крупным шагом направился к Механическому. Тут он произвел фурор своим появлением. Однако, не найдя в обступившей его толпе того, кого шел добывать, и узнав, что Отырганьев теперь работает на одном из новых, недавно поставленных производств, он тем же шагом повалил на Второй подсобный, который вскоре и отыскался за складскими заборами, в вилке узкоколейки. Она гаденькой камемкой ползла по краям срывчатой низины и пугала своей

видимой беззащитностью, потому что у лесной опушки вдоль нее похаживал часовой с ружьем. Сбежав с дороги, Фардыбасов полетел полем вниз, перемахивая с бугра на бугор и скрываясь в завялых яминах летнего происхождения. Потом он стал подыматься на изволок, где стоял деревянный барак, отличавшийся от обыкновенного сарая только тем, что забрасывал частыми паровыми пышками, как снежками, тишину, здесь царившую.

— Отрыганьев! — подбежав к порогу и хлопнув ладонью по верее, гаркнул отпускной в глубину строения, где несколько мужиков переволакивали с места на место какие-то кули и бушевал, одним лишь этим тесом, как чехлом, охраненный от поля, здоровенный двигатель с застывшим в молниеносном полете маховиком. Под ним плясал, чмякал стержнями и приседал, проваливался под пол и выбрасывал назад вывихнутую голяшку сумасшедший рычаг шатуна, одной этой дрыготней державший в страхе всё сооруженье.

— Каких соков дерьмо гонишь? — с первого же приветствия спросил приезжий колченогого увальня, который вырос у двери, впривалку с сухой ноги на здоровую приковыляв от машины.

— Еремка! — только и успел выпалить подошедший, сразу хваченный приступом горького, крупной крошки, махорочного кашля. — Хролофор, — пропитым до чахотки голосом прогорланил он и только мотнул рукой, зайдясь пароксизмом нового скрипучего удушья.

— Смолосады, подумаешь! — любовно усмехнулся матрос, дожидаясь конца приступа.

Но не дождался, потому что в это время двое из татар, отделясь от остальных, быстро вскарабкались друг за другом по приставной лестнице наверх и стали сыпать известь в мешалку, отчего поднялся невообразимый грохот и всё помещенье заволокло клубами белой раскраивающейся пыли. И вот в этом облаке Фардыбасов принялся орать, что его время писарь съел, — считанные, дескать, дни, — и стал тут же подбивать приятеля на то самое, зачем ломил сюда без дороги со станции, то есть на охоту на весь свой отпускной срок.

А по прошествии некоторого времени, проведенного в любовном глумленьи над подучетными, военнообязанными и заводами, работающими на оборону, как ухо-

дить, Фардыбасов рассказал, как недавно, под самое Рождество, они ночью на выходе из Финского напоролась на минное поле германца и взорвались, что было враньем и бахвальством только в личностях, потому что рассказчик был с «Новика», а подымал хобота, рыл пучину и опускался, заводя на себе водяную петлю дикой глубины и тугости, другой миноносец отряда.

Темнело, подмораживало, в кухне подавали воду. Приходили дети, на них шикали. Временами извне к дверям подкрадывалась Наташа. Но Сереже не спалось, он только притворялся спящим. За стеной, на стороне, всем домом перебирались из сумерок в вечер. Под вещевую «дубинушку» полов и ведер Сережа думал, как всё будет неузнаваемо при огне, в конце передвиженья. Точно он в другой раз приедет, и притом выпавшись, что всего важнее. А предвкушаемая новизна, уже кое в чем вызванная лампами к существованию, копошилась и погрохатывала, переходя от воплощенья к воплощенью. Она детскими голосками спрашивала, где дядя и когда он опять уедет, и, наученная делать страшные глаза, сама уже затем проникновенно шикала на ни в чем не повинную Машку. Она стайей материнских увещаний носилась в суповом пару, шлепая крыльями по передникам и тарелкам. Никакие препирательства ей не помогли, когда ее снова укутали, кропотливо и раздраженно, и стали выпроваживать на новую прогулку, торопя из сеней, чтобы не напускать в дом холоду. И не скоро, многим позднее, воплотилась она в басистое вторженье Калязина и его палки и его глубоких, за десять лет брака всё еще не поддавшихся никакому вразумленью, калош.

Чтобы примануть сон, Сережа упорно старался увидеть какой-нибудь летний полдень, первый, какой подвернется. Он знал, что если бы такой образ ему явился и он его удержал, виденье склеило бы ему веки и храпом бросилось бы в ноги и в мозг. Но он лежал и давно уже держал зрелище июльского жара перед самым носом, как книжку, а сон всё не жаловал. Случилось так, что лето подобралось четырнадцатого года, и это обстоятельство нарушило все расчеты. На это лето нельзя было глядеть, всасывая заволоченными глазами усыпительную явственность, а приходилось думать, переносясь от воспомина-

нья к воспоминанью. Та же причина разлучит и нас надолго с усольской квартирой.

Итак, именно отсюда давались порученья Наташе, когда с их списком, слепым от мелких приписок и частого перечеркивания, она бегала по Москве в свой приезд весной тринадцатого года. Она останавливалась у Сережи, и теперь по запаху строевого леса, по гутору окружной тишины и по состоянию дорог в поселке он воображал, что уже видит в лицах, кого одолжала сестра, по целым дням пропадая из комнаты на Кисловке. Служащие действительно жили дружно, одной семьей. Ее поездка тогда была даже оформлена в служебную, с мужа на жену переписанную командировку. Такой вздор был мыслим только потому, что все звенья отвлеченной цепи, кончавшейся суточными и прогонными, были живыми людьми, поголовно между собою породненными той теснотой, в какой всем им, как на островке, приходилось жаться на своей разнообъемной грамотности среди трехтысячеверстных повально неграмотных снегов. Пользуясь оказией, дирекция облекла ее даже полномочьями на уяснение каких-то, впрочем, пустяковейших и легко разрешимых по почте неулаженностей, почему Наташа и хаживала на Ильинку, придавая этим посещениям очень двойственное обличье. Она заключала эти прогулки в подчеркнуто комические кавычки, в то же время давая понять, что в кавычки ею заключены дела министерской важности. А в свободные часы, и больше по вечерам, она навещала своих и мужниных друзей былой московской поры. С ними она ходила по театрам и концертам. Подобно отлучкам в правленье, она и этим развлечениям сообщала видимость дела, но только такого, которое никаких кавычек не допускало. Это оттого, что с людьми, с которыми она теперь делила посещение Художественного и Корша, ее связывало когда-то большое прошлое. Доступное, при желаньи, восхищенным пониманьям при каждом новом перетряхиваньи стариной, оно теперь оставалось единственным доводом их взаимного друг до друга касательства. Они встречались, крепко спянные его давностью, и одни стали врачами, другие инженерами, третьи же пошли по адвокатуре. Те, которым не пришлось возобновить временно прерванного ученья, работали в «Русском Слове». Все обзавелись семьями, у всех,

кроме определившихся по литературной части, были дети. Не все, разумеется, были похожи друг на друга, и жили никак не кучею, а врозь, кто на какой улице, и, отправляясь к одним, Наташа с Кисловки выходила к остановке трамвая на Воздвиженку, а собравшись к другим, шла пешком по Газетному, Камергерскому и так далее, пересекая улицы одну другой кривее, жилистей и толкучей.

Надо также сказать, что, за исключением одного раза в Георгиевском переулке, куда надо было завернуть за друзьями по дороге на сборный концерт с чтением Чехова и певцами, в этот Наташин наезд между знакомыми о прошлом не говорилось. Да и в этот раз, едва Наташа развспомнилась, обнаружив в туалетной шкатулке приятельницы красный галстук времен высших женских курсов, как последняя, которую она же и поторапливала, справилась с нарядом, и, отвалив от зеркала, где уже стали колыхаться воскрешенные образы, они втроем с мужем приятельницы кубарем выкатились на зеленый, зеркалом холодевший воздух весеннего вечера. О прошлом не говорили и потому, что в глубине души все они знали, что революция будет еще раз. В силу самообмана, простительного и в наши дни, они представляли себе, что она пойдет, как временно однажды снятая и вдруг опять возобновляемая драма с твердыми актерскими штатами, то есть с ними со всеми на старых ролях. Заблуждение это было тем естественнее, что, глубоко веря во всенародность своих идеалов, они были всё же такого толка, что считали нужным эту уверенность свою поверять на живом народе. И тут, убеждаясь в полной, до известной поры, бытовой причудливости революции на широкий, рядовой русский взгляд, они могли справедливо недоумевать, откуда бы взяться еще новым охотникам и посвященным в таком обособленном и тонком деле.

Как все они, Наташа верила, что лучшее дело ее юности только отложено и, как пробьет час, ее не минует. Этой верой объяснялись все недостатки ее характера. Этим объяснялась ее самоуверенность, смягченная лишь полным Наташиным неведением о таком своем изъяне. Этим также объяснялись те черты беспредметной праведности и всепрощающего понимания, которые неистощимым светом озаряли Наташу изнутри и были ни с чем не сообразны.

По родне она узнала, что у Сережи что-то такое поделось. Надо заметить, что ей было известно всё, начиная от имени Сережиной избранницы вплоть до того, что Ольга замужем и в счастливом браке с инженером. Она ни о чем не стала расспрашивать брата. Поступивши так из общелюдского приличия, она, однако, тут же, как светлая личность, себе это вменила в особую кастовую заслугу. Она ни о чем не стала расспрашивать Сережу, но, вся дыша сознанием прямой подведомственности его истории тому вдумчивому и чуткому началу, которое собой олицетворяла, ждала, чтобы, не снеся замкнутости, он излился перед нею сам. Она притязала на его внезапную исповедь, ожидая ее с профессиональным нетерпением, и кто осмеет ее, если примет в расчет, что в братниной истории имелась и свободная любовь, и яркая коллизия с житейскими цепями брака, и право сильного, здорового чувства, и, Бог ты мой, чуть ли не весь Леонид Андреев. Между тем на Сережу пошлость под запрудой действовала хуже глупости, безудержной и искрометной. И когда он раз не выдержал, то его уклончивость сестра истолковала по-своему, а из его мешковатых недомолвок узнала, что у любящих всё расстроилось. Тогда чувство компетенции только возросло у ней, потому что к увлекательному инвентарю, приведенному выше, прибавилась и обязательная, по ее понятиям, драма. Потому что, как ни далек был ей брат, опоздавший родиться на пять лет с месяцами против ее поколенья, были глаза и у ней, и она видела, да и не ошибалась, что никакие проказы и шалости Сереже не присущи. И только слово драма, разнесенное Наташею по знакомым, было не из братнина словаря.

II

Много-много чего оказалось вдруг за плечами у Сережи, когда с последнего благополучно сданного экзамена он точно без шапки вышел на улицу и, оглушенный слычившимся, взволнованно осмотрелся кругом. Молодой извозчик, вскинутым сапожищем распяливая кафтан, сидел боком на козлах, исподволь поглядывая под лошадь, и, всецело полагаясь на беспамятную чистоту мартовского воздуха, равнодушно караулил окрик с любого конца большой площади. Подневольным слепком с его вольно-

го ожиданья помаргивала в оглоблях серая в яблоках кобыла, как бы самим рокотом мостовых сильно на вынос вложенная в хомут, за дугу. Всё кругом подражало им. Орленная чистым булыжником, круглая мостовая походила на гербовый, тумбами и фонарями уставленный документ. Дома стояли, возведенные на пустой предвесенней настороженности, как на упругом фундаменте из четырех резиновых шин. Сережа оглянулся. За оградой, в одном из серейших и самых слабостойных фасадов празднично и каникулярно тяжелела дверь, только что тихо затворившаяся за двенадцатью школьными годами. Именно в эту минуту ее замуровали, и теперь навсегда. Он пошел домой. Щемящей студености холостая заря нежданно ломанула по Никитской. Камень свело мерзлым пурпуром. Он совестился глядеть на встречаемых. Всё случившееся было написано на лице у него, и прыгающая улыбка, величиной со всю, того часа, московскую жизнь, владела его чертами.

На другой день он отправился к тому из своих приятелей, который, учительствуя в одной из женских гимназий, знал по службе, что делается в других. Зимой он как-то говорил Сереже об освобождающейся на весну вакансии словесника и психолога в частной гимназии на Басманной.

Сережа терпеть не мог словесности и школьной психологии. Кроме того, он знал, что в женской гимназии ему не служить, потому что пришлось бы изойти среди девочек страшным паром без всякого для кого-нибудь ведома и пользы. Но, вконец измотанный экзаменационными волнениями, он теперь отдыхал, то есть позволял дням и часам переставлять его, куда им вздумается. Точно кто кокнул тогда под университетом банку с вареньем из вербы, и, увязнув вместе со всем городом в горькошерстой ягоде, он отдался поколыхиванью ее тугих, оловянных складок. Вот каким образом и побрел он в один из переулков Плющихи, где проживал в номерах названный приятель.

Номера обложились от остального света огромным двором для извозчиков. Вереница пустых пролеток подымалась к вечернему небу костяным хребтом какого-то сказочного позвоночного, только что освежеванного. Здесь сильнее, чем на улице, чувствовалось присутствие

новой дали, голой, сердобольной, и было много навоза и сена. Особенно же много было тут той именно сладкой серости, на волнах которой прибыл сюда Сережа. И вот, как подмыло его в дымные номерные разговоры, подпертые с улицы троеруким керосиновым фонарем, так понесло в следующие же сумерки на Басманную, в оловянные разговоры с начальницей, под которыми топырилось ветвистое карканье большого запущенного сада, полного частной женской серебристо-мышьиной и коегде уже разобранной граблями земли.

Как вдруг, неизвестно в честь чего, по одному из оловянных изворотов последней недели он очутился во фрестельском особняке воспитателем хозяйского сына, и тут остался, отряся олово с ног своих. И неудивительно. Его взяли на всем готовом, предложив сверх того оклад вдвое больше учительского, огромную трехоконную комнату об стену с учениковой и полное пользование досугом, какой ему заблагорассудится для себя отвести без ущерба для занятий с воспитанником. Так что разве только не подарили ему всего суконного фрестельского дела, а то никогда еще в жизни не случилось ему налегке, в мягкой шляпе (он получил большой задаток), от чаю и книг, прямо с мрамора попадать в булочный вар солнечного переулка, парюю кривых тротуаров бодро несшегося под уклон на площадь, прятавшуюся внизу за поворотом. Это было в Самотеках, и, несмотря на малую прохожесть околотка, у Сережи в первую же прогулку случилось две встречи. Первым, и по другому тротуару, прошел молодой человек из бывших на памятном вечере у Бальца. Их было там два брата, и старший был инженер, а младший говорил, что по окончании коммерческого ему служить, и не знал, итти ли вольноопределяющимся или же по жребию. Теперь он был в форме вольноопределяющегося, и как раз то, что он был в солдатской форме, так стеснило Сережу, что он только поклонился прошедшему, а не остановил его и не перешел через дорогу. Не сделал того и вольноопределяющийся, потому что ему передалось через дорогу Сережино стеснение. К тому же Сережа не знал, как фамилия братьев, потому что их друг другу не представили, и он только помнил, что старший — очень уверенный в себе человек и, вероятно, удачник, а младший — молчаливее и гораздо милее.

Другая встреча произошла на одном тротуаре. На него налетел добродушный толстяк, редактор одного из петербургских журналов, Коваленко. Он знал Сережины работы и одобрял их и, между прочим, собирался при помощи Сережи и нескольких других, ранее облюбованных причудников обновлять свое начинание. Об этом вливании живых сил и прочей чепухе он говорил с неизменной усмешкой. Она и вообще была ему свойственна сверх меры, потому что повсюду ему мерещились смешные положения, и эту иронией он себя от них ограждал. Уклоняясь от Сережиных любезностей, он спросил, чем тот в данное время занят, и, с двухэтажным фрестельнским особняком на языке, Сережа вовремя его прикусил, быстро соврав на всякий случай, что увлечен новой повестью. И так как Коваленко обязательно должен был его спросить о замысле, то он тотчас же в уме принялся ее сочинять.

Но Коваленко этого вопроса не задал, а уговорился встретиться с Сережей через месяц, в следующий свой наезд в Москву, и, безо всякой расстановки что-то быстро лопоча про друзей, в полупустующей квартире которых останавливается, быстро записал на отрывном листке их адрес. Сережа принял его не глядя и, сложив вчетверо, сунул в карман жилета. Ироническая улыбка, с которой всё это проделал Коваленко, ничего Сереже не сказала, потому что она была от говорившего не отделима.

Расставшись со своим доброхотом, он в обход направился в особняк, чтобы не идти с человеком, беседа с которым закончилась так кругло и естественно. Между прочим, он тут же подивился ветру, сразу поднявшемуся в его голове. Он не заметил того, что это не ветер, а продолжение несуществующей повести, заключавшееся в постепенном улетучивании встречи и адреса и всего случившегося. Он также не знал, что сюжетом ей служит его бросающаяся мыслями умиленность, умилен же он тем, что кругом так хорошо и что ему так повезло с экзаменами, со службой и со всем на свете.

Его поступление к Фрестельнам совпало с временем, когда особняк был весь в переменах. Часть их произо-

шла до Сережи, часть еще предстояла. Незадолго перед тем супруги отссорились, наконец, полным на всю жизнь итогом и зажили разными этажами. Половину низа, через сенную площадку направо от детской и Сережиной половины, занял хозяин. Хозяйка раскатилась по всему верху, где кроме трех ее комнат, не считая гостиной, были еще большая двухсветная зала с помпейским атриумом и столовая с прилегавшей к ней буфетной.

Весна в тот год подошла рано и уже клубилась горячими сдобными полднями. Она на всех парах обгоняла календарь и давно уже побуждала к летним сборам. У Фрестельнов было именье в Тульской губернии. Хотя покамест особняк только отдувался проветриваньем сундуков и чемоданов по жарким утрам, но с парадного уже прибывали дамы, матери семейств, кандидатки в нынешние дачницы. Старых съемщиц встречали, как дорогих покойниц, чудесно возвращенных родне, с новыми толковали о каменных флигелях и деревянных дачах и еще в вестибюле на прощанье долбили о прославленных особенностях алексинского воздуха, необыкновенной какой-то сытности и об окских красотах, которыми, сколько их ни хвали, всё равно не нахвалиться. Всё это, впрочем, было истинною правдой.

А на дворе выколачивали ковры, глыбами нутряного сала стояли облака над садом, и клубы щелкучей пыли, садясь на жирное небо, сами, казалось, заряжали грозой воздух. Но по тому, как, утирая лицо, поглядывал на небо дворник, весь в ковровом сору, точно в волосяной сетке, видно было, что дождя не будет. В люстриновом пиджаке взамен фрака, с колотушкой под мышкой проходил через вестибюль во двор лакей Лаврентий. И, видя всё это, вдыхая запах нафталина и ловя мимоходом обрывки дамских разговоров, Сережа не мог отделаться от чувства, будто особняк уже снаряжился в путь и вот-вот поднырнет под горький, мокро трепещущий, знойно-лавровый березовый шатер. Кроме всего изложенного, камеристка госпожи Фрестельн, не заговаривая пока еще о расчете, собиралась уходить и, приискивая себе место, отлучалась без разбору во все дни, выходов от невыходных не отличая. Звали ее Анна Арильд Торнскольд, а в доме, для краткости, — миссис Арильд. Она была датчанка, ходила во всем черном, и видеть ее в положень-

ях, в какие ее часто ставили обязанности, было тяжело и странно.

Именно так, в духе гнетущей странности, она себя и держала, широкой походкой в широкой юбке пересекая залу по диагонали, с высокой прической узлом, и сочувственно, как сообщница, улыбалась Сереже.

Таким образом незаметно настал день, когда, обожаемый учеником и состоя в задушевной дружбе с хозяевами, — относительно которых только нельзя было решить, кто милее, потому что, заменяя этим уничтоженную связь, они врозь друг друга перед Сережей оговаривали, — с книгой в руке, предоставив питомцу гоняться по двору за кошкой, он перешел со двора в сад. Дорожки, как сором, были затрясены обившейся сиренью, и только на теневой стороне доцветало еще два-три куста. Под ними усердно писала, положив локти на стол и склонив голову набок, миссис Арильд. Ветка в пепельных четырехгранниках, чуть покачиваемая лиловым бременем, старалась заглянуть из-за затылка пишущей в писанье, но без пользы. Писавшая заслоняла письмо и корреспондента от всего мира широким, трижды скрученным узлом своих невесомых светлокаштановых волос. На столе вперемежку с рукодельем была разложена вскрытая почта. По небу плыли легкие, цвета сирени и почтовой бумаги, облака. Оно их охлаждало, и само было, как серая сталь. Заслышав чужие шаги, миссис Арильд сперва тщательно осушила промокашкою написанное, а потом спокойно подняла голову. Рядом с ее скамейкой стоял железный садовый стул. Сережа опустился на него, и между ними по-немецки произошел следующий разговор:

— Я знаю Чехова и Достоевского, — обвив руками спинку скамейки и прямо глядя на Сережу, начала миссис Арильд, — и пятый месяц в России. Вы хуже французов. Вам надо наделить женщину какой-нибудь скверной тайной, чтобы поверить в ее существование. Точно на законном свету она нечто бесцветное, вроде кипяченой воды. Вот когда она скандальной тенью вскопит откуда-нибудь изнутри на ширму, тогда другое дело, об этом силуэте уже не спорят, и ему нет цены. Я не видала русской деревни. А в городах ваша падкость к закоул-

кам показывает, что вы живете не своей жизнью, и, каждый по-разному, тянетесь к чужой. Не то у нас в Дании. Пойдите, я не кончила...

Тут она отвернулась от Сережи и, заметив на письме ворох осыпавшейся сирени, заботливо ее сдула. Спустя мгновение, справившись с какой-то непонятною заминкой, она продолжала:

— Прошлой весной в марте я потеряла мужа. Он умер совсем молодым. Ему было тридцать два года. Он был пастором.

— Послушайте, — все-таки успел перебить ее Сережа по-заготовленному, хотя теперь хотел сказать уже совсем не то, — я читал Ибсена и вас не понял. Вы заблуждаетесь. Несправедливо по одному дому судить о целой стране.

— Ах, так вы вот о чем? Вы о Фрестельнах? Хорошего же вы мнения обо мне. Я дальше от таких ошибок, чем вы, и сейчас вам это докажу. Догадались ли вы, что они евреи, и только это от нас скрывают?

— Какой вздор! Откуда вы это взяли?

— Вот видите, как вы ненаблюдательны. А я в этом убеждена. Оттого, может быть, я и ненавижу ее так непобедимо. Но не отвлекайте меня, — с новым жаром начала она, не дав Сереже во-время заметить, что по отцу эта ненавистная кровь течет в нем самом, между тем как в особняке этим и не пахнет, вместо чего, и опять по-заготовленному, он успел все-таки вставить, что все ее мысли о сластолюбьи — живой Толстой, то есть самое русское из всего, что достойно этого званья.

— Не в этом дело, — спеша пресечь спор, нетерпеливо отрезала она и быстро пересела поближе к Сереже на край скамейки. — Послушайте, — взяв его за руку, проговорила она в сильном возбуждении. — Вы состоите при Гарри, но я уверена, что вас не заставляют обмывать его по утрам. Или еще бы вам предложили делать старику ежедневные обтирания.

От неожиданности Сережа упустил ее руки.

— Зимой в Берлине ни о чем таком не было ни слова. Я ходила договариваться с ней в отель «Адлон». Я нанималась в компаньонки, а не в горничные, не правда ли? Вот я сижу перед вами — здравый, рассудительный

человек, — вы согласны? Но не отвечайте пока. Место было в далекий отъезд, в неизвестность. И я согласилась. Ясно ли вам, как меня обошли? Я не знаю, чем она мне приглянулась. С первого взгляда я ее не разобрала. И потом ведь всё это родилось по ту сторону границы, за Вержболовым... Нет, погодите, я не кончила. Я возила Арильда в Берлин на операцию. Он скончался у меня на руках, я там его похоронила. У меня нет родни. Я сейчас сказала неправду. Есть, но об этом как-нибудь потом. Я была в ужасном состоянии и совсем без средств. И вдруг — ее предложенье. Я о нем прочла в газете. И — по какой случайности, если бы вы знали!

Она отодвинулась на середину скамьи, сделав Сереже неопределенный знак рукою.

По стеклянной галерее, соединявшей особняк с кухней, прошла госпожа Фрестельн. За нею следовала экономка. Сережа тут же раскаялся, что недостойным образом истолковал движенье миссис Арильд. Она не предполагала ни от кого таиться. Наоборот, возобновив разговор с ненатуральной поспешностью, она повысила голос и внесла в него ноту насмешливого высокомерья. Но госпожа Фрестельн их не слышала.

— Вы обедаете наверху, с ней и с Гарри, и с гостями, когда бывают гости. Я сама собственными ушами слышала, как в ответ на ваше недоуменье, почему меня нет за столом, вам сказали, что я больна. И, правда, я часто страдаю мигренью. Но потом, помните, вы раз как-то после десерта куролесили с Гарри, — не кивайте, пожалуйста, так радостно: дело ведь не в том, что вы этого не забыли, а в том, что, когда вы вбежали в буфетную, я чуть со стыда не сгорела. Вам же объяснили, будто обедать в углу за дверью в обществе экономки (а ей действительно так больше нравится) пожелала я сама. Но это пустяки. Каждое утро мне приходится, как ребенка, принимать из ванны в простыни эту трепещущую драгоценность и потом до изнеможенья растирать тряпками, щетками, пемзой и уж, право, не знаю чем. И ведь я не всё могу назвать, — неожиданно тихо заключила она и, вся в краске, переведя дыханье, как после бега, утерла платком разгоревшееся лицо и повернула его к собеседнику.

Сережа молчал, и по его страдальческому виду она догадалась, как глубоко в него всё это запало.

— Не утешайте меня, — попросила она и поднялась со скамьи. — Но я не то хотела сказать. Я говорю по-немецки с неохотой. В минуту заслуженной вами сердечности я буду к вам обращаться по-другому. Нет, не податски. «We shall be friends, I'm sure».¹

И опять Сережа ответил не так, как хотел, и сказал gut, а не well, не предупредив ее, что понимает по-английски, но то немного, что знал, позабыл. Она же, продолжая говорить по-английски, горячо и просто напоминала ему (и вслед за тем гораздо холоднее перевела по-немецки), чтобы он не забывал того, что она сказала о ширмах и закоулках. Что она северянка и человек верующий и не выносит вольничанья, что это — просьба и предостережение, и чтобы всё это он имел в виду.

III

Стояли душные дни. Сережа по Нуроку освежал свои скудные и запущенные познания по-английски. В обеденные часы он подымался с воспитанником в залу, где они топтались в ожидании выхода госпожи Фрестельн. Пропустив ее вперед, они следом за ней проходили в столовую. Часто ее минут на пять, на десять предваряла миссис Арильд. Сережа громко беседовал с датчанкой и при появлении хозяйки с нескрываемым сожаленьем расставался с собеседницей. Шествие из трех лиц, открывавшееся госпожей Фрестельн, направлялось в столовую, а камеристку, двигавшуюся по тому же направлению, с постепенным приближеньем к двери отмывало всё более и более влево. И они расходились.

С некоторых пор госпоже Фрестельн пришлось свикнуться с упорством, с каким Сережа звал столовую малой буфетной, а комнату рядом, где разнимали пулярдок и раскладывали по тарелкам мороженое, — большой. Но она постоянно ждала от него странностей, считая его прирожденным чудачком, хотя и не понимала половины его шуток. Она доверяла воспитателю и в нем не обманывалась. У него и теперь не было прямого зла на нее,

¹ Мы будем друзьями. Я уверена.

как и ни против кого на свете. В живом лице он умел ненавидеть только своего противника, то есть незаурядно вызывающую, легкую победу над жизнью, с обходом всего труднейшего в ней и драгоценнейшего. А людей, годящихся в олицетворенье такой возможности, не столь уж много.

В послеобеденные часы вниз по лестнице съезжали целые подносы битых и ломаных гармоний. Они скатывались и разлетались неожиданными взрывами, более резкими и разительными, чем случаи официантской не ловкости. Между этими мятежными паденьями залегали версты ковровой тишины. Это наверху, за несколькими парами подбитых сукном и плотно притворенных дверей, Арильд на рояле разыгрывала Шумана и Шопена. В такие мгновенья невольнее, чем в другие, смотрелось в окно. Но перемен там не замечалось, небо не трогалось излишними. Оно знойным столбом продолжало стоять на своем затверженном бездождьи, а под ним на пятьдесят верст кругом плясало мертвое море пыли, точно жертвенный костер, возженный ломовыми извозчиками с нескольких концов сразу, на пяти товарных станциях и за китайгородской стеной, в центре кирпичной пустыни.

Получалась несуразица. Фрестельны засиживались в городе, а миссис Арильд заживалась в особняке. Вдруг судьба наслала всему оправданье в тот момент, как непонятность оттяжки стала всех удивлять. Гарри заболел корью, и переезд в имение был отложен до его выздоровленья. А песчаные вихри всё не унимались, дождя не предвиделось, и все мало-помалу к этому привыкли. Стало даже казаться, что это всё тот же, теперь на долгие недели застоявшийся день, которого тогда во-время не отвели в участок. Вот он и взял силу, и до смерти всем осточертел. А теперь на улице его всякая собака знает. Так что если бы не ночи, еще дышавшие какими-то призрачными различьями, то следовало бы сбегать за понятыми и наложить сургучевые печати на иссякший календарь.

Улицы походили на блуждающие маковые грядки с путешествующими насаждениями. По размягченным панелям, свесив полуосыпавшиеся головы, двигались пепельные, изомлевшие тени. Только раз в воскресенье у

Сережи с датчанкой хватило духу, сунув головы в умывальные чашки, рвануться вон из города. Они поехали в Сокольники. Однако и тут над прудами стлалась та же гарь, с той только разницей, что духота в городе была недоступна глазу, а тут ее становилось видно. Ее полоса, намешанная из пыли, тумана и паровозного дыма, висела, подобно канцелярской линейке, поперек черного бора, и, разумеется, деловой этот призрак был куда страшнее простого уличного удушья.

Между прочим, полоса эта висела на таком отступе от воды, что лодки свободно под ней проскальзывали; когда же визгливые барышни пересаживались с кормы на весла, то кавалеры, подымаясь им навстречу, задевали за эту говяжью накипь картузами. В пруду у берега с кислым шипеньем дымилась заря. Ее багрянец походил на раскаленную и утопленную в болоте болванку. С того же берега в лопающихся пузырях плыл скользкий, плачевно-раскатчивый рев лягушек.

Между тем смеркалось. Арильд сыпала по-английски, Сережа отвечал ей, и всё впопад. Они всё быстрее и быстрее кружились по лабиринту, приводившему их всё на ту же начальную площадку, и в то же время быстро шли прямой дорогой к заставе, на стоянку трамваев. Они резко отличались от остальных гулявших. Изю всех пар, заполнявших рощу, эта всего тревожней отнеслась к наступлению ночи и бросилась уходить от нее так, точно та гналась за ними по пятам. Когда они оглядывались, они будто соразмеряли скорость ее преследования. Впереди же, на всех дорожках, на которые они вступали, росло всем бором нечто подобное присутствию старшего. Это превращало их в детей. Они то брались за руки, то растерянно их опускали. Временами их оставляла уверенность в собственном голосе. Им казалось, что их бросает то в громкий шепот, то в далекий, далью надломленный крик. На самом же деле ничего такого не замечалось: они произносили слова, как надо. По временам она становилась легче и прозрачнее лепестка тюльпана, в нем же открывался грудной жар лампового стекла. Тогда она видела, как он борется с горячей, коптящейся тягой, чтобы ее не притянуло. Они молча во всё лицо глядели друг на друга и потом с болью, как нечто цельное и живое, разрывали надвое эту обоеликую, мольбой о

милосердия искаженную улыбку. И тут Сережа опять слышал слова, которым давно подчинился.

Они всё быстрее и быстрее кружились по лабиринту мудренейших дорожек и в то же время выходили к заставе, откуда уже несся захлебывающийся звон трамваев, спасавшихся от пустых подвод, всей Стромынкой скакавших за ними вдогонку. Трамвайные звякалки точно плескались в иллюминированном стекле. От них, как от колотцев, несло прохладой. Скоро крайняя и самая пыльная часть бора сошла в деревянных башмаках с земли на каменную мостовую. Они вошли в город.

«Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека, — думал Сережа, — чтобы, наперед отождествив все новые нечаянности с прошедшим, он дорос до потребности в земле, новой с самого основания и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили!»

В эти дни идея богатства стала занимать его впервые в жизни. Он затомился неотложностью, с какой его следовало раздобыть. Он отдал бы его Арильд и попросил раздать дальше, и всё — женщинам. Несколько первых рук он назвал бы ей сам. И всё это были бы миллионы, и названные отдавали бы новым, и так далее, и так далее.

Гарри выздоравливал, но госпожа Фрестельн оставалась при нем неотлучно. Ей продолжали стлать в классной. Вечерами Сережа уходил из дому и возвращался лишь на рассвете. За дверью ворочалась в постели и покашливала хозяйка и всеми способами давала понять, что знает о его неурочных приходах. Если бы она спросила, откуда он является, он, не задумываясь, назвал бы ей места своих отлучек. Она это чувствовала и, остерегаясь серьезности, какую он вложил бы в ответ и которую ей пришлось бы проглотить как обязательность, оставляла его в покое. Он приходил оттуда с тем же далеким светом в глазах, что с прогулки в Сокольники.

Одна за другой несколько женщин всплыли в разные ночи на уличную поверхность, поднятые привлекательностью и случайностью из несуществования. Три новых женских повести стали рядом с историей Арильд. Неизвестно, почему изливались на Сережу эти признанья. Он не ходил их исповедовать, потому что считал это низо-

стью. Как бы в объяснение безотчетной доверенности, которая влекла их к нему, одна из них сказала, что он словно чем-то похож на них самих.

Это сказала самая матерая и запудренная из всех, самая рассамая, та самая, что уже до скончания дней была со всем светом на «ты», поторапливала извозчика такими жалобами на свою знобкость, которых нельзя привести, и всеми выпадами своей хриплой красоты уравнивала всё, до чего ни касалась. Ее комнатка во втором этаже пятиоконого домика, кривого и вонючего, ничем с виду не отличалась от любого мещанского жилья из беднейших. По стене ниспадали дешевые ширинки, утыканные фотографиями и бумажными цветами. У простенка, крыльями захватывая оба подоконника, горбился раскладной стол. А напротив, у не доходившей до верху перегородки, стояла железная кровать. И однако, при всем сходстве с человеческим жилищем, это место было полной его противоположностью.

Половики подстилались под ноги гостя с редким холуством и, приглашая не церемониться с квартиранткой, сами, казалось, готовы были подать пример, как ею помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Всё существовало настезь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже и окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь. Подмытые уличной славой, как в наводнение, домашние вещи, не чинясь и как попадетя, плавали по широкому званью Сашки.

Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Всё, за что она ни бралась, она делала на ходу, крупным валом и по-одинаковому, без спадов и нарастаний. Приблизительно так же, как, всё время что-то говоря, выбрасывала она упругие руки, раздеваясь, она потом на рассвете, за разговором, упираясь животом в столовое крыло и валя пустые бутылки, додувала свои и Сережины подонки. И приблизительно по-такому же, в той же степени, стоя в длинной рубахе спиной к Сереже и отвечая через плечо, без стыда и бесстыдства прудила в жестяной таз, внесенный в комнату тою старухой, что их впускала. Ни одного из ее движений нельзя было предугадать, и ее надтреснутую речь подымал и опускал тот же жаркий бросовой храп, что сбивал набок ее пряди и горел в ее расторопных руках. В ровности этого

проворства и заключался ее ответ судьбе. Вся человеческая естественность, ревущая и срамословящая, была тут, как на дыбу, поднята на высоту бедствия, видного ото-всюду. Окружностям, открывавшимся с этого уровня, вменялось в долг тут же на месте одухотвориться, и по шуму собственного волнения можно было расслышать, как дружно, во всей спешности обстраиваются мировые пустоты спасательными станциями. Острее всех острот здесь пахло сигнальной остротой христианства.

В исходе ночи переборку колыхнуло незримым ма-новеньем двора. Это ввалился в сени ее покровитель. Нюх на чужое присутствие, самый верный из его доходов, не оставлял его и в чернейшем хмелю. Тихонько переступая в тяжелых сапогах, он, как вошел, тотчас же тихо рухнул где-то рядом за переборкой и, ничем не сказавшись, вскоре перестал существовать. Его тихое ложе стояло, вероятно, доска об доску с промысловой кроватью. Вероятно, это был ларь. Едва он захрапел, как в него снизу живым и жадным долотом ударила крыса. Но опять на-плыла тишина. Храпа вдруг не стало, крыса притаилась, и по комнате пробежал знакомый ветерок. Существа на гвоздях и клею признали хозяина. Всё, чего не смели тут, смел вор за стеной. Сережа спрыгнул на пол.

— Куда ты? Убьет! — всем нутром прохрипела Сашка и, протащившись по постели, повисла на его рукаве. — Сердце сорвать не штука, а уйдешь, — спину мне под-ставлять?

Но Сережа и сам не знал, куда рвался. Во всяком случае это была не та ревность, которая померещилась Сашке, хотя она и не меньшей страстью подплывала к сердцу. И если что когда, подобно упряжной приманке, было выкинуто наперевес человеку, в залог его вечного хода, то именно этот инстинкт. Это была ревность, кото-рою мы иногда ревнуем женщину и жизнь к смерти, как к неизвестному сопернику, и рвемся на волю за волею для вызволения той, кого ревнуем. И, конечно, тут пахло всё тою же остротой.

Было еще очень рано. По ту сторону мостовой, в ши-роких дверях лабазов уже угадывались раскидные листы тройных железных створ. Пыльные окна серели, до чет-верти налитые круглым булыжником. На Тверских-Ям-ских, как на весах, лежал рассвет, и воздух казался мел-

кой сенной трухою, беспрестанно им отделяемой. У стола сидела Сашка. Блаженная сонливость кружила и несла ее, как вода. Она болтала без умолку, и ее говор походил на здоровое дремлющее животное.

— Эх ты, Виновата Ивановна! — не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа.

Он сидел на подоконнике. А по улице уже проходили люди.

— Нет, ты не медик, — говорила Сашка, навалившись боком на доску. Она то ложилась щекою на локоть, то, выпрямив руку, всю ее медленно оглядывала сбоку, от плеча к кисти, точно это не рука была, а далекая дорога или ее жизнь, видная ей одной. — Нет, ты не медик. Медики другие. Я вас прѳстотки не знаю как — ну, иное, когда сзади идет, не видать — хвостом признаю. Небось, учитель? Ну, вот. А то я до смерти простуды боюсь. Да ты не медик, нечего и спрашивать. Ты, послушай, не из татар ли, а? Ты приходи. Днем приходи. Ты адреса-то не потеряешь?

Они беседовали вполголоса, и Сашку то разбирали бисерный задорный хохоток, то одолевала зевота с почесотой. Она с детской ненасытностью, точно возвращенным достоинством, наслаждалась этой безмятежностью, очеловечивавшей еще больше того и Сережу.

Промежду болтовни, назвав Польшу Царством Польским, она хвастливым кивком на стену, где в глянцовитом гнезде прочих карточек лоснилось чучело благодушно-го унтера, выдала самое для нее далекое и заветное, то есть вероятного всему первопричинника. Вероятно, к нему и вела, от плеча к кисти, ее полная, терявшаяся в дальях рука. А может быть, и не к нему. Вдруг, подобно сухому селу, разом зажглась заря, и вся вдруг, как сено, сгорела. По лобасто-пузырчатым стеклам поползли мухи. Фонари и туманы обменялись зверскими зевками. Весь в разбегающихся искрах, затлев, занялся день. Тут Сережа почувствовал, что никого еще так сильно не любил, как Сашку, и тут же в мыслях увидал, как, куда-нибудь подале к кладбищам, мостовая обязательно в мясных красных пятнах, и бульжник на ней крупнее и реже, как у застав. Поперек же нее, отрываясь и уходя, отрываясь и уходя, спокойно скользят товарные вагоны, пустые и со скотиной. Вдруг происходит нечто подоб-

ное крушению, движенье чем-то перехватывается, из глубины подымается отсеченный конец улицы. Это тем же ходом, друг дружке в наверст, друг дружке в наверст идут порожняком платформы, но их не видно за плотной стеной людей и телег у переезда. Тут крапива и куро-слеп, и пахло бы полевою мышью, когда бы не гарь. И тут же бойко шестилетнюю вострушкой юлит сопливая Сашка. Наконец, всех позднее и в страшных попыхах, — точно спрашивая у стоящих, не видали ли вагонов, не пробегали ль, — задом, задом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбаум подымается, улица разбегается прямой стрелой, вот сейчас с двух сторон, врезаясь друг в друга, двинутся возы и человеческие расчеты. И тут на середку мостовой теплым желудком чудища, травяным, трижды скрученным, мешком брякается паровозный дым, тот самый, может статься, ливер, которым питается окраинная беднота. И Сашка путается и поглядывает, как страшен он среди чайных и колониальных товаров, с продажею сигар и табаку, и кровельного железа, и городских, а про ее глаза и пятки где-то тем временем пишут «Детство женщины». На мостовой пахнет овсом, и она до головной просто-таки боли припечатана солнцем по конской моче. И вот, не миновав-таки простуды, которой так боялась, потеряв глаза и пятки, и нос и разум, перед тем как слечь в больницу, а то и в могилу, забегает она на минутку за книжкой, в которой, говорили, про это всё прописано, ну просто-таки про всё, про всё, и вот видно, правда: дурой жила, дурой и помирать. Ей и на тротуар нельзя, отрядом по мостовой ведут, а ей, вишь, что приспичило. Сбрехнули, а она, дура, и подхвати, просто смешно. Про другую это всё: и фамилия не русская, и город другой. Вот городской при книжке холщевой, с тесемкою, там и она, в ней и читай. Ну и (мгновенный нажим похабной собачки) — та-тра-тра, та-та-та, — конец один. И городские смотрят ласковей. Баб они ведут огнестрельных, а у благородной публики язык на предохранителе.

— Ты что это призадумался? Ты б на других посмотрел. Ты на меня не гляди, я — что, я против них прѳстотки сказать — барыня. Ты на то не смотри, час ли там какой или еще что, — может, скажешь, спят, —

много ты про нас понимаешь! Ой, уморил, ой, помру, ха-ха-ха. Ты днем приходи. А об нем не думай. Ты его не бойся, он смиренный, ну, конечно, когда не трогать. Ведь вот ты в дверь — он из двери; а то либо, вишь, спит, — поди добудись, да вперед найди. Потемки — не ступишь. И чего дался он тебе, не понимаю, диви б мешал. Другие бывали, не обижаются. Тоже, которые благородные, вашего звания. Ну готово, теперь только пудру и сумочку не забыть, на, поддержи. Ну, пойдем, до Садовой провожу, авось назад не скучать, дело привычное. Что день, что утро, глазок скосишь — так в руки и плывут, так и плывут. Ай тебе не к Страшному? Ну, ладно, прощай, смотри не забывай. А я одна пойду, кобелям поваднее. Адреса-то не потеряешь?

Улицы натошак были стремительно прямы и хмуры. По их пролетному безлюдью еще носился сизый, сластолюбивый гик пустоты. Изредка одиночками навстречу попадались сухопарые людоеды. Вдалеке на шоссе дутой голубиной грудью колотился всё об одно какое-то место скачущий лихач. Сережа шел в Самотеки и за версту от Триумфальной воображал, будто слышит, как Сашке свистнули с тротуара на тротуар, она же замедлилась, сама игриво любопытствуя, кто — кого, то есть кликнувший ли перейдет через дорогу или кликнутая. Хотя день только начался, но в сутолочной липовой листве уже висели запутавшиеся нити зноя, бредовые, как крошки в бородах у покойников. И Сережу знобило.

IV

Богатство следовало раздобыть немедленно. И разумеется, не работою. Заработок не победа, а без победы не может быть освобожденья. И, по возможности, без громких общностей, без привкуса легенды. Ведь и в Галилее дело было местное, началось дома, вышло на улицу, кончилось миром. Это были бы миллионы, и если бы такой вихрь пролетел по женским рукам, обежав из Тверских-Ямских хотя одну, это обновило бы вселенную. А в этом и нужда, — в земле, новой с самого основанья.

«Главное, — говорил себе Сережа, — чтобы не раздевались они, а одевались; главная вещь, чтобы не по-

лучали деньги, а выдавали их. Но до исполнения плана, — говорил он себе (а плана-то никакого не было), — надо достать совсем другие деньги, рублей двести или хоть полтора. (Тут Нюра Рюмина вставала в сознании, и Сашка; и Анна Арильд Торнскольд была не на последнем месте.) И это — суммы совсем иного назначения. Так что в виде временной меры их, не колеблясь, можно принять и из честного источника. Ах, Раскольников, Раскольников, — повторил про себя Сережа. — Только при чем же закладчица? Закладчица — Сашка в старости, вот что... Но хотя бы и законно, откуда их достать, вот в чем вопрос. У Фрестельнов забрано на два месяца вперед, продать нечего».

Это было в один из первых дней июня. Гарри стали выводить на прогулки. В особняке опять начали снаряжаться на дачу. Арильд возобновила отлучки по делам, прерванным на срок Гарриной болезни. Скоро ей представилось место в отъезд в Полтавскую губернию, в военную семью.

— Not Souvoroff, the other,¹ — полногорло прокартавила она на лестнице, лениясь подняться за письмом, — I forget always.²

И Сережа перебрал все вероятия от Кутузова до Куропаткина, пока не оказалось, что это — Скобелевы.

— Awfully! I cannot repeat. How do you pronounce it?³

Условия были выгодные, но снова, и в который уже раз, ей пришлось задержаться решеньем. И вот почему. Едва получив предложенье, она захворала, и по жестокости болезни все решили, что это она схватила от Гарри. Между тем сильный, как в кори, жар, в первый же вечер сваливший ее в постель и зашедший за сорок градусов, на другое утро так же стремительно упал до тридцати пяти с десятymi. Всё это осталось загадкой, врачом не разъясненной, и до крайности бедняжку ослабило. Теперь последствия припадка проходили, и особняк раз или два опять уже огласился громами «Aufschwung'a»,⁴

¹ Не Суворов, другой...

² Поминутно забываю.

³ Ужасно! Не повторить. Как вы это произносите?

⁴ Название одной из фортепьянных пьес Шумана.

как в дни, когда Сереже о раскольниковских дилеммах и не мечталось.

Того же числа госпожа Фрестельн с утра повезла Гарри к знакомым на Клязьму, с намерением у них и заочевать, если допустит погода и будет случай. Уехал также куда-то и сам. Половина дня прошла, как при хозяевах. Лаврентий, правда, чтобы услужить, предложил было Сереже подать вниз, но он предпочел людей из заведенного распорядка не выводить и, сам не заметив, как это случилось, отобедал наверху в строгой верности часу и даже месту, какое занимал за столом, вторым по счету с правого края.

Итак, был пятый час дня, хозяев не было дома. Сережа поочередно думал то о миллионах, то о двухстах рублях и в этих размышлениях расхаживал по комнате. Вдруг пролетел миг такой особенной ощутительности, что, обо всем позабыв, он, как был, замер на всем шагу и растерянно насторожился. Но вслушиваться было решительно не во что. Только комната, залитая солнцем, показалась ему голее и обширнее обычного. Можно было обратиться к прерванному занятию. Но не тут-то было. Мыслей не осталось и в помине. Он забыл, о чем размышлял. Тогда он поспешно стал доискиваться хотя бы одного словесного званья думанного, потому что на обозначенья вещей мозг отзывается весь целиком, как на собственную кличку, и, пробудившись от оцепененья, возобновляет службу с того урока, на котором нам временно в ней отказал. Однако и эти поиски ни к чему не привели. От них только возросла его рассеянность. В голу лезло одно постороннее.

Вдруг он вспомнил про весеннюю встречу с Коваленкой. Снова обманно обещанная и несуществующая повесть всплыла в его убежденьи в качестве готовой и уже сочиненной, и он едва не вскрикнул, когда догадался, что вот ведь они где, искомые деньги, по крайней мере не те, заветные, а из честного и сотенного разряда, и, всё сообразив и задернув занавеску на среднем окне, чтобы затенить стол, недолго думая засел за письмо к редактору. Он благополучно миновал обращение и первые живые незначительности. Совершенно неизвестно, что бы он сделал, дойдя до существа. Но в это время его слух поразила та же странность. Теперь он успел в ней

разобраться. Это было сосущее чувство тоскливой, длительной пустоты. Ощущенье относилось к дому. Оно говорило, что он в эту минуту необитаем, то есть оставлен всем живым, кроме Сережи и его забот. «А Торнск-ольд?» — подумал он и тут же вспомнил, что с вечера она в доме не показывалась. Он с шумом отодвинул кресло. Оставляя за собой на разлет двери классной, двери детской и еще какие-то двери, он выбежал в вестибюль. В пролете за косою дверкой, выводившей во двор, горело белое, как песок, тепло пятого часа. Сверху оно показалось ему еще более таинственным и плотоядным. «Какое легкомыслие, — подумал он, быстро переходя из покоя в покой (он знал не все), — всюду окна настежь, в доме и на дворе ни души, можно всё вынести, никто не пикнет. Однако что ж это я так наугад? Пока ее дошаришься, мало ли что может случиться». Он пустился назад, стремглав скатился по лестнице и выбежал через надворную дверку как из дома, объятого пламенем. И как по пожарной тревоге, тотчас же в глубине двора приотворились сени дворницкой.

— Егор, — не своим голосом крикнул Сережа быстро бежавшему навстречу человеку, который на бегу что-то дожевывал и утирал углом передника усы и губы, — научи, сделай милость, как пройти к француженке (назвать ее францужинкой, как во всей точности титуловала дворня датчанку и всех ее предшественниц, у него не хватило духу). Да скорей, пожалуйста, мне тут Маргарита Оттоновна наказала с утра ей кое-что передать, а я только вот вспомнил.

— А вон окошко, — торопливо доглатывая жеванное, коротко, длинной в глоток, вякнул дворник и затем, подняв руку и мотнув освобожденной шеей, пошел совсем по-другому сыпать, как туда попасть, всё время глядя не на Сережу, а в сторону, на соседнее владенье.

Оказалось, что часть убогого трехэтажного здания из небеленого кирпича, прямым вгибом примыкавшего к особняку и арендовавшегося у Фрестельнов под гостиницу, открыта в этой смежности под надобности хозяев и что в нее есть доступ снизу из особняка по коридору, мимо детской половины. В эту узкую полосу, выделенную из гостиницы глухой внутренней стеною, попадало по комнате на этаж. На третий и приходилось окно

камеристки. «Где всё это было уже раз?» — полюбопытствовал Сережа, топая по коридору, когда на муровой меже, разделявшей обе кладки, под ногами прогромыхали наклонные половицы добавочного настила. Он было и вспомнил где, да не стал вникать, потому что в ту же минуту прямо перед ним чугуною улиткой повисла винтовая лестница. Заключив его в свое витье, она стеснила его в разбеге, чем и заставила отдышаться. Но сердце билось у него еще достаточно гулко и часто, когда, раскружась до конца, она прямо подвела его к номерной двери. Сережа постучался и не получил ответа. Он сильнее надобности толкнул дверь, и она с размаху шмякнулась о простенок, не породив ничьего возражения. Этот звук красноречивее всякого другого сказал Сереже, что в комнате никого нет. Он вздохнул, повернулся и, наклонясь, взялся уже за винтовые перила, но, вспомнив, что оставил дверь настежь, вернулся ее притворить. Дверь разворачивалась направо и, сунувшись за дверной ручкой, туда и следовало глядеть, но Сережа бросил воровской взгляд налево и так и обомлел.

На вязаном покрывале кровати, фасонными каблучками прямо на вошедшего, в гладкой черной юбке, широко легкой напрочь, праздничная и прямая, как покойница, лежала навзничь миссис Арильд. Ее волосы казались черными, в лице не было ни кровинки.

— Анна, что с вами? — вырвалось из груди у Сережи, и он захлебнулся потоком воздуха, пошедшим на это восклицание.

Он бросился к кровати и стал перед нею на колени. Подхватив голову Арильд на руку, он другою стал горячо и бестолково наискивать ее пульс. Он тискал так и смял ледяные суставы запястья и его не доискивался. «Господи, Господи!» — громче лошадиного топота толклось у него в ушах и в груди, тем временем как, вглядываясь в ослепительную бледность ее глухих, полновесных век, он точно куда-то стремительно и без достижения падал, увлекаемый тяжестью ее затылка. Он задыхался, и сам был недалеко от обморока. Вдруг она очнулась.

— You, friend?¹ — невнятно пробормотала она и открыла глаза.

¹ Это вы, друг?

Дар речи вернулся не к одним людям. Заговорило всё в комнате. Она наполнилась шумом, точно в нее напустили детей. Первым делом, вскочив с полу, Сережа притворил дверь. «Ах, ах», — без цели топчась по комнате, повторял он что-то в блаженной односложности, поминутно устремляясь то к окну, то к комоду. Хотя номер, выходящий на север, плыл в лиловой тени, однако аптечные этикетки можно было прочесть в любом углу, и вовсе не требовалось, разбирая пузырьки и склянки, подбегать с каждой в отдельности к свету. Делалось это лишь с тем, чтобы дать выход радости, требовавшей шумного выраженья. Арильд была уже в полной памяти, и только, чтобы доставить Сереже удовольствие, уступала его настояниям. Ему в угоду она согласилась нюхать английскую соль, и острота нашатыря пронзила ее так же мгновенно, как всякого здорового человека. Заслезенное лицо застлалось складками удивленья, брови стали уголками вверх, и она оттолкнула Сережину руку движеньем, полным возвратившейся силы. Он также заставил ее принять валерьянки. Допивая воду, она стукнула зубами об рант стакана, причем издала то мычанье, которым дети выражают полностью утоленную потребность.

— Ну, как наши общие знакомые, уже вернулись или еще гуляют? — отставив стакан на столик и облизнувшись, спросила она и, приподняв подушку, чтобы сесть поудобнее, осведомилась, который час.

— Не знаю, — ответил Сережа, — вероятно, конец пятого.

— Часы на комоду. Посмотрите, пожалуйста, — попросила она и тут же удивленно прибавила: — Не понимаю, на что вы там зазевались! Они на самом виду. А, это — Арильд. За год до смерти.

— Удивительный лоб.

— Да, не правда ли?

— И какой мужественный! Поразительное лицо. Без десяти пять.

— А теперь еще плед, пожалуйста, — вон на сундуке... Так, спасибо, спасибо, прекрасно... Я, пожалуй, немножко еще полежу.

Сережа раскачал и тугим пинком распахнул неподатливое окно. Комнату колыхнуло емкостью, точно в нее

ударил, как в колокол. Пахнуло тягучим духом желтых одуванчиков, травянисто-резиновым запахом красных бульварных рогаток. Крик стрижей кинулся путаницей к потолку.

— Вот, положите на лоб, — предложил Сережа, подавая Арильд полотенце, политое одеколоном. — Ну, как вам?

— О, бесподобно, разве вы не видите?

Он вдруг почувствовал, что не в силах будет с ней расстаться. И потому сказал:

— Я сейчас уйду. Но так нельзя. Это может повториться. Вам надо расстегнуть ворот и распустить шнуровку. Справитесь ли вы со всем этим сами? В доме никого нет.

— You'll not dare...¹

— О, вы меня не поняли. К вам некого послать. Ведь я сказал, что уйду, — тихо перебил он ее и, понуриив голову, медленно и неповоротливо направился к двери.

У порога она его окликнула. Он оглянулся. Опершись на локоть, она протягивала ему другую руку. Он подошел к ее изножью.

— Come near, I did not wish to offend you.²

Он обошел кровать и сел на пол, поджав ноги. Поза обещала долгую и непринужденную беседу. Но от волнения он не мог вымолвить ни слова. Да и говорить было не о чем. Он был счастлив, что не под винтовую лестницей, а еще при ней, что не сейчас еще перестанет ее видеть. Она собралась прервать молчание, тягостное и несколько смешное. Вдруг он стал на колени и, упершись скрещенными руками в край тюфяка, уронил на них голову. У него втянулись и разошлись плечи, и, точно что-то размалывая, ровно и однообразно заходили лопатки. Он либо плакал, либо смеялся, и этого нельзя было еще решить.

— Что вы, что вы! Вот не ждала. Перестаньте, как вам не стыдно! — зачастила она, когда его беззвучные схватки перешли в откровенное рыданье.

Однако (да она это и знала) ее утешенья только благоприятствовали слезам, и, глядя его по голове, она

¹ Вы не осмелитесь...

² Подойдите, я не хотела вас обидеть.

потворствовала новым их потокам. А он и не сдерживался. Сопротивление повело бы к затяжке, а тут имелся большой застарелый заряд, который хотелось извести как можно скорее. О, как радовало его, что не устояли и сдвинулись наконец, и поехали все эти Сокольники и Тверские-Ямские, и дни и ночи двух последних недель! Он плакал так, точно прорвало не его, а их. И действительно, их несло и крутило, как подмытые бревна. Он плакал так, будто ждал от бури, внезапно ударившей, как из облака, из его забот о миллионах, каких-то очистительных последствий. Словно слезы эти должны были иметь влияние на дальнейший ход житейских вещей.

Вдруг он поднял голову. Она увидела лицо, омытое и как бы отнесенное вдаль туманом. В состоянии какого-то старшинства над собой, будто прямой себе опекун, он произнес несколько слов. Слова были окутаны тою же пасмурной, отдаляющей дымкой.

— Анна, — тихо сказал он, — не спешите отказом, умоляю вас. Я прошу вашей руки. Я знаю, это не так говорится, но как мне это выговорить? Будьте моей женой, — еще тише и тверже сказал он, внутренне затрепетав от нестерпимой свежести, на которой всплыло это слово, впервые впущенное им в жизнь и ей равновеликое.

И, выждав мгновенье, чтобы справиться с улыбкой, всколебленной им на какой-то предельной глубине, он нахмурился и прибавил еще тише и тверже прежнего:

— Только не смейтесь, прошу вас, — это вас уронит.

Он поднялся и отошел в сторону. Арильд быстро спустила с кровати ноги. Состояние ее духа было таково, что, при совершенном порядке, платье ее казалось смятым, волосы — растрепанными.

— Друг мой, друг мой, ну можно ли так? — давно уже говорила она, при каждом слове порываясь встать и поминутно об этом забывая, и, что ни слово, как виноватая, удивленно разводила руками. — Вы с ума сошли. Вы безжалостны. Я лежала без памяти. Я с трудом привожу в движение веки, — слышите ли вы, что я говорю? Я не мигаю, а шевелю ими, понимаете вы это, или нет? И вдруг такой вопрос, и в упор! Но не смейтесь и вы. Ах, как вы меня волнуете! — как-то по-другому, будто в скобках и про себя одну, воскликнула она и, соскочив на ноги, быстро подбежала с этим восклицани-

ем, как с ношей, к комоду, по другую сторону которого, локоть в доску, подбородок в ладонь, стоял он, хмуро ее слушая.

Она ухватилась обеими руками за углы бортовой кромки и, покачиваясь всего корпуса выделяя доводы особо разительные, продолжала, обдавая его светом постепенно побеждаемого волнения:

— Я ждала этого, это носилось в воздухе. Я не могу вам ответить. Ответ заключен в вас самих. Может быть, всё когда-нибудь так и будет. И как бы я этого хотела! Потому что, потому что ведь вы не безразличны мне. Вы, конечно, об этом догадывались? Нет? Правда? Нет, скажите, — неужели нет? Как странно. Но всё равно. Ну, так вот, я хочу, чтобы вам это было известно. — Она запнулась и переждала мгновение. — Но я всё время наблюдала вас. Есть что-то в вас неладное. И знаете, сейчас, в эту минуту, его в вас больше, чем позволяет положение. Ах, друг мой, так предложений не делают. И дело тут не в обычае. Но всё равно. Послушайте, ответьте мне на один вопрос, чистосердечно, как родной сестре. Скажите, нет ли у вас на душе какого-нибудь позора? О, не пугайтесь, ради Бога! Разве не сдержанное обещание или не исполненный долг не оставляют пятен? Но, конечно, конечно, я предполагала и сама. Всё это так не похоже на вас. Можете не отвечать, — я знаю: ничего из того, что меньше человека, в вас долгого и частого пребывания не может иметь. Но, — задумчиво протянула она, отчеркнув рукою в воздухе нечто неопределенно пустое, и в голосе у нее появились усталость и хрипота, — но существуют вещи, которые больше нас. Скажите, нет ли в вас чего-нибудь такого? В жизни это одинаково страшно, я бы этого боялась, как присутствия постороннего.

Более существенного она уже ничего не сказала, хотя примолкла не сразу. По-прежнему двор был пуст и флигеля — как вымершие. Как раньше, над ними носились стрижи. Конец дня горел подобно былинной сече. Стрижи подплывали целой тучей медленно трепещущих стрел и вдруг, обратив назад острия, с криком уносились обратно. Всё было, как раньше. Только в комнате стало чуть темнее.

Сережа молчал, потому что не знал, совладеет ли с голосом, если прервет молчанье. При всякой попытке заговорить у него удлинялся и начинал дробно подрагивать подбородок. Реветь же одному, по своей причине, без возможности свалить это на московские предместья, представлялось ему постыдным. Анну до крайности удручало это молчанье. Еще больше была она недовольна собою. Важнее всего было то, что она на всё была согласна, а ведь это вовсе не явствовало из ее слов. Ей казалось, что всё идет из рук вон гадко и по ее вине. Как всегда в таких случаях, она казалась себе бездушной куклой и, клевета на себя, стыдилась холодной риторики, якобы заключавшейся в ее ответе. И вот, чтобы поправить этот воображаемый грех, и уверенная, что теперь всё пойдет по-другому, она сказала голосом всего этого вечера, то есть голосом, приобретшим сходство с Сережиным:

— Я не знаю, поняли ли вы меня. Я ответила вам согласьем. Я готова ждать, сколько будет надо. Но сперва приведите себя в порядок, мне неведомый, и слишком, вероятно, известный вам самим. Я сама не знаю, о чем говорю. Эти намеки поднимаются во мне против воли. Угадать или догадаться — ваше дело. Затем вот что: ожиданье дастся мне нелегко. А теперь довольно, а то мы изведем друг друга. Теперь послушайте. Если я вам, правда, дорога хоть в половину того... Ну, что вы, ну, не надо, ну, прошу вас, ведь вы всё уничтожите... Ну вот, спасибо.

— Вы что-то хотели сказать, — тихо напомнил он ей.

— Да, конечно, — и не забыла. Я хотела попросить вас спуститься вниз. Правда, послушайте меня, ступайте к себе, умойте лицо, пройдитеесь, надо успокоиться. Вы не согласны? Ну, хорошо. Тогда другая просьба, бедный вы мой. Ступайте всё-таки к себе и обязательно умойтесь. Нельзя с таким лицом казаться на люди. Подождите меня, я зайду за вами, мы пройдемся вместе. И перестаньте мотать головой. Смотреть тоска. Ведь это самовнушенье. Заговорите, попробуйте, — положитесь на меня.

Опять прогромыхали под ним пустоты скошенного надполя, опять вспомнился институтский двор. Опять мысли, вызванные воспоминаньем, понеслись лихорадочно-машинальной чередой, до него не имевшей отношения. Опять очутился он в залитой солнцем комнате, чересчур обширной и потому производившей впечатление необжитой. За его отсутствие свет переместился. Занавеска на среднем окне уже не затеняла стола. Это был тот самый свет, желтый и косой, действие которого продолжалось наверху за углом и, вероятно, откладывало всё более фиолетовые тени на кровать и комод, уставленный склянками. При Сереже это полиловеньё знало еще меру и шло довольно благородно, но как ускорится оно, наверное, без него, как самовластно и победно, воспользовавшись его уходом, накинутся на нее стрижи. Еще есть время предотвратить насилие и нагнать ушедшее, еще не поздно начать всё сызнова и кончить по-другому, еще всё это можно, но скоро будет нельзя. Зачем же он тогда ее послушался и оставил? «Ну и хорошо. Ну и допустим», — в то же время отвечал он из этого горячего Аннина ряда другим лихорадочно-машинальным мыслям, которые неслись мимо него и до него не имели отношения. Он раздернул среднюю занавеску и затянул крайнюю, отчего свет сдвинулся и стол ушел во мрак, а вместо стола из тени вышла и до задней стены озарилась соседняя комната, по которой должна была пройти к нему Анна. Дверь туда стояла настежь. За всеми этими движениями он забыл, что должен был умыться.

«Ну и Мария. Ну и допустим. Мария ни в ком не нуждается. Мария бессмертна. Мария не женщина». Он стоял задом к столу, прислонясь к его краю, сложив накрест руки. Перед ним с отвратительной механичностью неслись пустые институтские помещения, гулкие шаги, незабытые положенья прошлого лета, невывезенные Мариинины тюки. Многопудовые корзины мелькали как отвлеченные понятия, чемоданы в ремнях и веревках могли служить посылками к умозаключениям. Он страдал от этих холодных образов, как от урагана праздной духовности, как от потока просвещенного пустословья. Нагнув голову и скрестив руки, он с раздражением и тоской ждал Анны, чтобы броситься к ней и укрыться от этого пошлого скакового наваждения. «Ну и — с провалом.

Благодарствуйте, и вас также. Ерундили, ерундили, а другой подоспел, и следов не найти. Ну и дай ему Бог здоровья, не знаю и знать не хочу. Ну и — без вести, и бесследно. Ну и допустим. Ну и прекрасно».

А пока он обменивался колкостями с прошлым, фалды его пиджака ерзали по листку почтовой бумаги, записанному сверху и на две трети чистому. Он знал и об этом, но письмо к Коваленке тоже пока находилось в чужом ряду, с которым он пикировался.

Вдруг он в первый раз за истекший год заподозрил, что помог Ильиной очистить квартиру и собрал ее за границу. Бальц, подлец (как это у него внутренне назвалось). Он тут же почувствовал с достоверностью, что — угадал. У него сжалось сердце. Его резануло не прошлогоднее соперничество, а то, что в Аннин час его могло заинтересовать нечто не Аннино, получив недопустимую и для нее обидную живость. Но с тою же внезапностью он сообразил, что чужое вмешательство может грозить ему и нынешним летом, пока сам он не станет суше и положительней.

Он принял какое-то решение и, повернувшись на каблуках, обозрел комнату и стол, точно новое в жизни положение. Закатные полосы вошли в сок и набирались последней алости. Воздух в двух местах был распилен сверху донизу, и с потолка на пол сыпались горячие опилки. Конец комнаты казался погруженным во мрак. Сережа положил почтовую стопку так, чтобы было с руки, и засветил электричество. За всем этим он позабыл, что у них уговорено было с Анной пойти пройтись.

«Я женюсь, — сообщал он Коваленке, — и мне дозарезу нужны деньги. Повесть, о которой я вам говорил, я переделываю в драму. Драма будет в стихах».

И он принялся излагать ее содержание:

«Однажды, в реальных условиях нынешней русской жизни, однако представленных так, что они получают более широкое значение, среди крупнейших воротил одной из столиц зарождается слух, который затем крепнет и обогащается частностями. Он передается изустно, подтверждения ему в газетных публикациях не ищут, потому что дело это противозаконное и по недавно преобразованному праву относится к разряду уголовных. Будто явился человек-охотник запродать себя в полную дру-

гому собственность, и продаваться будет с молотка, а какой в этом смысл и корысть, будет видно на аукционе. Будто не без Уайльда тут, и будто опять от женщин, — в звон, без угадки, где он, перекатывают по молодому купечеству той руки, что дома свои обставляют по эскизам театральных декораторов, а беседу уснащают терминами индийского духоведения. В назначенный день, — ибо даже сведения о месте и дне торгов непостижимым образом до всех доходят, — каждый отправляется за город с опаскою, не одурачен ли он знакомыми и не на посмеяние ли им едет. Но любопытство сильнее, к тому же и погода чудесная, на дворе июнь месяц. Происходит всё на даче, дача новая, никто из них в ней до этого раза не бывал. Народу много, всё своя публика: наследники крупнейших состояний, философы, меломаны, коллекционеры, разборчивые ценители. Стулья рядами, пол приподнятый, вроде эстрады, рояль с занесенной на подпорку крышкой, от рояля несколько вбок столик, на столике молоток. Несколько широких трехстворчатых окон. Вот он выходит. Это очень еще молодой человек. Тут, разумеется, будет затруднение с именем, и действительно, как его назвать, если с первых же шагов человек сам лезет в символы? Однако и символы бывают разные, назвать же его как-нибудь надо, назовем его временно алгебраически, ну, хоть бы Игреком Третьим. Сразу видно, что никакого блеска не будет, что не цирком пахнет, не Калиостро, не из «Египетских (даже) ночей», что родился человек всерьез и даже не без намерения. Видно, что дело не шуточное, что всё совершится в их общую бытность на свете, без отступлений в вымысел, и что им от этого не отвертеться. И потому, со всем простодушием прозы, его, точно на углу Охотного и Дмитровки, встречают аплодисментами. Он объявляет, что тот, кто даст за него всех больше, будет волен в его жизни и смерти. Что он в одни сутки распорядится выручкой, как задумал, и ничего себе не оставит, вслед за чем наступит его полная и беспрекословная неволя, продолжительность каковой он сейчас и полагает в руки будущего хозяина, ибо не только будет тот властен пустить его в оборот, в какой захочет, но и вовсе его прикончить, когда и как ему заблагорассудится. Подложная записка о самоубийстве, наперед обеляющая убийцу, у него го-

това. Любой другой документ, имеющий покрыть знаками его доброй воли всё, что с ним ни случится, он изготовит при надобности, когда укажут. «А теперь, — говорит Игрек Третий, — я поиграю вам и почитаю. Играть я буду одно непредвиденное, то есть экспромтом, читать — готовое, хотя и свое». И вот тогда по эстраде проходит новое лицо и садится за столик. Это друг Игрека Третьего. В отличие от остальных друзей, распроставшихся с ним поутру, этот остался при Игреке, по просьбе последнего. Он любит его не меньше других, но в отличие от них не теряет хладнокровья, потому что не верит в осуществление Игрековой затеи. Служит он в казначействе и очень исполнительный человек. Вот Игрек и оставил его выкрикивать наддачи при совершенных сделках, которой сам оставленный не придает цены. Он остался, чтобы помочь сбыться выдумке, в сбыточность которой не верит, а потом в заключение отстукать друга в далекий путь по всем правилам аукционного искусства. Тут начинается дождь»...

«Тут начинается дождь», — вывел Сережа на краю восьмого листочка и перенес писанье с почтовой бумаги на писчую. Это был первый черновой набросок из тех, что пишутся один или два раза в жизни, ночь напролет, в один присест. Они по необходимости изобилуют водой, как стихией, по самой природе предназначенной воплощать однообразные, навязчиво-могучие движения. Ничего, кроме самой общей мысли, еще не оформленной, в такие первые вечера не оседает на записи, лишеной живых подробностей, и только естественность, с какой рождается эта идея из пережитых обстоятельств, бывает поразительна.

Дождь был первой подробностью наброска, остановившей Сережу. Он перенес ее с осьмушки на бумагу четвертного формата и принялся марать и перемаривать, добывая желанной наглядности. Местами он выводил слова, которых нет в языке. Он оставлял их временно на бумаге, с тем, чтобы потом они навели его на более непосредственные протоки дождевой воды в разговорную речь, образовавшуюся от общенья восторга с обиходом. Он верил, что эти промоины, признанные и всем понятные, придут ему на память, и их предвосхищение засти-

дало ему зренье слезами, точно оптическими стеклами не по мерке.

Если бы он не сидел, как всякий пишуший, несколько боком к столу, обратив спину к обоим доступам в комнату, или на минуту повернул голову вправо, он бы до смерти напугался. В дверях стояла Анна. Она исчезла не мгновенно. Отступив на шаг, на два от порога, она простояла на виду и в близком соседстве ровно столько, сколько ей казалось надобным, чтобы не дать лишку ни в вере, ни в суеверьи. Ей не хотелось тягаться с судьбой ни намеренной мешкотностью, ни слепой поспешностью. Она была одета, как на прогулку. В руках у ней был туго свернутый зонт, потому что за истекший промежуток она не порвала связи с миром, и в комнате у нее было окно. К тому же, как спускаться к Сереже, она благоразумно взглянула на барометр, стоявший на урагане. Выросши, подобно облаку, за Сережиной спиной, она, хотя и во всем черном, белела и дымилась в закатной полосе нестерпимой крепости, которая била из-под сизо-лиловой грозовой тучи, наседавшей на сады переулка. Потoki света растворяли Анну вместе с паркетом, который едко клубился под ней, как что-то парообразное. По двум-трем движеньям, произведенным Сережей, Анна, как в игре в короли, разгадала и его беду и ее пожизненную неисправимость. Уловив, как двинул он подушкой кулака по глазу, она отвернувшись, подобрала юбку и, пригибаясь на ходу, в несколько сильных и широких шагов вышла на цыпочках из классной. Попав в коридор, она пошла по нему немного поспешнее и опустила юбку, и то с тем же покусываньем губ и так же бесшумно.

Отказывать ему не приходилось трудиться. Всё произошло само собой. Ее окно уже во всю ширь было занято перемещеньями неба. По виду его лиловых нагромождений было ясно, что уже и до ближайшего угла сухой не добежать. Тем скорее надо было что-нибудь предпринять, чтобы только не оставаться одной с этой свежей и быстро нарывающей тоскою. При одном допущеньи, что можно на всю ночь застрять у себя в одиночестве, она леденела от ужаса. Что же случилось бы с ней, если бы это еще и случилось? Пробежав двором в переулок, она невдалеке от дома наняла извозчика, стоявшего с уже поднятым верхом. Она поехала в Чернышевский

переулочек к знакомой англичанке, в надежде, что погода будет долгая и неистовая, так что ее нельзя будет отпустить домой, и знакомой волей-неволей придется приютить ее на ночь.

«...Итак, на даче начинается дождь. Вот что совершается перед окнами. Старые березы целыми стаями отпускают листья на волю и устраивают им проводы с пригорка. Тем временем свежие вороха, путаясь у них в волосах, взвиваются белесыми вихрями нового пореденья. Проводив их и потеряв из виду, березы поворачиваются к даче, наступает тьма, и, еще раньше чем раздается первый удар грома, внутри начинается игра на рояле.

Темой своей Игрек выбирает ночное небо в том виде, в каком оно выйдет из бани, в кашемировом пуху облаков, в купоросно-ладанном пару трепанной рощи, с сильным проступом звезд, промытых до последних скважинок и будто ставших крупнее. Блеск этих капель, которым никак не расстаться с пространством, как бы они от него ни старались оторваться, им уже развешан над инструментальной чашей. Теперь, разбегаясь по клавиатуре, он бросает сделанное и возвращается к нему, предает его забвению и наводит на память. Стекла плющатся потоками ртутного студня, перед окнами с охалками огромного воздуха ходят березы и всюду им сорят, осыпая косматые водопады, а музыка, знай, отвешивает поклоны направо и налево и всё что-то с дороги обещает.

И замечательно, всякий раз, как кто-нибудь пробует усомниться в честности ее слова, играющий обдает маловера каким-то неожиданным, упорно возвращающимся чудом в звуках. Это чудо его собственного голоса, то есть чудо их завтрашнего способа чувствования и запоминания. Сила этого чуда такова, что она шутя могла бы раскрыть таз фортепьяну, попутно сокрушив кости купечеству и венским стульям, а она рассыпается серебристою скороговоркой и звучит тем тише, чем чаще и шибче возвращается.

Так же точно он и читает. Он выражается так: я прочту вам столько-то полос белого стиха, столько-то колонок рифмованного. И опять, всякий раз, как кому-нибудь кажется, будто этому ковровому вранью безразлично,

лечь ли теменем или пятками в полюс, появляются описанья и уподобленья невиданной магниточувствительности. Это — образы, то есть чудеса в слове, то есть примеры полного и стрелоподобного подчиненья земле. И значит, это — направленья, по которым пойдет их завтрашня нравственность, их устремленность к правде.

Но как странно, видимо, переживал всё этот человек. Точно кто попеременно то показывал ему землю, то прятал ее в рукав, и живую красоту он понял как предельное отличие существованья от несуществованья. В том-то и новизна его, что эту разницу, мыслимую не долее мгновенья, он удержал и возвел в постоянный поэтический признак. Но где он мог видеть эти явления и исчезновенья? Не голос ли человечества рассказал ему о мелькающей в смене поколений земле?

Всё это сплошь и без изъятий — непреложное искусство, всё оно говорит о бесконечностях по нашепту границ, всё рождается из богатейшей, бездонно-задушевной земной бедности. Он перемежает игрою чтение, он слышит шелест французских фраз, его обдают духами. Его вполголоса просят забыть обо всем и только продолжать исполняемое, и не прекращать его, — и всё это не то.

И вот он поднимается и говорит, что их любовь до него доходит, но что они полюбили его недостаточно. А то бы они вспомнили, что они на аукционе, и для чего он их собрал. Он говорит, что не может им открыть своих планов, а то они опять вмешаются, как бывало уже столько раз, и предложат другой выход и другую помощь, и даже, может статься, более щедрую, но обязательно неполную, и не ту, которую ему подсказало сердце. Что в той крупной купюре, в какой выпущен человек, ему нет приложенья. Что ему надо разменять себя, и они должны ему в этом помочь. И пускай его затея кажется им гибельной причудою. Всё равно, он либо слышен им весь, либо нет. И если он им слышен, то пусть тогда и слепо ему подчинятся. Он возобновляет игру и чтение, в перерывах трещат имена числительные, праздным рукам и глотке приятеля подыскивается работа, и вот через минут двадцать безрассуднейшей лихорадки, в самый разгар глицериновой хрипоты, на последнем гребне беспримерной испарины он достаётся наизадушевной-

шему из искателей, человеку строжайших правил и прославленному благотворителю. И не сразу, не в этот вечер отпускает его тот на свободу...»

V

Разумеется, это не подлинник Серезиной записи. Но он и сам не довел ее до конца. В голове у него осталось много такого, что не попало на бумагу. Он как раз обдумывал сцену городских беспорядков, когда в комнату, ведя за руку упиравшегося Гарри, видно стыдившегося предстоявшего скандала, вломилась Маргарита Оттоновна, насквозь мокрая и разъяренная.

По Серезиной мысли предполагалось, что у благотворителя с подневольным на третий, скажем, день сделки произойдет разговор большой значительности и проникновенности. Было задумано, что, поселив Игрека отдельно и истомив его роскошью ухода, а себя — заботами, богач не вынесет тоски и пойдет к нему в пристройку с просьбой, чтобы тот шел на все четыре стороны, потому что ему никак не придумать, как им воспользоваться подостойнее. А Игрек откажется. И вот в ночь этого разговора им должны будут принести в деревню весть о происшедших в городе беспорядках, начавшихся с буйств в околотке, куда Игрек подбросил свои миллионы. Обоих эта новость обескуражит, Игрека же в особенности тем, что в буйствах, далеко прогремевших, он усмотрит поворот к прежнему, а он надеялся на обновление никому не ведомое, то есть на полное и бесповоротное. И тогда он уйдет...

— Нет, это неслыханно, я зонтик чуть не сломала. Je l'admets à l'égard des domestiques, mais qu'en ai-je à penser si...¹ Но, Боже, что с вами? Вы нездоровы? А я-то хороша. Постойте минуту, сейчас. Гарри, моментально, моментально в постель! Разотрете его водкой, Варя, а поговорим завтра, нечего носом сопеть, надо вперед было думать. Ступай, Гарюша. Пятки, пятки главное, а грудь скипидаром. Завтра всем ласка найдется: и вам, и Лаврентию Никитичу, а с миссис первый ответ.

— А что она сделала?

¹ Я это допускаю в отношении прислуги, но что думать, когда...

— Наконец-то. Я при них не хотела. Я сразу ничего не заметила, не сердитесь. У вас неприятности? Что-нибудь в семье?

— Всё-таки, виноват, чем вам не угодила миссис?

— Какая миссис? Ничего не понимаю. Как вы покраснели! Ага, так вот оно что. Так, так. Ну, хорошо. Да, так значит — о моей камеристке. Ее нет с утра. Она ушла со двора вместе с остальной прислугой. Но те хоть к вечеру одумались...

— А миссис Арильд?

— Но это неприлично. Почему я знаю, где ночует миссис Арильд? *Suis-je sa confidente?*¹ Я вот зачем у вас задержалась, добрейший Сергей Осипович. Я попрошу вас, голубчик, завтра с утра присмотреть за Гарри, чтобы он собрал свои игры и учебники. Пускай сам, как сумеет, их уложит. Разумеется, вы всё это потом переделаете и виду не подавая, что это входило в ваши планы. Я чувствую, вы хотите спросить о белье и об остальных вещах? Всё это поручено Варе и вас не касается. Я считаю, что, где только можно, детей надо держать в иллюзии некоторой самостоятельности. Тут и видимость вырабатывает благотворную привычку. Затем я желала бы, чтобы в будущем вы уделяли ему больше внимания, чем это делалось до сих пор. На вашем месте, я бы опускала абажур чуть ниже. Позвольте, ну, вот хоть так, что ли. Не правда ли, так лучше, как по-вашему? Но я боюсь простудиться. Мы едем послезавтра. Спокойной ночи!

Однажды, в начале знакомства, Сережа разговорился с Арильд о Москве и стал поверять ее познания. Кроме Кремля, осмотренного ею в достаточности, она назвала ему несколько частей, в которых проживали ее знакомые. Как теперь оказалось, из перечисленных названий он удержал в памяти только два — Садовую-Кудринскую и Чернышевский переулок. Откидывая позабытые направления, точно и Аннин выбор был ограничен его памятью, он теперь готов был поручиться, что Анна проводит ночь на Садовой. Он был в этом уверен, потому что тогда ему был прямой зарез. Отыскать ее в такой час на большой улице, без слабого представления о том,

¹ Разве я поверенная ее тайн?

где и у кого искать, не было возможности. Другое дело — Чернышевский, где ее наверняка не могло быть по всему поведению его тоски, которая, подобно собаке, бежала впереди его по тротуару, и, вырываясь из рук, его за собой тащила. В Чернышевском он нашел бы ее обязательно, если бы только было мыслимо, чтобы живая Анна своей управою и сама была в том месте, куда ее еще только хотелось (и как хотелось!) поместить. Уверенный в неуспехе, он бежал взглянуть своими глазами на несужденную возможность, потому что был в том состоянии, когда сердце готово лучше глотать черствейшую безнадежность, только бы не оставаться без дела.

Было полное уже утро, мутное и холодное. Ночной дождь только прошел. Что ни шаг, над серым, до черноты отсыревшим гранитом загоралось сверканье серебряных тополей. Темное небо было, как молоком, окроплено их беловатой листвой. Их обитые листья испещряли мостовую грязными клочками рваных расписок. Чудилось, будто гроза, уйдя, возложила на эти деревья разбор последствий, и всё утро, путанное и полное неожиданностей, — в их седой и свежей руке.

По воскресеньям Анна ходила к обедне в англиканскую церковь. Сереже помнилось с ее слов, что тут где-то поблизости должна жить одна из ее знакомых. И потому со своими заботами он расположился как раз против кирки.

Он бросал пустые взгляды в открытые окна спавшего пастората, и сердце глотательными движениями подхватывало куски картины, жадно уписывая сырой кирпич флигелей вместе с мокрою зеленью деревьев. Его тревожные взоры кромсали также и воздух, который поступал всухомятку неведомо куда, минуя легкие.

Чтобы часом не навлечь чьих-нибудь подозрений, Сережа временами беспечно прогуливался по всему переулку. Только два звука нарушали его сонную тишину: Сережины шаги и шум какого-то двигателя, работавшего неподалеку. Это была ротационная машина в типографии «Русских Ведомостей». Нутро Сережи было всё в кровоподтеках, он задыхался от богатства, которое должен был и еле был в силах вместить.

Силой, расширявшей до беспредельности его ощущение, была совершенная буквальность страсти, то есть то ее качество, благодаря которому язык кишит образами, метафорами и еще более того — загадочными образованиями, не поддающимися разъяснению. Разумеется, весь переулочек в его сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною. Тут Сережа был не одинок, и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало. Однако чувство было еще шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, то есть во что обходится ей сверхчеловеческое достоинство природы. Она молча красовалась в его присутствии и не звала его на помощь. И, помирая с тоски по настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепию в его кратчайшем и драгоценнейшем извлечении, он смотрел, как, обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Этот кирпич багрового нерусского обжига казался привозным, и почему-то — из Шотландии.

Из ночной редакции вышел человек в пальто и мягкой шляпе. Он, не оглядываясь, пошел по направлению к Никитской. Чтобы не вызывать в нем подозрений, если бы он оглянулся, Сережа перешел с газетного тротуара на шотландский и зашагал в сторону Тверской. В двадцати шагах от церкви он увидел Арильд в светелке противоположного дома. В эту минуту она подошла изнутри к окошку. Когда они справились с неожиданностью, они заговорили вполголоса, как в присутствии спящих. Это делалось ради Анниной приятельницы. Сережа стоял на середине мостовой. Было похоже, будто они говорят шепотом, чтобы не разбудить столицы.

— Я давно слышу, — сказала Анна, — всё кто-то ходит, не спит. А вдруг, думаю, это он! Отчего вы не подошли сразу?

Вагонный коридор швыряло из стороны в сторону. Он казался бесконечным. За шеренгой лакированных, плотно задвинутых дверей спали пассажиры. Мягкие рессоры глушили вагон. Он походил на великолепно взбитую чугунную перину.

Всего приятнее колыхались края пуховика, и, чем-то напоминая катанье яиц на Пасху, по коридору, в сапогах и шароварах, в круглой шапке и со свистком на ремешке, катился толстый обер-кондуктор. Ему было жарко в зимней обмундировке, и в ее облегчение он поправлял на ходу строгое пенснэ. Оно поражало своей мелкотой среди крупных капель пота, слезивших сплошь его лицо, точно свежий срез мещерского сыра. В вагоне другого какого-нибудь класса, заметив Сережину позу, он бы обязательно взял пассажира за талию или другим каким-нибудь манером вывел бы из самозабвения. Сережа дремал, положив локти на борт опущенного окошка. Он дремал и просыпался, зевал, восхищался видами и тер глаза. Он высовывался из окна и горланил мотивы, которые в свое время игрывала Арильд, и никто не слышал, как он их орал. Когда поезд с закруглений выходил на прямую, коридором завладевал стройный, неподвижный сквозняк. Всласть набегавшись и нагоготавшись, дикие двери тамбуров и уборных вытягивали крылья, и под гул возраставшей скорости было удивительно чувствовать, что ты не то чтобы на тяге, а попросту сам в числе тянущей птицы, с бравурой Шумана в душе.

Из купе его выгнала не одна жара. Ему было неловко в обществе Фрестельнов. Потребна была неделя-другая, чтобы нарушившиеся отношенья пришли в старый порядок. В их ухудшении он меньше всего винил Маргариту Оттоновну. Он признавал, что если бы даже он был ей приемным сыном, а спуск и потворство ему во всем — главной ее обязанностью, то и в таком случае ей было отчего прийти в отчаянье в недавней предотъездной суматохе.

После свежего ночного выговора он изволил пропасть на весь канун отъезда, когда заведомо знал, какой содом подымается в хозяйстве с самых спозаранок.

— Шторы, — неожиданно взвизгивал кто-нибудь, и из кусков рогожи чудесно складывался, совершенно как живой, Егор, — шторы, вот наказание!

— Чего — шторы?

— Чаво — шторы, рыло! Так им, по-твоему, и висеть?

— А что им делается?

— А ты их выколачивал?

— Лаврентий, чтоб тебя намочило, отстань, дьявол!

— Варя, дорогая, вы, знаете ли, не на гуляньи.

«...Но в конце концов черт с ней. Арильд, так Арильд. Жаль, конечно, беднягу: дрянь женщина и интриганка, но что поделаешь, раз нашла коса на камень. Однако тогда и разговор другой, если на то пошло, и всё на свете можно делать по-человечески. Поезд с Брянского пять сорок пять, проводил — и баста. И так, чтобы дома ни одна душа по тебе не сказала, где ты был и что потерял. Напротив, всякий подумает: вот истинный мужчина, вот порядочный, уважающий себя человек. Но, видно, это отсталость, и теперь всё по-другому. Запереться ему, видите ли, надо с проводов, и его не смущает, что все по часам будут наблюдать, как он там... осваивается и при-выкает. Ну, что тут делать? Рассчитать его?..»

— Не замайте, барыня, вы не так, я сама подоткну, только вот — о, чтоб тебя, дьявол, гниль какая! Второй лопнул, я говорила, — веревкой.

«...Но как его считаешь, когда кругом такая горячка и совершенно ясно из происшедшего, что теперь ему заработок не в забаву. Но позвольте, позвольте, тогда и должность не баловство, и ею надо дорожить. В извиненье ему можно сказать, что существует новое декадентское выраженье «переживать». Однако и переживать, то есть выставлять свои секреты для внешнего обозренья, вероятно, можно по-человечески, между тем как на другое утро это совершенно неузнаваемый, ни на что не пригодный человек, Христос Христом, сама пассивность: предложи всерьез, — головой будет ящики заколачивать; а увы, никак не это требуется в хозяйстве, и не с такою целью держат воспитателя в порядочной семье... И вот они едут, и он с ними. Зачем же он с ними? А как его рассчитать? Между прочим в Туле они опоздали к пассажирскому, с которым был согласован московский поезд, и в окно вагона с ужасом увидели, как побегал он вбок от них по встречному калужскому направлению. Эта ночь была ужасна... Зато их вознаградили за десятичасовую муку. С час тому назад мимо Тулы по Сызрано-Вяземской железной дороге прошел этот дальний, и они в нем разместились с комфортом, которого не могла дать ночная пересадка. Антон Карлович и Гарри спят, хотя через двадцать минут их придется поднять, бедняжек».

Обер-кондуктору был вагон по душе, и он то и дело в него наведывался. Виды же поистине попадались изумительные. Вот хотя бы в настоящую минуту, когда, застыв на всем разное, грязный и громкий поезд плыл и как бы покоился на широко заведенной дуге из крутого и жаркого песку, а против насыпи, далеко за поймами, на чуть вздрагивавшем пригорке плыла и как бы покоилась большая кудрявая усадьба. Когда б не пятнадцать верст предстоящего пути, можно было бы подумать, что это Рухлово: так походили на всё слышанное белые проблиски барского дома и ограда парка, помятая неровностями косогора, на который она как бы была целиком положена, как снятое с шеи ожерелье. В парке было много серебристых тополей. «Дорогие!» — прошептал Сережа и, зажмурившись, подставил волосы под прыжки встречного ветра.

Итак, вот для какой надобности существует у людей слово «счастье». Хотя и это были одни беседы и он только делил ее хлопоты и снаряжал в дорогу... Хотя и у них будет другая, полная близость... Но ближе, чем в эти незабвенные десять часов, им больше никогда не стать. Всё на свете понято, больше нечего понимать. Остается жить, то есть рассекать руками пониманье и пропадать в нем; остается нравиться ему, как оно нравится им, раскинутое кругом, с железными дорогами, проведенными по его лицу и срокам. Какое счастье!

Но какая случайность, что она заговорила о родне! Как легко могло этого не случиться. Мерзавцы, много они понимают, что роняет, что возвышает род. Но о ее несчастном отце как-нибудь в другой раз (поразительный случай!). Теперь понятно, откуда у ней такие знания, так что она кажется старше себя вдвое и вдесятеро холостее. Всё это у нее по наследственности. Вот почему она так спокойно всем этим владеет. Еще бы она стала себе удивляться и добиваться за свои дары шумного имени. Оно и так у нее было в девичестве и — прегромкое.

Ее предки были выходцами из Шотландии. За этими подробностями была упомянута Мария Стюарт. И теперь невозможно было отделаться от чувства, будто этого-то имени и недоставало всё утро облачному Чернышевскому переулку.

Но вот строгий обер-кондуктор тронул оглошшего путешественника за талию и предупредил, что ему и его соседям по купэ слезать на следующей остановке.

Так передвигались люди тем последним по счету летом, когда еще жизнь по видимости обращалась к отдельным, и любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть.

Сереза потянулся, заворочался и пошел зевать без отступу, раз от разу всё неистовей. Вдруг это прекратилось. Он проворно приподнялся на локте и с трезвой быстротой осмотрелся кругом. На полу пролитою лужей стоял отсвет дворового фонаря. «Зима, — сразу сообразил он, — и это первый сон у Наташи в Усолье». Никто, по счастью, не подсмотрел его полуживотного пробуждения. И — ах! — да ведь вот что, как бы не забыть. Ему снилось нечто бесформенное, и такое, что и сейчас еще голову ломит. Всего замечательнее, что у этой чепухи было прозвище, пока он ее видел. Это — Лемох, но поди доищись в этом смысла. Одно несомненно: надо встать, и аппетит у него волчий, если только он не проспал гостей.

Через минуту он уже тонул в байковых, отдававших иодоформом зятниных объятиях. У того в кулаке осталась подковырка для вскрыванья консервов, и он бросился к Серезе с рукой, отведенной наотлет. Это, вместе с торчавшей из кармана слуховой трубкой, несколько испортило сладость лобзаний, как материализовавшаяся наощупь искренность. И раскупорка консервов не могла возобновиться с прежним совершенством и захромала. Поперек коробок посыпались распросы, отрывистые и деланно-простецкие. Сереза стоял, радовался и недоумевал, зачем дурака ломать, когда можно им быть по-природному, не стараясь. Они не любили друг друга.

На столе чистым строем стояли бодрые, вполне выспавшиеся водочные рюмки. И сложный ассортимент духовых и ударных закусок радовал глаз. Над ними покапельмейстерски высились черные винные бутылки и каждую минуту готовы были грянуть и отмахать оглушительное вступление ко всяческим хохотам и каламбурам. Зрелище было тем внушительнее, что по всей Рос-

сии продажа вина была запрещена, завод же, как видно, жил автономною республикою.

Было уже поздно, и детей обещали показать в кроватках.

Вообще вся комната точно плавала в коньяке. От освещенья ли это или от подбора мебели, но казалось, будто и полы натерты не воском, а канифолью, и нога, скользя, нащупывала под собой не завощенные расщеплины, а склеившийся и как бы нафабранный волос. Жаркой желтизною обстановки («Карельская береза, ты что думаешь?» — зачем-то соврал Калязин) было, как лимонною настойкою, налито всё, что обладало гранями и было способно играть. Сережа обладал этими способностями. По его расчетам, пронзительно освещенный дом должен был казаться медвежьей сине-белой ночи чем-то вроде крошечной, полной угольков канфорки, вздутой среди сугробов.

— Ага, подморозило! Очень рад, — сказал он, став за полу гардины и вглядываясь во мрак.

— М-да, скрепило, — рассеянно промычал зять, протирая платком зайнтаренные соусами пальцы.

— А то у меня сапог нет; я не привез, не догадался купить.

— Дело поправимое, здесь заведешь. Но о чем мы, помилуй, тут, моносказать, человек из самого, моносказать... Нельма, сибирская рыба. И максун. Слыхал ли ты, брат, про таких? Нет? Ну вот я и сам знал, что не слыхал.

Сереже становилось всё веселее, и неизвестно, какой бы выходкой это у него кончилось. В это время из коридора прикатился смутный, смешанный топот ног. Там раздевались. Скоро в столовую, и все с воздуха, румяные, вошли: Наташа, незнакомая Сереже девушка и сухой, определенный и очень быстрый человек, к которому Сережа и бросился вперед Калязина и поздоровался крупно, радостно и почти испуганно. Вся веселость с него слетела. Во-первых, он знал этого человека, и, кроме того, перед ним стояло нечто высокое, чуждое и всего Сережу с головы до ног обесценивавшее. Это был мужской дух факта, самый скромный и самый страшный из духов.

— Брат ваш как?.. — смущенно начал Сережа и запнулся.

— Жив пока, — отвечал Лемох, — ранен в ногу; у меня на поправке. Я, верно, его у себя устрою. Рад встрече. Здравствуйте, Павел Павлович.

— Представьте себе, — еще растерянное замямлил Сережа, — может, он это скрывал по долгу службы, но никто не знал, что это мобилизация. Все думали — маневры. Виноват, я не знаю, как называются эти учебные передвиженья. Во всяком случае думали, что это что-то примерное. А это их уже гнали на войну. Словом, позапрошлым летом в июле я с ними виделся. И оцените. Их часть шла на баржах мимо нас, они пристали на ночлег как раз близ имения, где я тогда служил воспитателем. Это было за два дня до объявления войны. Мы только потом это раскусили. Вы поняли?

— Да, я знаю про ваш разговор, брат рассказывал.

И Сережа только не сознался, что и в ту ночную встречу постеснялся спросить у вольноопределяющегося, как его фамилия.

ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Памяти Райнера Марии Рильке

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходит курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлетайке. С ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой. Втроем с отцом они говорят о чем-то одном, во что все вместе посвящены, с одинаковой теплотой, но женщина перекидывается с мамой отрывочными словами по-русски, незнакомец же говорит только по-немецки. Хотя я знаю этот язык в совершенстве, но таким его никогда не слышал. Поэтому тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымысленности.

В пути, ближе к Туле, эта пара опять появляется у нас в купе. Говорят о том, что в Козловке-Засеке курьерскому останавливаться нет положенья, и они не уверены, скажет ли оберкондуктор машинисту вовремя придержать у Толстых. Из следующего затем разговора я заключаю, что им к Софье Андреевне, потому что она ездит в Москву на симфонические, и еще недавно была у нас, то же бесконечно важное, что символизировано буквами гр. Л. Н. и играет скрытую, но до головоломности прокуренную роль в семье, никакому воплощению не поддается. Оно видно в слишком раннем младенчестве.

Его седина, впоследствии подновленная отцовыми, Репинскими и другими зарисовками, детским воображеньем давно присвоена другому старику, виденному чаще и, вероятно, позднее — Николаю Николаевичу Ге.

Потом они прощаются и уходят в свой вагон. Немного спустя летящую насыпь берут разом в тормоза, мелькают березы, во весь раскат полотна сопят и сталкиваются тарелки сцеплений, из вихря певучего песку облегченно вырывается кучевое небо, полуповоротом от рощи, расплываясь в русской к высадившимся подпархивает порожняя пара пристяжкой. Мгновенно волнуемая, как выстрел, тишина разъезда, ничего о нас не ведающего. Нам тут не стоять. Нам машут на прощанье платками, мы отвечаем. Еще видно как их подсаживает ящик. Вот, отдав барыне фартук, он привстал, краснорукый, чтобы поправить кушак и подобрать под себя длинные полы поддевки. Сейчас он тронет. В это время нас подхватывает закругленье, и медленно перевортываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествие забываются, и, как можно предположить, навсегда.

2

Проходит три года, на дворе зима. Улицу на треть укоротили сумерки и шубы. По ней бесшумно носятся кубы карет и фонарей. Наследованью приличий, не раз прерывавшемуся и раньше, положен конец. Их смыло волной более могущественной преемственности, — лицевой.

Я не буду описывать в подробностях, что ей предшествовало. Как в ощущеньи, напоминавшем «Шестое чувство» Гумилева, десятилетку открылась природа; как первой его страстью в ответ на пятилепестную пристальность растенья явилась ботаника; как имена, отысканные по определителю, приносили успокоение душистым зрачкам, безвопросно рвавшимся к Линнею, точно из глухоты к славе.

Как весной девятьсот первого года в Зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок. Как первое ощущение женщины связалось у меня с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического

парада под барабан. Как раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидал на них форму невольниц. Как летом девятьсот третьего года в Оболенском, где по соседству жили Скрябины, купаясь, тонула воспитанница знакомых, живших за Протвой. Как погиб студент, бросившийся к ней на помощь, и она затем сошла с ума, после нескольких покушений на самоубийство с того же обрыва. Как потом, когда я сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн, и лежал без движенья в гипсе, горели за рекой эти знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат. Как, натягиваясь, точно запущенный змей, колотилось косоугольное зарево, и вдруг, свернув трубою лучинный переплет, кувырком ныряло в кулебячные слои серомалинового дыма.

Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска, облаком вставшего со второй версты над лесною дорогой, и вселявшего убежденье, что это горит близкая ему женщина с тремя детьми и трехпудовой глыбой гипса, которой не поднять, не боясь навсегда ее искалечить.

Я не буду этого описывать, это сделает за меня читатель. Он любит фабулы и страхи и смотрит на историю, как на рассказ с непрекращающимся продолжением. Неизвестно, желает ли он ей разумного конца. Ему по душе места, дальше которых не простирались его прогулки. Он весь тонет в предисловиях и введениях, а для меня жизнь открывалась лишь там, где он склонен подводить итоги. Не говоря о том, что внутреннее членение истории навязано моему пониманью в образе неминуемой смерти, я и в жизни оживал целиком лишь в тех случаях, когда заканчивалась утомительная варка частей, и, пообедав целым, вырывалось на свободу всюю мыслимой ширью оснащенное чувство.

Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками и весь день на побегушках. За ней, отставая в вихре снежинок, гонятся вихрем фонари. Дорогой из гимназии имя Скрябина, всё в снегу, соскакивает с афиши мне на закорки, я на крышке ранца заносу его домой, от него натекает на подоконник. Обожанье это бьет меня жесточе и неприкрашеннее лихорадки. Завидя его,

я бледнею, чтобы вслед за тем густо покраснеть именно этой бледности. Он ко мне обращается, я лишаюсь соображения и слышу, как под общий смех отвечаю что-то невпопад, но что именно, — не слышу. Я знаю, что он обо всем догадывается, но ни разу не пришел мне на помощь. Значит, он меня не щадит, и это именно то безответное, неразделенное чувство, которого я и жажду. Только оно, и чем оно горячее, тем больше, ограждает меня от опустошений, производимых его непередаваемой музыкой.

Перед отъездом в Италию он заходит к нам прощаться. Он играет, — этого не описать, — он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничает, шутит. Мне всё время кажется, что он томится скукой. Приступают к прощанью, раздаются пожеланья, кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое. Всё это говорится на ходу, и возгласы, теснясь в дверях, постепенно передвигаются к передней. Тут всё опять повторяется с резюмирующей порывистостью и крючком воротника, долго не попадающим в туго ушитую петлю. Стучит дверь, дважды поворачивается ключ. Проходя мимо рояля, всем петельчатым свеченьем люпитра, еще говорящего о его игре, мама садится просматривать оставленные им этюды, и только первые шестнадцать тактов слагаются в предложенье, полное какой-то удивляющейся готовности, ничем на земле невознаградимой, как я без шубы с непокрытой головой скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной Мясницкой, чтобы его воротить или еще раз увидеть.

Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отряжала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в облик исконной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети.

Конечно, я не догнал его, да вряд ли об этом и думал. Мы встретились через шесть лет, по его возвращении из-за границы. Срок этот упал полностью на отроческие годы. А как необозримо отрочество, каждому известно. Сколько бы нам потом ни набегало десятков, они бессильны наполнить этот ангар, в который они залетают за воспоминаниями, порознь и кучею, днем и ночью, как учебные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое, и Фауст, переживший их дважды, прожил сущую невообразимость, измеримую только математическим парадоксом.

Он приехал, и сразу же пошли репетиции Экстаза. Как бы мне хотелось заменить теперь это название, отдающее тугою мыльною оберткой, каким-нибудь более подходящим! Они происходили по утрам, путь туда лежал разварной мглой, Фуркасовским и Кузнецким, тонувшими в ледяной тюре. Сонной дорогой в туман погружались висячие языки колоколен. На каждой поразу ухал одинокий колокол. Остальные дружно безмолвствовали всем воздержаньем говевшей меди. На выезде из Газетного Никитская была яйцо с коньяком в гулком омуте перекрестка. Голося, въезжали в лужи кованые полозья, и цокал кремь под тростями концертантов. Консерватория в эти часы походила на цирк порой утренней уборки. Пустовали клетки амфитеатров, медленно наполнялся партер. Насилу загнанная в палки на зимнюю половину, музыка шлепала оттуда лапой по деревянной обшивке органа. Вдруг публика начинала прибывать ровным потоком, точно город очищали неприятелю. Музыку выпускали. Пестрая, несметно ломящаяся, молниеносно множаящаяся, она скачками рассыпалась по эстраде. Ее настраивали, она с лихорадочной поспешностью неслась к согласью, и вдруг, достигнув гула неслыханной слитности, обрывалась на всём басистом вихре, вся замерев и выровнявшись вдоль рампы.

Это было первое поселенье человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. На участке возводилось невымышленное лирическое жилище, материально равное всей, ему на кирпич перемолотой, вселенной. Над плетнем симфонии загоралось солнце Ван Гога.

Ее подоконники покрывались пыльным архивом Шопена. Жильцы в эту пыль своего носа не совали, но всем своим укладом осуществляли лучшие заветы предшественника.

Без слез я не мог ее слышать. Она вгравировалась в мою память раньше, чем легла в цинкографические доски первых корректур. В этом не было неожиданности. Рука, ее написавшая, за шесть лет перед тем легла на меня с не меньшим весом.

Чем были все эти годы, как не дальнейшими превращениями живого отпечатка, отданного на произвол рота? Не удивительно, что в симфонии я встретил завидно счастливую ровесницу. Ее соседство не могло не отзываться на близких, на моих занятиях, на всем моем обиходе. И вот как оно отзывалось.

Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К его возвращению я был учеником одного, поныне здравствующего композитора. Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое, впрочем важно лишь то, что если бы говорили и противное, всё равно, жизни вне музыки я себе не представлял.

Но у меня не было абсолютного слуха. Так называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты. Отсутствие качества, ни в какой связи с общою музыкальностью не стоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покоя. Если бы музыка была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этим абсолютным слухом не интересовался. Я знал, что его нет у выдающихся современных композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер и Чайковский были его лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось всё, что было самого суеверного и самоотреченного во мне, и потому всякий раз, как за каким-нибудь вечерним вдохновеньем окрылялась моя воля, я утром спешил унижить ее, вновь и вновь вспоминая о названном недостатке.

Тем не менее у меня было несколько серьезных работ. Теперь их предстояло показать моему кумиру. Устройство встречи, столь естественной при нашем знакомстве домами, я воспринял с обычной крайностью. Этот

шаг, который при всяких обстоятельствах показался бы мне навязчивым, в настоящем случае выросстал в моих глазах до какого-то кошунства. И в назначенный день, направляясь в Глазовский, где временно проживал Скрябин, я не столько вез ему свои сочиненья, сколько давно превзошедшую всякое выраженье любовь и свои извиненья в воображаемой неловкости, невольным поводом к которой себя сознавал. Переполненный номер четвертый тискал и подкидывал эти чувства, неумолимо неся их к страшно близившейся цели по бурому Арбату, который волокли к Смоленскому по колено в воде мохнатые и потные вороные лошади и пешеходы.

4

Я оценил тогда, как вышколены у нас лицевые мышцы. С перехваченной от волненья глоткой, я мямлил что-то отсохшим языком и запивал свои ответы частыми глотками чаю, чтобы не задохнуться или не сплеховать как-нибудь еще.

По челюстным мослам и выпуклостям лба ходила кожа, я двигал бровями, кивал и улыбался, и всякий раз, как я дотрагивался у переносицы до складок этой мимики, щекотливой и садкой, как паутина, в руке у меня оказывался судорожно зажатый платок, которым я вновь и вновь отирал со лба крупные капли пота. С затылка, связанная занавесями, всем переулком дымилась весна. Впереди, промеж хозяев, удвоенной словоохотливостью старавшихся вывести меня из затрудненья, дышал по чашкам чай, шипел пронзенный стрелкой пара самовар, клубилось отуманенное водой и навозом солнце. Дым сигарного окурка, волокнистый, как черепаховая гребенка, тянулся из пепельницы к свету, достигнув которого, пресыщенно полз по нему вбок, как по суконке. Не знаю отчего, но этот круговорот ослепленного воздуха, испарявшихся вафель, курившегося сахару и горевшего, как бумага, серебра, нестерпимо усугублял мою тревогу. Она улеглась, когда, перейдя в залу, я очутился у рояля.

Первую вещь я играл еще с волнением, вторую, — почти справясь с ним, третью, — поддавшись напору нового и непредвиденного. Случайно взгляд мой упал на слушавшего.

Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял

голову, потом — брови, наконец, весь расцветши, поднялся и сам и, сопровождая изменения мелодии неуловимыми изменениями улыбки, поплыл ко мне по ее ритмической перспективе. Всё это ему нравилось. Я поспешил кончить. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда лицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово. В ссылках на промелькнувшие эпизоды он подсел к роялю, чтобы повторить один, наиболее его привлекавший.оборот был сложен, я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но произошла другая неожиданность, он повторил его не в той тональности, и недостаток, так меня мучивший все эти годы, брызнул из-под его рук, как его собственный.

И опять, предпочтя красноречью факта превратности гаданья, я вздрогнул и задумал надвое. Если на признание он возразит мне: «Боря, да ведь этого нет и у меня», тогда — хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. Если же речь в ответ пойдет о Вагнере и Чайковском, о настройщиках и так далее, — но я уже приступал к тревожному предмету и, перебитый на полуслове, уже глотал в ответ: «Абсолютный слух? После всего, что я сказал вам? А Вагнер? А Чайковский? А сотни настройщиков, которые наделены им...»

Мы прохаживались по залу. Он то клал мне руку на плечо, то брал меня под руку. Он говорил о вреде импровизации, о том, когда, зачем и как надо писать. В образцы простоты, к которой всегда следует стремиться, он ставил свои новые сонаты, ославленные за головоломность. Примеры предосудительной сложности приводил из банальнейшей романской литературы. Парадоксальность сравнения меня не смущала. Я соглашался, что безлицье сложнее лица. Что небережливое многословье кажется доступным, потому что оно бессодержательно. Что развращенные пустотой шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы. Незаметно он перешел к более решительным наставленьям. Он справился о моем образовании и, узнав, что я избрал юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение исто-

рико-филологического, что я на другой день и исполнил. А тем временем как он говорил, я думал о происшедшем. Сделки своей с судьбою я не нарушал, о худом выходе загаданного помнил. Развенчивала ли эта случайность моего бога? Нет, никогда, — с прежней высоты она подымала его на новую. Отчего он отказал мне в том простейшем ответе, которого я так ждал? Это его тайна. Когда-нибудь, когда уже будет поздно, он подарит меня этим упущенным признаньем. Как одолел он в юности свои сомненья? Это тоже его тайна, она-то и возводит его на новую высоту. Однако в комнате давно темно, в переулке горят фонари, пора и честь знать.

Я не знал, прощаясь, как благодарить его. Что-то подымалось во мне. Что-то рвалось и освобождалось. Что-то плакало, что-то ликовало.

Первая же струя уличной прохлады отдала домами и далями. Целое их столпотворение поднялось к небу, вынесенное с булыжника единодушием московской ночи. Я вспомнил о родителях и об их нетерпеливо готовящихся расспросах. Мое сообщение, как бы я его ни повел, никакого смысла, кроме радостнейшего, иметь не могло. Тут только, подчиняясь логике предстоявшего рассказа, я впервые, как к факту, отнесся к счастливым событиям дня. Мне они в таком виде не принадлежали. Действительностью становились они лишь в предназначеньи для других. Как ни возбуждала весть, которую я нес домашним, на душе у меня было беспокойно. Но всё больше походило на радость сознание, что именно этой грусти мне ни во чьи уши не вложить, и, как и мое будущее, она останется внизу, на улице, со всей моею, моею в этот час, как никогда, Москвой. Я шел переулками, чаще надобности переходя через дорогу. Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным. Я шел, с каждым поворотом всё больше прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой.

В возрасте отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро. Как высока у ней эта способность, видно из ее мифа о Ганимеде и из множества сходных. Те же воззрения вошли в ее понятие о полубоге и герое. Какая-то доля

риска и трагизма, по ее мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть. Какие-то части зданья, и среди них основная арка фатальности, должны быть заложены разом, с самого начала, в интересах его будущей соразмерности. И, наконец, в каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть.

Вот отчего при гениальном, всегда неожиданном, скажочно-захватывающем искусстве античность не знала романтизма.

Воспитанная на никем потом не повторенной требовательности, на сверхчеловечестве дел и задач, она совершенно не знала сверхчеловечества, как личного аффекта. От этого она была застрахована тем, что всю дозу необычного, заключающуюся в мире, целиком прописывала детству. И когда, по ее приеме, человек гигантскими шагами вступал в гигантскую действительность, поступь и обстановка считались обычными.

5

В один из ближайших вечеров, отправляясь на соборанье «Сердарды», пьяного сообщества, основанного десятком поэтов, музыкантов и художников, я вспомнил, что обещал принести Юлиану Анисимову, читавшему перед тем отличные переводы из Демеля, другого немецкого поэта, которого я предпочитал всем его современникам. И опять, как не раз уже и раньше, сборник «Mir zur Feier» очутился у меня в руках в труднейшую мою пору и ушел по слякоти на деревянный Разгуляй, в отсырелое сплетенье старины, наследственности и молодых обещаний, чтобы, одурев от грачей в мезонине под то полями, вернуться домой с новой дружбой, то есть с чутьем еще на одну дверь в городе, где их было тогда еще немного. Пора рассказать, однако, как ко мне попал этот сборник.

Дело в том, что шестью годами раньше, в те декабрьские сумерки, которые я принимался тут описывать дважды, вместе с бесшумной улицей, всюду подстерегавшейся таинственными ужимками снежинок, ездил на колесках и я, помогая маме в уборке отцовых этажерок. Уже пройденная тряпкой и уторканная с четырех боков, печатная требуха правильными рядами возвращалась на

распотрошенные полки, как вдруг из одной стопы, особенно колышливой и ослушной, вывалилась книжка в серой выгоревшей обложке. По совершенной случайности я не втиснул ее назад и, подобрав с полу, взял потом к себе. Прошло много времени, и я успел полюбить книгу, как вскоре и другую, присоединившуюся к ней и написанную отцу тою же рукою. Но еще больше времени прошло, пока я однажды понял, что их автор, Райнер Мария Рильке, должен быть тем самым немцем, которого давно как-то, летом, мы оставили в пути на вертящемся отрыве забытого лесного полустанка. Я побежал к отцу проверять догадку, и он ее подтвердил, недоумевая, почему это так могло меня взволновать.

Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде вовсе непредставима. Ее пришлось бы собирать из несущественностей, свидетельствующих об уступках жалости и принуждению. Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее встретить. Ее нельзя найти под его именем и надо искать под чужими, в биографическом столбце его последователей. Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть. Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет всё, что творится с его читателями и чего он не знает. Я не дарю своих воспоминаний памяти Рильке. Наоборот, я сам получил их от него в подарок.

6

Хотя к этому располагал рассказ, я вопроса о том, что такое музыка и что к ней приводит, не ставил. Я не сделал этого не только оттого, что, проснувшись однажды на третьем году ночью, застал весь кругозор залитым ею более чем на пятнадцать лет вперед, и, таким образом не имел случая пережить ее проблематику. Но еще и оттого, что она теперь перестает относиться к нашей теме. Однако, того же вопроса в отношении искусства по преимуществу, искусства в целом, иными словами, — в отношении поэзии, мне не обойти. Я не отвечу на него ни

теоретически, ни в достаточно общей форме, но многое из того, что я расскажу, будет на него ответом, который я могу дать за себя и своего поэта.

Солнце вставало из-за почтамта и, соскальзывая по Кисельному, садилось на Неглинке. Вызолотив нашу половину, оно с обеда перебиралось в столовую и кухню. Квартира была казенная, с комнатами, переделанными из классов. Я учился в университете. Я читал Гегеля и Канта. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны, и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровением.

Часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домохозяев, считавшихся поголовными ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных. Я давал несколько грошовых уроков, чтобы не брать денег у отца. Летами, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивении. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире. Музыка, прощанье с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне. Их влияние своеобразно сочеталось с силой, превосходившей простое невежество. Пятнадцатилетнее воздержание от слова, приносившегося в жертву звуку, обрекало на оригинальность, как иное увещье обрекает на акробатику. Вместе с частью моих знакомых я имел отношение к «Мусагету». От других я узнал о существовании Марбурга. Канта и Гегеля сменили Коген, Наторп и Платон.

Свою жизнь тех лет я характеризую намеренно случайно. Эти признаки я мог бы умножить или заменить другими. Однако для моей цели достаточно и приведенных. Обозначив ими вприкидку, как на расчетном чертеже, мою тогдашнюю действительность, я тут же и спро-

шу себя, где и в силу чего из нее рождалась поэзия. Обдумывать ответ мне долго не придется. Это единственное чувство, которое память сберегла мне во всей свежести.

Она рождалась из перебоев этих рядов, из разности их хода, из отставанья более косных и их нагромождения позади, на глубоком горизонте воспоминанья.

Всего порывистее неслась любовь. Иногда, оказываясь в голове природы, она опережала солнце. Но так как это выдавалось очень редко, то можно сказать, что с постоянным превосходством, почти всегда соперничая с любовью, двигалось вперед то, что, вызолотив один бок дома, принималось бронзировать другой, что смывало погодой погоду и вращало тяжелый ворот четырех времен года. А в хвосте, на отступах разной дальности плелись остальные ряды. Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. Настигая меня с тылу, он пугал и жалобил. Он исходил из оторвавшегося обихода и не то грозил затормозить действительность, не то молил примкнуть его к живому воздуху, успевшему зайти тем временем далеко вперед. В этой оглядке и заключалось то, что зовется вдохновеньем. К особенной яркости, ввиду дали своего отката, звали наиболее отечные, нетворческие части существованья. Еще сильнее действовали неодушевленные предметы. Это были натурщики натюрморта, отрасли, наиболее излюбленной художниками. Копясь в последнем отдалении живой вселенной и находясь в неподвижности, они давали наиполнейшее понятие о ее движущемся целом, как всякий, кажущийся нам контрастом, предел. Их расположение обозначало границу, за которой удивленью и состраданью нечего делать. Там работала наука, отыскивая атомные основания реальности.

Но так как не было второй вселенной, откуда можно было бы поднять действительность из первой, взяв ее за вершки, как за волоса, то для манипуляций, к которым она сама взывала, требовалось брать ее изображенье, как это делает алгебра, стесненная такой же одноплоскостностью в отношении величины. Однако это изображенье всегда казалось мне выходом из затруднения, а не самоцелью. Цель же я видел всегда в пересадке изображенного с холодных осей на горячие, в пуске от-

житого вслед и внагонку жизни. Без особых отличий от того, что думаю и сейчас, я рассуждал тогда так. Людей мы изображаем, чтобы накинуть на них погоду. Погоду, или, что одно и то же, природу — чтобы на нее накинуть нашу страсть. Мы втаскиваем повседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки. Так, в широчайшем значении слова называл я искусство, поставленное по часам живого, бьющего поколеньями, рода.

Вот отчего ощущение города никогда не отвечало месту, где в нем протекала моя жизнь. Душевный напор всегда отбрасывал его в глубину описанной перспективы. Там, отдуваясь, топтались облака и, расталкивая их толпу, висел поперек неба сплывшийся дым несметных печей. Там линиями, точно вдоль набережных, окунались подъездами в снег разрушавшиеся дома. Там углую невзрачность прозябанья перебирали тихими гитарными щипками пьянства, и, сварясь за бутылкой в крутую, раскрасневшиеся степенницы выходили с качающимися мужьями под ночной приборой извозчиков, точно из гогочущей горячки шаек в березовую прохладу предбанника. Там травились и горели, обливали разлучниц кислотой, выезжали в атласе к венцу и закладывали меха в ломбарде. Там втихомолку перемигивались лаковые ухмылки рассыхавшегося уклада, и в ожиданьи моего часа усаживались, разложи учебники, мои питомцы-второгодники, ярко покрашенные малоумьем, как шафраном. Там также сотнею аудиторий гудел и замирал серо-зеленый, полузаплеванный университет.

Скользнувши стеклами очков по стеклам карманных часиков, профессора подымали головы в обращении к хорам и потолочным сводам. Головы студентов отделялись от тужурок, и на длинных шнурах повисали четными дружками к зеленому абажурам.

За этими побывками в городе, куда я ежедневно попадал точно из другого, у меня неизменно учащалось сердцебиенье. Покажись я тогда врачу, он предположил бы, что у меня малярия. Однако эти приступы хронической нетерпеливости леченью хиной не поддавались. Эту странную испарину вызывала упрямая аляповатость этих миров, их отечная, ничем изнутри в свою пользу не издержанная наглядность. Они жили и двигались, точно

позируя. Объединяя их в какое-то поселенье, среди них мысленно высилась антенна повальной предопределенности. Лихорадка напала именно у основания этого вообразимого шеста. Ее порождали токи, которые эта мачта посылая на противоположный полюс. Собеседуя с далекою мачтой гениальности, она вызывала из ее краев в свой поселок какого-то нового Бальзака. Однако стоило отойти от рокового шеста подальше, как наступало мгновенное успокоенье.

Так, например, меня не лихорадило на лекциях Савина, потому что этот профессор в типы не годился. Он читал с настоящим талантом, выраставшим по мере того, как рос его предмет. Время не обижалось на него. Оно не рвалось вон из его утверждений, не скакало в отдушины, не бросалось опрометью к дверям. Оно не задувало дыма назад в борова и, сорвавшись с крыши, не хваталось за крюк уносящегося во вьюгу трамвайного прицепа. Нет, с головой уйдя в английское средневековье или Робеспьеров конвент, оно увлекало за собой и нас, а с нами и всё, что нам могло вообразиться живого за высокими университетскими окнами, выведенными у самых карнизов.

Я также оставался здоров в одном из номеров дешевых мебелирашек, где в числе нескольких студентов вел занятия с группой взрослых учеников. Никто тут не блистал талантами. Достаточно было и того, что, не ожидая ниоткуда наследства, руководители и руководимые объединялись в общем усилии сдвинуться с мертвой точки, к которой собиралась пригвоздить их жизнь. Как и преподаватели, среди которых имелись оставленные при университете, они были для своих званий малотипичны. Мелкие чиновники и служащие, рабочие, лакеи и почтальоны, они ходили сюда затем, чтобы стать однажды чем-нибудь другим.

Меня не лихорадило в их деятельной среде, и в редких ладах с собою я часто заворачивал отсюда в соседний переулочек, где в одном из дворовых флигелей Златоустинского монастыря целыми артелями проживали цветочки. Именно здесь запасались полною флорой Ривьеры мальчишки, торговавшие ею на Петровке вразнос. Оптовые мужики выписывали ее из Ниццы, и на месте у них эти сокровища можно было достать за со-

вершенный бесценнок. Особенно тянуло к ним с перелома учебного года, когда, открыв в один прекрасный вечер, что занятия давно ведутся не при огне, светлые сумерки марта всё больше и больше зачашали в грязные номера, а потом и вовсе уже не отставали и на пороге гостиницы по окончании уроков. Непокрытая, против обыкновенья, низким платком зимней ночи, улица как из-под земли вырастала у выхода с какой-то сухою сказкой на чуть шевелящихся губах. По дюжей мостовой отрывисто шаркал весенний воздух. Точно обтянутые живой кожицей, очертанья переулка дрожали зябкой дрожью, заждавшись первой звезды, появленье которой томительно оттягивало ненасытное, баснословно-досушее небо.

Вонючую галерею до потолка загромождали пороженные плетушки в иностранных марках под звучными итальянскими штемпелями. В ответ на войлочное кряхтенье двери наружу выкатывалось, как за нуждой, облако дебелого пара, и что-то неслыханно волнующее угадывалось уже и в нем. Напролет против сеней, в глубине постепенно понижавшейся горницы толпились у крепостного окошка малолетние разносчики и, приняв подотченный товар, рассовывали его по корзинкам. Там же, за широким столом сыновья хозяина молчаливо вспарывали новые, только что с таможни привезенные посылки. Разогнутая надвое, как книга, оранжевая подкладка обнажала свежую сердцевину тростниковой коробки. Сплотившиеся путла похолодевших фиалок вынимались цельным куском, точно синие слои вяленой малаги. Они наполняли комнату, похожую на дворницкую, таким одуряющим благоуханьем, что и столбы предвечернего сумрака и пластавшиеся по полу тени казались выкроенными из сырого, темно-лилового дерна.

Однако настоящие чудеса ждали еще впереди. Пройдя в самый конец двора, хозяин отмыкал одну из дверей каменного сарая, поднимал за кольцо погребное творило, и в этот миг сказка про Али Бабу и сорок разбойников сбывалась во всей ослепительности. На дне сухого подполья разрывчато, как солнца, горели четыре репчатые молнии и, соперничая с лампами, безумствовали в огромных лоханях, отобранные по колерам и породам, жаркие снопы пионов, желтых ромашек, тюльпанов и анемон. Они дышали и волновались, точно тягаясь друг

с другом. Нахлынув с неожиданной силой, пыльную душистость мимоз смывала волна светлого запаха, водянистого и изнизанного жидкими иглами аниса. Это ярко, как до белизны разведенная настойка, пахли нарциссы. Но и тут всю эту бурю ревности побеждали черные кокарды фиалок. Скрытные и полусумасшедшие, как зрачки без белка, они гипнотизировали своим безучастьем. Их сладкий, непрокашлянный дух заполнял с погребного дна широкую раму лаза. От них закладывало грудь каким-то деревенистым плевритом. Этот запах что-то напоминал и ускользал, оставляя в дураках сознание. Казалось, что представление о земле, склоняющее их к ежегодному возвращению, весенние месяцы составили по этому запаху, и родники греческих поверий о Деметре были где-то невдалеке.

7

В то время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты, как на несчастную слабость, и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С. Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим одобрением. Объяснялось это его беспримечной отзывчивостью. От остальных друзей, уже выдавших меня почти ставшим на ноги музыкантом, я эти признаки нового несовершеннелетья тщательно скрывал.

Зато философией я занимался с основательным увлечением, предполагая где-то в ее близости зачатки будущего приложенья к делу. Круг предметов, читавшихся по нашей группе, был так же далек от идеала, как и способ их преподавания. Это была странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещения. Согласья ради оба направленья поступались последними остатками смысла, который мог бы им еще принадлежать, взятым в отдельности. История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология же вырождалась в ветренную пустяковину брошюрного пошиба.

Молодые доценты, как Шпет, Самсонов и Кубицкий, порядка этого изменить не могли. Однако и старшие профессора были не так уж в нем виноваты. Их связывала необходимость читать популярно до азбучности, сказавшаяся уже и в те времена. Не доходя отчетливо до созна-

нья участников, кампания по ликвидации неграмотности была начата именно тогда. Сколько-нибудь подготовленные студенты старались работать самостоятельно, всё более и более привязываясь к образцовой библиотеке университета. Симпатии распределялись между тремя именами. Большая часть увлекалась Бергсоном. Приверженцы геттингенского гуссерлианства находили поддержку в Шпете. Последователи Марбургской школы были лишены руководства и, предоставленные самим себе, объединялись случайными разветвлениями личной традиции, шедшей еще от С. Н. Трубецкого.

Замечательным явлением этого круга был молодой Самарин. Прямой отпрыск лучшего русского прошлого, к тому же связанный разными градациями родства с историей самого зданья по углам Никитской, он два раза в семестр заявлялся на иное собрание какого-нибудь семинария, как отделенный сын на родительскую квартиру в час общего обеденного сбора. Референт прерывал чтение, дожидаясь, пока долговязый оригинал, смущенный тишиной, которую он вызвал и сам растягивал выбором места, взберется по трескучему помосту на крайнюю скамью дощатого амфитеатра. Но только начиналось обсуждение доклада, как весь грохот и скрип, вращенный только что с таким трудом под потолок, возвращался вниз в обновленной и неузнаваемой форме. Придравшись к первой оговорке докладчика, Самарин обрушивал оттуда какой-нибудь экспромпт из Гегеля или Когена, скатывая его как шар по ребристым уступам огромного ящичного склада. Он волновался, проглатывал слова и говорил прирожденно громко, выдерживая голос на той ровной, всегда одной с детства до могилы усвоенной ноте, которая не знает шепота и крика и вместе с округлой картавостью, от нее неотделимой, всегда разом выдает породу. Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспомнил о нем, когда, перечитывая Толстого, вновь столкнулся с ним в Нехлюдове.

8

Хотя у летней кофейни на Тверском бульваре не было своего названия, звали ее все *Café Grec*. Ее не закрывали на зиму, и тогда ее назначенье становилось стран-

ною загадкой. Однажды, не сговариваясь, по случайности сошлись в этом голом павильоне Локс, Самарин и я. Мы были единственными его посетителями не только в тот вечер, но может быть и за весь истекший сезон. Дело переламывалось к теплу, потягивало весною. Только появился и едва подсел к нам Самарин, как зафилософствовал и, вооружась сухим бисквитом, стал отбивать им, как регентским камертоном, логические члененья речи. Поперек павильона протянулся кусок Гегелевой бесконечности, составленной из сменяющихся утверждений и отрицаний. Вероятно я сказал ему о теме, которую избрал для кандидатского сочиненья, вот он и соскочил с Лейбница и математической бесконечности на диалектическую. Вдруг он заговорил о Марбурге. Это был первый рассказ о самом городе, а не о школе, какой я услышал. Впоследствии я убедился, что о его старине и поэзии говорить иначе и нельзя, тогда же под стрекотанье вентиляционной вертушки мне это влюбленное описание было в новинку. Внезапно он спохватился, что шел сюда не кофейничать и только на минуту, вспугнул хозяина, дремавшего в углу за газетой и, узнав, что телефон в неисправности, вывалился из обледенелого скворешника еще шумнее, чем ввалился. Вскоре поднялись и мы. Погода переменялась. Поднявшийся ветер стал шпарить февральскою крупю. Она ложилась на землю правильными мотками, восьмеркой. Было в ее яростном петляньи что-то морское. Так, мах к маху, волнистыми слоями складывают канаты и сети. Дорогой Локс несколько раз заговаривал на свою излюбленную тему о Стендале, я же отмалчивался, чему не мало способствовала метель. Я не мог позабыть о слышанном, и мне жалко было городка, которого, как я думал, мне никогда, как ушей своих, не видать.

Это было в феврале, а в апреле месяце как-то утром мама объявила, что скопила из заработков и сберегла на хозяйстве двести рублей, которые мне и дарит с советом съездить за границу. Не изобразить ни радости, ни полной неожиданности подарка, ни его незаслуженности. Фортепьянного брэнчання по такой сумме надо было потерпеть не мало. Однако отказываться у меня не было сил. Выбирать маршрут не приходилось. Тогда европейские университеты находились в постоянной осведомленности

друг о друге. Начав в тот же день беготню по канцеляриям, я вместе с немногочисленными документами унес с Моховой некоторые сокровища. Это был двумя неделями раньше отпечатанный в Марбурге подробный перечень курсов, предположенных к чтению на летнем семестре 1912-го года. Изучая проспект с карандашом в руке, я не расставался с ним ни на ходу, ни за решетчатыми стойками присутствий. От моей потерянности за версту разило счастьем, и, заражая им секретарей и чиновников, я, сам того не зная, подгонял и без того несложную процедуру.

Программа у меня, разумеется, была спартанская. Третий, а за-границей, если придется, и четвертый класс, поездá последней скорости, комната в какой-нибудь подгородной деревушке, хлеб с колбасой да чай. Мамино самопожертвованье обязывало к удешевленной жадности. За ее деньги следовало попасть еще и в Италию. Кроме того, я знал, что очень чувствительную долю поглотит вступительный взнос в университет и оплата отдельных семинариев и курсов. Но если б у меня денег было и вдесятеро больше, я по тем временам от этой росписи не отступил бы. Я не знаю, как распорядился бы остатком, но ничто бы на свете меня тогда во второй класс не перевело и никаких следов на ресторанной скатерти оставить не склонило. Терпимость в отношении удобств и потребность в уюте появились у меня только в послевоенное время. Оно наставляло таких препятствий тому миру, который не допускал в мою комнату никаких прикрас и поблажек, что временно не мог не измениться и весь мой характер.

9

У нас сходил еще снег, и небо кусками выплывало из-под наста на воду, как выскользнувшая из-под кальки переводная картинка, а по всей Польше жарко цвели яблони, и она неслась с утра на ночь и с запада на восток, по-летнему бессонная, какой-то романской частью славянского замысла.

Берлин показался мне городом подростков, получивших накануне в подарок тесаки и каски, трости и трубки, настоящие велосипеды и сюртуки, как у взрос-

лых. Я застал их на первом выходе, они не привыкли еще к перемене, и каждый важничал тем, что ему вчера выпало на долю. На одной из превосходнейших улиц меня окликнуло из книжной витрины Наторпово руководство по логике, и я вошел за ним с ощущением, что увижу завтра автора въяве. Из двух суток пути я провел уже одну ночь без сна на немецкой территории, теперь мне предстояла другая.

Откидные полаты в третьем классе заведены только у нас в России, за границей же за дешевое передвижение приходится отдуваться ночами, клюя носом вчетвером на глубоко выбранной и разделенной подлокотниками скамейке. Хотя на этот раз обе лавки отделения были к моим услугам, мне было не до сна. Лишь изредка, с большими перерывами, входили на перегон-другой отдельные пассажиры, больше студенты и, безмолвно откланявшись, проваливались в теплую ночную неизвестность. При каждой их смене под крыши перронов вкатывались спящие города. Исконное средневековье открывалось мне впервые. Его подлинность была свежа и страшна, как всякий оригинал. Лязгая знакомыми именами, как голой сталью, путешествие вынимало их одно за другим из читанных описаний, точно из пыльных ножен, изготовленных историками.

На подлете к ним поезд вытягивался кольчужным чудом из десяти клепаных кузовов. Кожаный напуск переходов вспучивался и обвисал кузнечными мехами. Заляпанное огнями вокзала, в чистых бокалах ясно лучилось пиво. По каменным платформам плавно удалялись порожняком багажные тележки на толстых и точно каменных катках. Под сводами колоссальных дебаркадеров потели торсы короткорылых локомотивов. Казалось, что на такую высоту их занесла игра низких колес, недланно замерших на полном заводе.

Отовсюду к пустынному бетону тянулись его шестисотлетние предки. Четвергованные косыми балками трельяжа, стены разминали свою сонную роспись. На них теснились пажи, рыцари, девушки и рыжебородые людоеды, и клетчатая драпка шпалерника повторялась, как орнамент, на решетчатых наличниках шлемов, в разрезах шарообразных рукавов и в крестчатой шнуровке корсажей. Дома подступали почти вплотную к опущенному

окну. Вконец потрясенный, я лежал на его широком ребре, зашептываясь до самозабвения коротким восклицанием восторга, теперь устаревшим. Но было еще темно, и скачущие лапы дикого винограда едва чернелись на штукатурке. Когда же вновь ударял ураган, отзывавшийся углем, росой и розами, то внезапно обданный горстью искр из рук увлеченно несшейся ночи, я быстро поднял окно и задумывался о непредвидимостях завтрашнего дня. Но надо хоть как-нибудь сказать о том, куда и зачем я ехал.

Создание гениального Когена, подготовленное его предшественником по кафедре, Фридрихом Альбертом Ланге, известным у нас по «Истории материализма», Марбургское направление покоряло меня двумя особенностями. Во-первых, оно было самобытно, перерывало все до основания и строило на чистом месте. Оно не разделяло ленивой рутины всевозможных «измов», всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук, всегда невежественных и всегда, по тем или другим причинам, боящихся пересмотра на вольном воздухе вековой культуры. Не подчиненная терминологической инерции, Марбургская школа обращалась к первоисточникам, т. е. к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории науки. Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология — о том, как думает средний человек; если формальная логика учит, как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцатипятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. В таком, как бы авторизованном самой историей расположении, философия вновь молодеда и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематической дисциплины в исконную дисциплину о проблемах, каковой ей и надлежит быть.

Вторая особенность Марбургской школы прямо вытекала из первой и заключалась в ее разборчивом и взыскательном отношении к историческому наследству. Школе чужда была отвратительная снисходительность к прошлому, как к некоторой богадельне, где кучка стариков в хламидах и сандалиях или париках и камзолах врет непроглядную отсебятину, извинимую причудами ко-

ринфского ордера, готики, барокко или какого-нибудь иного зодческого стиля. Однородность научной структуры была для школы таким же правилом, как анатомическое тождество исторического человека. Историю в Марбурге знали в совершенстве и не уставали тащить сокровище за сокровищем из архивов итальянского возрождения, французского и шотландского рационализма и других плохо изученных школ. На историю в Марбурге смотрели в оба гегельянских глаза, т. е. гениально общенно, но в то же время и в точных границах здравого правдоподобья. Так, например, школа не говорила о стадиях мирового духа, а, предположим, о почтовой переписке семьи Бернулли, но при этом она знала, что всякая мысль, сколь угодно отдаленного времени, застигнутая на месте и за делом, должна полностью допускать нашу логическую комментацию. В противном случае она теряет для нас непосредственный интерес и поступает в веденье археолога или историка костюмов, нравов, литературы, общественно-политических веяний и прочего.

Обе эти черты (самостоятельности и историзма) ничего не говорят о содержании Когеновой системы, но я не собирался, да и не взялся бы говорить о ее существовании. Однако обе они объясняют ее притягательность. Они говорят о ее оригинальности, т. е. о живом месте, занятом ею в живой традиции для одной из частей современного сознания.

Как одна из его частиц, я мчался к центру притяжения. Поезд пересекал Гарц. Дымным утром, выскочив из лесу, промелькнул средневековым углекопом тысячелетний Гослар. Позже пронесся Геттинген. Имена городов становились всё громче. Большинство из них поезд отшвыривал с пути на всем лету, не нагибаясь. Я находил названия этих откатывающихся волчков на карте. Вокруг них подымались стародавние подробности. Они вовлекались в их круговорот, как звездные спутники и кольца. Иногда горизонт расширялся как в «Страшной мести», и, дымясь сразу в несколько орбит, земля в отдельных городках и замках начинала волновать, как ночное небо.

Два года, предшествовавших поездке, слово Марбург не сходило у меня с языка. Упоминание о городе в главах о Реформации имелось в каждом учебнике для средней школы. Книжечка о Елизавете Венгерской, погребенной в нем в начале XIII века, была «Посредником» издана даже для детей. Любая биография Джордано Бруно в числе городов, где он читал на роковом пути из Лондона на родину, называла и Марбург. Между тем, как это ни маловероятно, я ни разу в Москве не догадался о тождестве, существовавшем между Марбургом этих упоминаний и тем, ради которого я грыз таблицы производных и дифференциалов и с Мак Лорена перескакивал на Максвелля, окончательно мне недоступного. Надо было, подхватя чемодан, пройти мимо рыцарской гостиницы и старой почтовой станции, чтобы оно встало предо мной впервые.

Я стоял заломя голову и задыхаясь. Надо мной высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка. С десятого шага я перестал понимать, где нахожусь. Я вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне, и ее теперь вместе с крюками, сетками и пепельницами назад не воротить. Над башенными часами празднично стояли облака. Место казалось им знакомым. Но и они ничего не объясняли. Было видно, что, как сторожа этого гнезда, они никуда отсюда не отлучаются. Царила полуденная тишина. Она сносила с тишиной простершейся внизу равнины. Обе как бы подводили итог моему обалдению. Верхняя пересылалась с нижней томительными веяньями сирени. Выжидательно чирикали птицы. Я почти не замечал людей. Неподвижные очертанья кровель любопытствовали, чем все это кончится.

Улицы готическими карлицами лепились по крутизнам. Они располагались друг под другом и своими подвалами смотрели за чердаки соседних. Их теснины были заставлены чудесами коробчатого зодчества. Расширяющиеся кверху этажи лежали на выпущенных бревнах и, почти соприкасаясь кровлями, протягивали друг другу руки над мостовой. На них не было тротуаров. Не на всех можно было разойтись.

Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова по этим самым мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые, с письмом к Лейбницеvu ученику Христиану Вольфу, и никого еще тут не знал. Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же неожиданно маленьким и древним мог он быть уже и для тех дней. И повернув голову, можно было потрястись, повторяя в точности одно, страшно далекое телодвижение. Как и тогда, при Ломоносове, рассыпавшись у ног всем сизым кишеньем шиферных крыш, город походил на голубиную стаю, завороченную на живом слете к сменной кормушке. Я трепетал, справляя двухсотлетье чужих шейных мышц. Придя в себя, я заметил, что декорация стала реальностью, и отправился разыскивать дешевую гостиницу, указанную Самариным.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Я снял комнату на краю города. Дом стоял в ряду последних по Гиссенской дороге. В этом месте каштаны, которыми она была обсажена, как по команде заходя друг другу в плечо, всей шеренгой забирали вправо. Оглянувшись в последний раз на хмурую гору со старым городком, шоссе пропадало за лесом.

При комнате был дрянной балкончик, выходящий на соседний огород. Там стоял снятый с осей вагон старой марбургской конки, превращенный в курятник.

Комнату сдавала старушка-чиновница. Она жила вдвоем с дочерью на тощую вдовью пенсию. Мать и дочь были на одно лицо. Как бывает всегда с женщинами, пораженными базедовой болезнью, они перехватывали мой взгляд, воровски устремленный на их воротнички. В эти мгновения мне воображались детские воздушные шары, собранные к кончику ухом и натуго перевязанные. Может быть, они об этом догадывались.

Их глазами, из которых хотелось выпустить немного воздуха, положив им ладонь на горло, смотрел в мир старый прусский пиэтизм.

Однако для данной части Германии этот тип был не характерен. Здесь господствовал другой, средне-германский, и даже в природу закрадывались первые подозрения о юге и западе, о существовании Швейцарии и Франции. И было очень кстати, перед лицом ее лиственных догадок, зеленевших в окне, перелистывать французские томы Лейбница и Декарта.

За полями, подступавшими к мудреному птичнику, виднелась деревня Окерсгаузен. Это было длинное становище длинных риг, длинных телег и здоровенных першеронов. Оттуда вдоль по горизонту тащилась другая дорога. По вступлении в город она окрещивалась *Barfüßerstrasse*. Босомыгами же в средние века звали монахов-францисканцев.

Вероятно, по ней именно каждый год приходила сюда зима, потому что, глядя в ту сторону с балкона, можно было представить себе много подходящего. Ганса Закса. Тридцатилетнюю войну. Сонную, а не волнующую природу исторического бедствия, когда оно измеряется десятилетиями, а не часами. Зимы, зимы и зимы, и потом, по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда, первое возникновение новых поселений под бродячими небесами, где-нибудь вдали одичавшего Гарца, с черными, как пожарища, именами, вроде *Elend*, *Sorge*¹ и тому подобными.

Сзади, в стороне от дома, подминая под себя кусты и отраженья, протекала река Лан. За ней тянулось полотно железной дороги. Вечерами в глухое сопение кухонной спиртовки врывалось учащенное позвякивание механического колокола, под звон которого сам собою опускался железнодорожный шлагбаум. Тогда в темноте у переезда вырастал человек в мундире, в предупрежденные пыли быстро опрыскивавший его из лейки, и в тот же миг поезд пронесился мимо, судорожно бросаясь вверх, вниз и во все стороны сразу. Снопы его барабанного света попадали в хозяйские кастрюли. И всегда пригорало молоко.

На речное масло Лана соскальзывала звезда-другая. В Окерсгаузене ревел только что пригнанный скот. На

¹ Горе, забота.

горе по-оперному вспыхивал Марбург. Если бы могло так случиться, что братья Гримм опять, как сто лет назад, приехали сюда изучать право у знаменитого юриста Савиньи, они сызнова уехали бы отсюда собирателями сказок. Удостоверившись, что ключ от входных дверей при мне, я отправлялся в город.

Исконные горожане уже спали. Навстречу попадались одни студенты. Все точно выступали в Вагнеровых «Мейстерзингерах». Дома, казавшиеся декорациями уже и днем, сближались еще теснее. Висячим фонарям, перекинутым над мостовой со стены на стену, негде было разгуляться. Их свет изо всех сил обрушивался на звуки. Он обливал гул удалявшихся пяток и взрывы громкой немецкой речи лилиевидными бликами. Точно электричество знало предание, сложенное об этом месте.

Давно-давно, лет за полтысячи до Ломоносова, когда новым годом, годом повседневности, был на земле тысяча двести тридцатый год, сверху из Марбургского замка по этим склонам спускалось живое историческое лицо, Елизавета Венгерская.

Это такая даль, что если ее достигнуть воображением, в точке прибытия сама собой подыметесь снежная буря. Она возникнет от охлаждения, по закону побежденной недосыгаемости. Там наступит ночь, горы оденутся лесом, в лесах заведутся дикие звери. Людские же нравы и обычаи покроются ледяной корой.

У будущей святой, канонизованной спустя три года после смерти, был духовником тиран, то есть человек без воображения. Трезвый практик видел, что истязания, налагаемые на исповедницу, приводят ее в состояние восхищения. В поисках мучений, которые были бы ей в истинную муку, он запретил ей помогать бедным и больным. Тут историю сменяет легенда. Будто бы это было ей не под силу. Будто, чтобы обелить грех послушания, снежная вьюга заслоняла ее своим телом на пути в нижний город, превращая хлеб в цветы на срок ее ночных переходов.

Так приходится иногда природе отступать от своих законов, когда убежденный изувер чересчур настаивает на исполнении своих. Это ничего, что голос естественного права облечен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в религиозную эпоху.

По мере приближения к университету улица, летевшая под гору, всё больше кривела и суживалась. В одном из фасадов, испекшихся в золе веков, подобно картошке, имелась стеклянная дверь. Она открывалась в коридор, выводивший на один из северных обрывов. Там была терраса, уставленная столиками и залитая электрическим светом. Терраса висела над низиной, доставлявшей когда-то столько беспокойств ландграфине. С тех пор город, расположившийся по пути ее ночных вылазок, застыл на возвышении в том виде, какой принял к середине шестнадцатого столетия. Низина же, растравлявшая ее душевный покой, низина, заставлявшая ее нарушать устав, низина, попрежнему приводимая в движение чудесами, шагала в полную ногу с временем.

С нее тянуло ночной сыростью. На ней бессонно громыхало железо и, стекаясь и растекаясь, мызгали взад и вперед запасные пути. Что-то шумное поминутно падало и подымалось. Водяной грохот плотины до утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера. Режущий визг лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. Что-то поминутно лопалось и озарялось, пускало пары и опрокидывалось. Что-то ерзало и заволакивалось крашеным дымом.

Кафе посещалось преимущественно философами. У других были свои. На террасе сидели Г-в и Л-ци, немцы, впоследствии получившие кафедры у себя и за границей. Среди датчан, англичанок, японцев и всех тех, что съехались со всех концов света послушать Когена, уже раздавался знакомый, разгоряченно певучий голос. Это адвокат из Барселоны, ученик Штаммера, деятель недавней испанской революции, второй год пополнявший здесь свое образование, декламировал своим знакомым Верлена.

Уже я тут многих знал и никого не дичился. Уже увявив язык в двух обещаниях, я с тревогой готовился к дням, когда буду отчитываться по Лейбницу у Гартмана и по одной из частей «Критики практического разума» у главы школы. Уже образ последнего, давно угаданный, но оказавшийся страшно недостаточным при первом знакомстве, стал моей собственностью, то есть повел во мне произвольное существование, меняясь сообразно тому, погружался ли он на дно моего бескорыстного восхище-

нья, или же всплывал на поверхность, когда я с бредовым честолюбьем новичка гадал о том, буду ли я им когда-нибудь замечен и приглашен на один из его воскресных обедов. Последнее сразу подымало человека в здешнем мнении, потому что знаменовало собою начало новой философской карьеры.

Уже я успел на нем проверить, как драматизируется большой внутренний мир в подаче большого человека. Уже я знал, как подымет голову и отступит назад хохлатый старик в очках, повествуя о греческом понятии бессмертия, и поведет рукой по воздуху, в сторону марбургской пожарной части, толкуя образ Елисейских полей. Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкрадчиво подъехав к до-кантовой метафизике, разворкуется он, ферлякурничая с ней, да вдруг как гаркнет, закатив ей страшный нагоняй с цитатами из Юма. Как, раскашлявшись и выдержав долгую паузу, протянет он затем утомленно и миролюбиво: «Und nun, meine Herrn...».¹ И это будет значить, что выговор веку сделан, представление кончилось, и можно перейти к предмету курса.

Между тем на террасе никого почти не оставалось. На ней гасили электричество. Обнаруживалось, что уже утро. Взглянув вниз за перила, мы убеждались, что ночной низины как не бывало. Замещавшая ее панорама ничего не знала о своей ночной предшественнице.

2

В это время в Марбург приехали сестры В—е. Они были из богатого дома. Я в Москве еще в гимназические годы дружил со старшей и давал ей нерегулярные уроки неведомо чего. Вернее, в доме оплачивали мои беседы на самые непредвиденные темы.

Но весной 1908 года совпали сроки нашего окончания гимназии, и одновременно с собственной подготовкой я взялся готовить к экзаменам и старшую В—ю.

Большинство моих билетов содержало отделы, легкомысленно упущенные в свое время, когда их проходили в классе. Мне не хватало ночей на их прохождение. Однако урывками, не разбирая часов и, чаще всего, на рассвете,

¹ Итак, милостивые государи.

я забегал к В—ой для занятий предметами, всегда расходившимися с моими, потому что порядок наших испытаний в разных гимназиях, естественно, не совпадал. Эта путаница осложняла мое положение. Я ее не замечал. О своем чувстве к В—ой, уже не новом, я знал с четырнадцати лет.

Это была красивая милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой-француженкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря проносил со двора ее любимице, скорее Абеярова, чем Эвклидова. И, весело подчеркивая свою догадливость, она не отлучалась с наших уроков. Втайне я благодарил ее за вмешательство. В ее присутствии чувство мое могло оставаться в неприкосновенности. Я не судил его и не был ему подсуден. Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанью я всё равно не мог и не осмелился бы дать ему волю.

Это было то время года, когда в горшочках с кипятком распускают краску, а на солнце, предоставленные себе самим, празднично греются сады, загромаженные сваленным отовсюду снегом. Они до краев налиты тихой, яркою водой. А за их бортами, по ту сторону заборов, стоят шеренгами вдоль горизонта садовники, грачи и колокольни, и обмениваются на весь город громкими замечаниями слова по два, по три в сутки. О створку форточек трется мокрое, шерстисто-серое небо. Оно полно неушедшей ночи. Оно молчит часами, молчит, молчит, да вдруг возьмет и вкочит в комнату круглый грохоток тележного колеса. Он обрывается так внезапно, точно это палочка-ручалочка, и у телеги другого дела не было, как с мостовой в форточку. Так что теперь ей больше не водить. И еще загадочнее праздная тишина, ключами влияющая в дыру, вырубленную звуком.

Не знаю, отчего всё это запечатлелось у меня в образе классной доски, не дочиста оттертой от мела. О, если бы остановили нас тогда, и, отмыв доску до влажного блеска, вместо теорем о равновеликих пирамидах, каллиграфически с нажимами изложили то, что нам предстояло обоим. О, как бы мы обомлели!

Откуда же это соображение и отчего оно мне тут явилось?

Оттого что была весна, вчерне заканчивавшая высе-
ление холодного полугодья, и кругом на земле, как не-
развешанные зеркала, лицом вверх лежали озера и лужи,
говорившие о том, что безумно емкий мир очищен, и по-
мещение готово к новому найму. Оттого, что первому,
кто пожелал бы тогда, дано было вновь обнять и пере-
жить всю, какая только есть на свете, жизнь. Оттого, что
я любил В—ю.

Оттого что уже и одна з а м е т н о с т ь настоящего
есть будущее, будущее же человека есть любовь.

3

Но на свете есть так называемое возвышенное отно-
шение к женщине. Я скажу о нем несколько слов. Есть
необозримый круг явлений, вызывающих самоубийства
в отрочестве. Есть круг ошибок младенческого воображе-
ния, детских извращений, юношеских голодовок, круг
Крейцеровых сонат и сонат, пишущихся против Крейце-
ровых сонат. Я побывал в этом кругу, и в нем позорно
долго пробыл. Что же это такое?

Он истерзывает, и кроме вреда от него ничего не бы-
вает. И однако освобожденья от него никогда не будет.
Все, входящие людьми в историю, всегда будут прохо-
дить через него. Потому что эти сонаты, являющиеся
преддверьем к единственно полной нравственной свобо-
де, пишут не Толстые и Ведекинды, а их руками — сама
природа. И только в их взаимопротиворечьи — полнота
ее замысла.

Основав материю на сопротивлении и отделив факт
от мнимости плотинной, называемой любовью, она, как
о целостности мира, заботится о ее прочности. Здесь пункт ее
помешательства, ее болезненных преувеличений. Тут, по-
истине можно сказать, она, что ни шаг, делает из мухи
слона.

Но, виноват, слонов-то ведь она производит вза-
правду! Говорят, это главное ее занятие. Или это фраза?
А история видов? А история человеческих имен? И ведь
изготавливает-то она их именно тут, в зашлюзованных от-
резках живой эволюции, у плотин, где так разыгрывается
ее встревоженное воображенье.

Нельзя ли в таком случае сказать, что в детстве мы

преувеличиваем и у нас расстраивается воображение, по-
т о м у ч т о в это время, как из мух, природа делает из
нас слонов?

Держась той философии, что только почти-не-
возможное действительно, она до крайности затруд-
нила чувство всему живому. Она по-одному затруд-
нила его животному, по-другому — растению. В том, как
она затруднила его нам, сказало ее захватывающе вы-
сокое мнение о человеке. Она затруднила его нам не ка-
кими-нибудь автоматическими хитростями, но тем, что
на ее взгляд обладает для нас абсолютной силой. Она за-
труднила его нам ощущением нашей мушиной пошлости,
которое охватывает каждого из нас тем сильнее, чем мы
дальше от мухи. Это гениально изложено Андерсеном в
«Гадком утенке».

Всякая литература о поле, как и самое слово «пол»,
отдают несносной пошлостью, и в этом их назначенье.
Именно только в этой омерзительности пригодны они
природе, потому что как раз на страхе пошлости по-
строен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контроль-
ных средств бы не пополняло.

Какой бы матерьял ни поставляла наша мысль по это-
му поводу, судьба этого матерьяла в ее руках. И с
помощью инстинкта, который она прикомандировала к
нам ото всего своего целого, природа всегда распоря-
жается этим матерьялом так, что все усилия педагогов,
направленные к облегчению естественности, ее неизменно
отягощают, и так это и надо.

Это надо для того, чтобы самому чувству было что
побеждать. Не эту оторопь, так другую. И безразлично,
из какой мерзости или ерунды будет сложен барьер. Дви-
жение, приводящее к зачатию, есть самое чистое из все-
го, что знает вселенная. И одной этой чистоты, столько
раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы,
по контрасту, всё то, что не есть оно, отдавало бездон-
ной грязью.

И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но
образом человека. Образ же человека, как оказывается,
— больше человека. Он может зародиться только на хо-
ду, и при том не на всяком. Он может зародиться только
на переходе от мухи к слону.

Что делает честный человек, когда говорит т о л ь

ко правду? За говореньем правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстает, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек?

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает, и заговаривает образ. И оказывается: только образ поспеваает за успехами природы.

По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не избразительны, а способны к вечному развитию.

Т о л ь к о искусство, твердя на протяжении веков о любви, не п о с т у п а е т в распоряженье инстинкта для пополнения средств, затрудняющих чувство. Взяв барьер нового душевного развития, поколение с о х р а н я е т лирическую истину, а не отбрасывает, так что с очень большого расстоянья можно вообразить, будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений.

Всё это необыкновенно. Всё это захватывающе трудно.

Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила.

4

Сестры проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я — в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать.

Они остановились в лучшей гостинице городка, в древнейшей его части. Три дня, проведенные с ними неотлучно, были непохожи на мою обычную жизнь, как праздники на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками пониманья случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обеих видели вместе со мной на лекциях в университете. Так пришел день их отъезда.

Накануне, накрывая к ужину, кельнер сказал мне: «Das ist wohl ihr Henkersmahl, nicht wahr?», т. е.: «Покушайте напоследок; ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?»

Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестер в коридоре. Взглянув на меня и что-то сообразив,

она, не здороваясь, отступила назад и заперлась у себя в номере. Я прошел к старшей и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может, и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить всё это разом, и — отказала мне. Вскоре в коридоре поднялся шум. Это поволокли сундук из соседнего номера. Затем постучались к нам. Я быстро привел себя в порядок. Пора было отправляться на вокзал. До него было пять минут ходу.

Там уменье прощаться совсем оставило меня. Лишь только я понял, что простился с одной младшей, со старшей же еще и не начинал, у перрона вырос плавно движущийся курьерский из Франкфурта. Почти в том же движеньи, быстро приняв пассажиров, он быстро взял с места. Я побежал вдоль поезда и у конца перрона, разбежавшись, вскочил на вагонную ступеньку. Тяжелая дверца не была захлопнута. Разъяренный кондуктор преградил мне дорогу, в то же время держа меня за плечо, чтобы я чего доброго не вздумал жертвовать жизнью, устыдившись его резонов. Изнутри на площадку выбежали мои путешественницы. Кондуктору стали совать кредитки мне в избавленье и на покупку билета. Он смилостивился, я прошел за сестрами в вагон. Мы мчались в Берлин. Сказочный праздник, едва не прервавшийся, продолжался, удесятеренный бешенством движенья и блаженной годовой болью от всего только что испытанного.

Я вспрыгнул на ходу только для того, чтобы проститься, и снова забыл об этом и опять вспомнил, когда было уже поздно. Не успел я опомниться, как прошел день, настал вечер, и, прижав нас к земле, на нас надвинулся гулко дышащий навес берлинского дебаркадера. Сестер должны были встретить. Было нежелательно, чтобы при моих расстроенных чувствах их увидели вместе со мною. Меня убедили, что прощанье наше состоялось, и только я его не заметил. Я потонул в толпе, сжатой газобразными гулами вокзала.

Была ночь, моросил скверный дождик. До Берлина мне не было никакого дела. Ближайший поезд в нужном мне направлении отходил поутру. Я свободно мог бы до-

ждать его на вокзале. Но мне невозможно было оставаться на людях. Лицо мое подергивала судорога, к глазам поминутно подступали слезы. Моя жажда последнего, до конца опустошающего прощанья осталась неутоленной. Она была подобна потребности в большой каденции, расшатывающей больную музыку до корня, с тем, чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда. Но в этом облегчении мне было отказано.

Была ночь, моросил скверный дождик. На привокзальном асфальте было так же дымно, как на дебаркадере, где мячом в веревочной сетке пучилось в железе стекло шатра. Перецокивание улиц походило на углекислые взрывы, всё было затянуто тихим брожением дождя. По непредвиденности оказии я был в чем вышел из дому, то есть без пальто, без вещей, без документов. Из номеров меня выпроваживали с одного взгляда, вежливо отговариваясь их переполненностью. Нашлось наконец место, где легкость моего хода не составила препятствий. Это были номера последнего разбора. Оставшись один в комнате, я сел боком на стул, стоявший у окна. Рядом был столик. Я уронил на него голову.

Зачем я так подробно обозначаю свою позу? Потому, что я пробыл в ней всю ночь. Изредка, точно от чего-то прикосновения, я подымал голову и что-то делал со стеной, широко уходившей вкось от меня под темный потолок. Я как саженью промерял ее снизу своей неглядящей пристальностью. Тогда рыдания возобновлялись. Я вновь падал лицом на руки.

Я обозначил положение моего тела с такой точностью, потому что это было его утреннее положение на ступеньке летевшего поезда, и оно ему запомнилось. Это была поза человека, отвалившегося от чего-то высокого, что долго держало его и несло, а потом упустило и, с шумом пронесясь над его головой, скрылось навеки за поворотом.

Наконец я стал на ноги. Я оглядел комнату и распахнул окно. Ночь прошла, дождь повис туманной пылью. Нельзя было сказать, идет ли он или уже перестал. За номер было заплачено вперед. В вестибюле не было ни души. Я ушел, никому не сказавшись.

Тут только бросилось мне в глаза то, что началось вероятно раньше, но всё время заслонялось близостью случившегося и уродливостью того, как плачет взрослый человек.

Меня окружали изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня н и к о г д а не оставить.

Туман рассеялся, обещая жаркий день. Мало-помалу город стал приходить в движенье. По всем направленьям заскользили тележки, велосипеды, фургоны и поезда. Над ними незримыми султанами змеились людские планы и вождельня. Они дымились и двигались со сжатостью близких и без объяснения понятных притч. Птицы, дома и собаки, деревья и лошади, тюльпаны и люди стали короче и отрывистей, чем их знало детство. Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. Менее чем когда-либо я заслуживал братства с этим огромным летним небом. Но об этом пока не говорилось. Временно мне всё прощалось. Я должен был где-то в будущем отработать утру его доверье. И всё кругом было до головокруженья надежно, как закон, согласно которому по т а к и м случаям никогда в долгу не остаются.

Достав без труда билет, я занял место в поезде. Ждать отхода пришлось недолго. И вот я вновь катил из Берлина в Марбург, но на этот раз, в отличие от первого, ехал днем, на готовое и — совершенно другим человеком. Я ехал с удобством на деньги, заимообразно взятые у В., и образ моей марбургской комнаты то и дело мысленно вставал предо мною.

Против меня, задом к цели движенья, курия, качались в ряд: человек в пенсне, норовившем соскользнуть с носу в близко подставленную газету, чиновник лесного департамента с ягдташом через плечо и ружьем на дне вещевой сетки, и еще кто-то, и кто-то еще. Они стесняли меня не больше марбургской комнаты, мысленно видевшейся мне. Род моего молчанья их гипнотизировал. Изредка я намеренно его нарушал, чтобы проверить его власть над ними. Его понимали. Оно ехало со мной, я состоял в пути

при его особе и носил его форму, каждому знакомую по собственному опыту. А то, разумеется, соседи не платили бы мне безмолвным участием за то, что я скорее любезно третирую их, чем с ними общался, и скорее без позы позировал отделенью, чем в нем сидел. Ласки и собачьего чутья в купе было больше, чем сигарного и паровозного дыма, навстречу мчались старые города, и обстановка моей марбургской комнаты от времени до времени мысленно виделась мне. По какой же именно причине?

Недели за две до наезда сестер произошла безделица, для меня тогда немаловажная. Я выступил докладчиком в обоих семинариях. Доклады удались мне. Они получили одобренье.

Меня уговорили поподробнее развить свои положенья и представить их еще в исходе летнего семестра. Я ухватился за эту мысль и заработал с удвоенным жаром.

Но именно по этому пылу искушенный наблюдатель определил бы, что ученого из меня никогда не выйдет. Я переживал изученье науки сильнее, чем это требуется предметом. Какое-то растительное мышление сидело во мне. Его особенностью было то, что любое второстепенное понятие, безмерно развертываясь в моем толковании, начинало требовать для себя пищи и ухода, и когда я под его влиянием обращался к книгам, я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанию, а за литературными ссылками в его пользу. Несмотря на то, что работа моя осуществлялась с помощью логики, воображенья, бумаги и чернил, больше всего я любил ее за то, что по мере писанья она обрастала всё сгущавшимся убором книжных цитат и сопоставлений. А так как при ограниченности срока мне в известную минуту пришлось отказаться от выписок, взамен которых я просто стал оставлять авторов на нужных мне разгибах, то наступил момент, когда тема моей работы материализовалась и стала обозрима простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещенья подобьем древовидного папоротника, налегая своими листовными разворотами на стол, диван и подоконник. Разрознить их значило разорвать ход моей аргументации, полная же их уборка была равносильна сожженью неперебеленной рукописи. Хозяйке было строго-настрога запрещено к ним прикасаться. В последнее время у меня не убирали. И когда дорó-

гой я видел в воображении мою комнату, я, собственно говоря, видел во плоти свою философию и ее вероятную судьбу.

6

По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел.

Мне отворила хозяйка. С головы до ног оглядев меня, она попросила, чтобы впредь в таких случаях я заблаговременно извещал ее или ее дочь. Я сказал, что не мог их предупредить заранее, потому что встретил надобность, не заходя к себе, срочно побывать в Берлине. Она посмотрела на меня еще насмешливей. Мое быстрое появление налегке, как с вечерней прогулки, с другого конца Германии не укладывалось в ее понятия. Это показалось ей неудачной выдумкой. Всё время покачивая головой, она подала мне два письма. Одно было закрытое, другое — местною открыткой. Закрытое было от петербургской двоюродной сестры, неожиданно очутившейся во Франкфурте. Она сообщала, что направляется в Швейцарию и во Франкфурте пробудет три дня. Открытка, на треть исписанная безлично аккуратным почерком, была подписана другою, слишком знакомою по подписям под университетскими объявлениями рукой Когена. Она содержала приглашение на обед в ближайшее воскресенье.

Между мной и хозяйкой произошел по-немецки такой, примерно, разговор: «Какой нынче день?» — «Суббота». — «Я чаю пить не буду. Да, чтоб не забыть. Мне завтра во Франкфурт, разбудите меня пожалуйста к первому поезду». — «Но ведь, если не ошибаюсь, господин тайный советник...». — «Пустяки, успею». — «Но это невозможно. У господина тайного советника садятся за стол в двенадцать, а вы...» Но в этом попечении обо мне было что-то неприличное. Выразительно взглянув на старушку, я прошел к себе в комнату.

Я присел на кровать в состоянии рассеянности, вряд ли длившейся больше минуты, после чего, справясь с волной ненужного сожаленья, сходил на кухню за щеткой и совком. Скинув пиджак и засучив рукава, я приступил к разборке коленчатого растения. Спустя полчаса комната была как в день въезда, и даже книги из фундаментальной не нарушали ее порядка. Аккуратно увязав их в че-

тыре тючка, чтобы были под рукою, как будет случай в библиотеку, я задвинул их ногою глубоко под кровать. В это время ко мне постучалась хозяйка. Она шла сообщить по указателю точный час отхода завтрашнего поезда. При виде происшедшей перемены она вся замерла и вдруг, тряхнув юбками, кофтой и наколкой, как шарообразно вспыренным опереньем, в состоянии трепещущего околоченья поплыла мне навстречу по воздуху. Она протянула мне руку и деревянно и торжественно поздравила с окончанием трудной работы. Мне не хотелось разочаровывать ее в другой раз. Я оставил ее в ее благородном заблуждении.

Потом я умылся и, утираясь, вышел на балкон. Вечерело. Растирая шею полотенцем, я смотрел вдаль, на дорогу, соединявшую Окерсгаузен и Марбург. Уже нельзя было вспомнить, как смотрел я в ту сторону в вечер своего приезда. Конец, конец! Конец философии, то есть какой бы то ни было мысли о ней.

Как и соседям по купе, ей придется считаться с тем, что всякая любовь есть переход в новую веру.

7

Удивительно, что я не тогда же уехал на родину. Ценность города была в его философской школе. Я в ней больше не нуждался. Но у него объявилась другая.

Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхождение переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок.

Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим состоянием. Помимо этого состояния всё на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство.

Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновение, и лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении. Впервые во всем объеме я это понял в описываемое время.

Хотя за объяснениями с В—ой не произошло ничего такого, что изменяло бы мое положение, они сопровож-

дались неожиданностями, похожими на счастье. Я приходил в отчаянье, она меня утешала. Но одно ее прикосновение было таким благом, что смывало волной ликования отчетливую горечь услышанного и не подлежавшего отмене.

Обстоятельства дня походили на шибкую и шумную беготню. Всё время мы точно влетали с разбега во мрак и, не переводя дыхания, стрелой выбегали наружу. Так, ни разу не присмотревшись, мы раз двадцать в течение дня побывали в трюме, полном народу, откуда приводится в движение гребная галера времени. Это был именно тот взрослый мир, к которому я с детских лет так яро ревновал В—ую, по-гимназически любив гимназистку.

Вернувшись в Марбург, я оказался в разлуке не с девочкой, которую знал в продолжение шести лет, а с женщиной, виденной несколько мгновений после ее отказа. Мои плечи и руки больше не принадлежали мне. Они, как чужие, просились от меня в цепи, которыми человека приковывают к общему делу. Потому что вне железа я не мог теперь думать уже и о ней, и любил только в железе, только пленницею, только за холодный пот, в котором отбывает красота свою повинность. Всякая мысль о ней ментально смыкала меня с тем артельно хорovým, что полнит мир лесом вдохновенно-затверженных движений и похоже на сраженье, на каторгу, на средневековый ад и мастерство. Я разумею то, чего не знают дети и что я называю чувством **настоющего**.

В начале «Охранной грамоты» я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду ту очевидность чувства, которая каждое утро опережала всё окружающее достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной. В сравненьи с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, еще требующей проверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света.

Если бы при знаньях, способностях и досуге я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятиях — на понятии силы и символа. Я показал бы, что в отличие от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохожденьи сквозь нее луча силового. Понятье силы я взял бы в том же широчайшем смысле,

в каком берет его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознания сила называется чувством.

Когда мы воображаем, будто в Тристане, Ромео и Юлии и других памятниках изображается сильная страсть, мы не дооцениваем содержания. Их тема шире, чем эта сильная тема. Тема их — тема силы.

Из этой темы и рождается искусство. Оно более односторонне, чем думают. Его нельзя направить по произволу — куда захочется, как телескоп. Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения. Оно его списывает с природы. Как же смещается натура? Подробности выигрывают в яркости, проигрывая в самостоятельности значенья. Каждую можно заменить другою. Любая драгоценна. Любая на выбор годится в свидетельства состоянья, которым охвачена вся переместившаяся действительность.

Когда признаки этого состоянья перенесены на бумагу, особенности жизни становятся особенностями творчества. Вторые бросаются в глаза резче первых. Они лучше изучены. Для них имеются термины. Их называют приемами.

Искусство реалистично, как деятельность, и — символично, как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело. Переносный смысл так же точно не значит ничего в отдельности, а отсылает к общему духу всего искусства, как не значат ничего порознь части смещенной действительности.

Фигурой всей своей тяги и символично искусство. Его единственный символ в яркости и необязательности образов, свойственной ему в с е м у. Взаимозаменяемость образов есть признак положенья, при котором части действительности взаимно безразличны. Взаимозаменяемость образов, то есть искусство, есть символ силы.

Собственно только сила и нуждается в языке вещественных доказательств. Остальные стороны сознания долговечны без замет. У них прямая дорога к воззрительным аналогиям света: к числу, к точному понятию, к идее. Но ничем, кроме движущегося языка образов, то есть языка сопроводительных признаков, не выразить

себя силе, факту силы, силе, длительной лишь в момент явления.

Прямая речь чувства иносказательна и ее нечем заменить.¹

8

Я ездил к сестре во Франкфурт, и к своим, к тому времени приехавшим в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца.

Однажды я особенно увлекся. Была ночь из тех, что с трудом добираются до ближайшего забора и, выбившись из сил, в угаре усталости свешиваются над землей. Полнейшее безветрие. Единственный признак жизни — это именно черный профиль неба, бессильно прислонившегося к плетню. И другой. Крепкий запах цветущего табака и левкоя, которым в ответ на это изнеможенье откликается земля. С чем только не сравнимо небо в такую ночь! Крупные звезды — как званный вечер, млечный путь — как большое общество. Но еще больше напоминает меловая мазня диагонально протянутых пространств ночную садовую грядку. Тут гелiotроп и метиолы. Их вечером поливали и свалили набок. Цветы и звезды так сближены, что, похоже, и небо попало под лейку и теперь звезд и белокрапчатой травки не расцепить.

Я увлеченно писал, и другая, нежели раньше, пыль покрывала мой стол. Та, прежняя, философская, скоплялась из отщепенчества. Я дрожал за целостность моего труда. Нынешней я не стирал солидарности ради, симпатизируя щебню Гиссенской дороги. И на дальнем конце столовой клеенки, как звезда на небе, блистал давно невымытый чайный стакан.

¹ Опасаясь недоразумений, напомню. Я говорю не о материальном содержании искусства, не о сторонах его наполнения, а о смысле его явления, о его месте в жизни. Отдельные образы, сами по себе — воззрительны и зиждутся на световой аналогии. Отдельные слова искусства, как и все понятия, живут познанием. Но не поддающееся цитированию слово всего искусства состоит в движении самого иносказания, и это слово символически говорит о силе.

Вдруг я встал, пронятый потом этого дурацкого всерастворенья, и зашагал по комнате. «Что за свинство!» подумал я. «Разве он не останется для меня гением? Разве это с ним я разрываю? Его открытке и моим подлым пряткам от него уже третья неделя. Надо объясниться. Но как это сделать?»

И я вспомнил, как он педантичен и строг. «Was ist Apperzeption?»* — спрашивает он у экзаменующегося неспециалиста, и на его перевод с латинского, что это означает... durchfassen (прощупать) — «Nein, das heisst durchfallen, mein Herr» (Нет, это значит провалиться), — раздается в ответ.

У него в семинариях читали классиков. Он обрывал среди чтения и спрашивал, к чему клонит автор. Назвать понятие требовалось наотруб, существительным, по-солдатски. Не только расплывчатости, но и близости к истине, взамен ее самой, он не терпел.

Он был туг на правое ухо. Именно с этой стороны подсел я к нему разбирать свой урок из Канта. Он дал мне разойтись и забыться, и когда я всего меньше этого ожидал, огорошил своим обычным: «Was meint der Alte?» (Что разумеет старик?).

Я не помню, что это было такое, но допустим, что по таблице умноженья идей на это полагалось ответить, как на пятью пять. — «Двадцать пять», — ответил я. Он поморщился и махнул рукой в сторону. Последовало легкое видоизменение ответа, не удовлетворившее его своей несмелостью. Легко догадаться, что пока он тыкал в пространство, вызывая знающих, мой ответ варьировался со всё возрастающей сложностью. Всё же пока говорилось о двух с половиной десятках или, примерно, о полусотне, разделенной надвое. Но именно увеличивавшаяся нескладность ответов приводила его во всё большее раздраженье. Повторить же то, что сказал я, после его брезгливой мины, никто не решался. Тогда с движеньем, понятным как, дескать, выручай, Камчатка, он колыхнулся к другим. И: шестьдесят два, девяносто восемь, двести четырнадцать — радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял бурю разликовавшегося вранья и, повер-

* Апперцепция — восприятие, при котором происходит узнавание на основе ранее сложившихся представлений.

нувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мне мой собственный ответ. Последовала новая буря, мне в защиту. Когда он взял всё в толк, то оглядел меня, потрепал по плечу и спросил, откуда я и с какого у них семейства. Затем, сопя и хмурясь, попросил продолжать, всё время приговаривая: «Sehr recht, sehr richtig. Sie merken wohl? Ja, ja. Ach, ach, der Alte!» (Правильно, правильно. Вы догадываетесь? Ах, ах, старик!) И много чего еще вспомнил я.

Ну как подступишься к такому? Что я скажу ему? «Verse?» — протянет он. «Verse!» Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки? — «Verse».

9

Вероятно всё это было в июле, потому что цвели еще липы. Продираясь сквозь алмазины восковых соцветий, как сквозь зажигательные стекла, солнце черными кружочками прожигало пыльные листья.

Я уже и раньше часто проходил мимо учебной площадки. В полдень над ней трамбовочным хопром ходила пыль, и слышалось глухое содрогающееся бряцанье. Там учили солдат, и в часы ученья перед плацем застаивались зеваки, — мальчики из колбасных с лотками на плечах и городские школьники. И, правда, было на что поглядеть. Врассыпную по всему полю попарно подсакивали и клевали друг друга шарообразные истуканы, похожие на петухов в мешках. На солдатах были стеганые ватники и наголовники из железной сетки. Их обучали фехтованью.

Зрелище не представляло для меня ничего нового. Я вдоволь нагляделся на него в течение лета.

Однако утром после описанной ночи, идучи в город и поровнявшись с полем, я вдруг вспомнил, что не дальше часу назад видел это поле во сне.

Так и не решив ничего ночью насчет Когена, я лег на рассвете, проспал утро, и вот, перед самым пробуждением оно мне приснилось. Это был сон о будущей войне, достаточный, как говорят математики, — и необходимый.

Давно замечено, что как много ни твердит о военном времени устав, вдалбливаемый в роты и эскадронах, перехода от посылок к выводу мирная мысль не в силах

произвести. Ежедневно Марбург, строем не проходимый по причине его тесноты, обходили низом бледные и до лбов запыленные егеря в выгоревших мундирах. Но самое большее, что могло прийти в голову при их виде, так это писчебумажные лавки, где тех же егерей продавали листами, с гуммиарабиком в премию к каждой закупленной дюжине.

Другое дело во сне. Тут впечатления не ограничивались надобностями привычки. Тут двигались и умозаключали краски.

Мне снилось пустынное поле, и что-то подсказывало, что это — Марбург в осаде. Мимо проходили гуськом, подталкивая тачки, бледные, долговязые Неттельбеки. Был какой-то темный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридрицианском стиле, с шанцами и земляными укреплениями. На батарейных высотах чуть отлчимо рисовались люди с подзорными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлою земляною вьюгой пульсировала в воздухе, и не стояла, а совершалась. Точно ее всё время подкидывали с лопат. Это было самое грустное сновиденье из всех, какие мне когда-либо являлись. Вероятно я плакал во сне.

Во мне глубоко сидела история с В—ой. У меня было здоровое сердце. Оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзерцирплац, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля пришел в движение, и само сновиденье, на своем круглом ходу, тихо пробило: «Я — сновиденье о войне».

Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе, точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей.

Было обеденное время. В университете знакомых в этот час не оказалось. Семинарская читальня пустовала. К ней снизу подступали частные здания городка. Жара была немилосердная. Там и сям у подоконников возникали утопленники с отжеванными набок воротниками. За ними дымился полумрак парадных комнат. Изнутри входили испитые мученицы в капотах, проварившихся на груди, как в прачешных котлах. Я повернул домой, ре-

шив идти вёрхом, где под замковой стеной было много тенистых вилл.

Их сады пластом лежали на кузничном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень. Я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалдении, в каком я собрался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена. Он меня заметил. Отступление было отрезано.

Моему сыну седьмой год. Когда, не поняв французской фразы, он лишь догадывается о ее смысле по ситуации, среди которой ее произносят, он говорит: я это понял не из слов, а по причине. И точка. Не по причине того-то и того-то, а: понял по причине.

Я воспользуюсь его терминологией, чтобы ум, которым доходят, в отличие от ума, который прогуливают ради манежной гигиены, назвать умом причину.

Такой причинный ум был у Когена. Беседовать с ним было страшновато, прогуливаться — нешуточно. Опираясь на палку, рядом с вами, с частыми остановками подвигался реальный дух математической физики, приблизительно путем такой же поступи, шаг за шагом подбравшей свои главные основоположенья. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценною эссенцией, укупоривавшейся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей.

Он не любил говорить на ходу, а только слушал болтовню спутников, всегда негладкую ввиду ступенчатости марбургских тротуаров. Он шагал, слушал, внезапно останавливался, изрекал что-нибудь едкое по поводу выслушанного и, оттолкнувшись палкой от тротуара, продолжал шествие до следующей афористической передышки.

В таких чертах и шел наш разговор. Упоминанье о моей оплошности только ее усугубило, — он дал мне это понять убийственным образом без слов, ничего не прибавив к насмешливому молчанию упертой в камень палки. Его интересовали мои планы. Он их не одобрял.

По его мнению, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного, с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство. Но моя признательность говорила ему гораздо меньше, чем моя тяга в Москву. В том, как я преподносил ее, он без ошибки улавливал какую-то фальшь и бестолочь, которые его оскорбляли, потому что при загадочной непродолжительности жизни он терпеть не мог искусственно укорачивавших ее загадок. И сдерживая свое раздражение, он медленно спускался с плиты на плиту, дожидаясь, не скажет ли наконец человек дела после столь явных и томительных пустяков.

Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно, кончать же в Москве собираюсь, как большинство, лишь бы кончить, а о последующем возвращении в Марбург даже не помышляю. Ему, прощальные слова которого перед выходом на пенсию были о верности большой философии, сказанные университету так, что по скамьям, где было много молодых слушательниц, замелькали носовые платочки.

10

В начале августа наши перебрались из Баварии в Италию и звали меня в Пизу. Мои средства истощались, их едва хватало на возвращение в Москву. Как-то вечером, каких впереди предвиделось немало, сидел я с Г—вым на исконной нашей террасе и жаловался на печальное состояние моих финансов. Он его обсуждал. Ему в разные времена довелось бедствовать всерьез, и как раз в эти периоды он много пошатался по свету. Он побывал в Англии и в Италии и знал способы прожить в путешествии почти задаром. Его план был таков, что на остаток денег мне следовало бы съездить в Венецию и во Флоренцию, а потом к родителям, на поправочный прикорм и за новой субсидией на обратную поездку, в чем при скупом расходовании остатка, может быть, и не встретилось бы надобности. Он стал наносить на бумагу цифры, давшие и правда прескромный итог.

В кафе со всеми нами дружил старший кельнер. Он

знал подноготную каждого из нас. Когда в разгар моих испытаний в гости ко мне приехал брат и стал стеснять днем в работе, чудак открыл у него редкие данные для бильярда и так приохотил к игре, что тот с утра уходил к нему совершенствоваться, оставляя комнату на весь день в мое распоряжение.

Он принял живейшее участие в обсуждении итальянского плана. Поминутно отлучаясь, он возвращался и, стуча карандашом по Г—ской смете, находил даже и ее недостаточно экономной.

Прибежав с одной из таких отлучек с толстым справочником подмышкой, он поставил на стол поднос с тремя бокалами клубничного пунша и, раскорячив справочник, дважды прогнал его весь с начала и с конца. Найдя в вихре страниц, какую хотел, он объявил, что ехать мне надо этой же ночью курьерским в три с минутами, в ознаменованье чего предложил выпить вместе с ним за мою поездку.

Я недолго колебался. В самом деле, думал я, следя за ходом его рассуждений. Отписка из университета получена. Зачетные отметки в порядке. Сейчас половина одиннадцатого. Разбудить хозяйку грех небольшой. Времени на укладку за глаза. — Решено, — еду.

Он пришел в такой восторг, точно ему самому на другой день предстоял Базель. «Послушайте», сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы. «Вглядимтесь друг в друга попристальней, такой у нас обычай. Это может пригодиться, ничего нельзя знать наперед». Я рассмеялся в ответ и уверил, что это излишне, потому что давно уже сделано, и что я никогда его не забуду.

Мы простились. Я вышел вслед за Г—вым, и смутный звон никелированных приборов смолк за нами, как мне тогда казалось, — навсегда.

Спустя несколько часов, изговорившись в лок и до одури нашагавшись по городку, быстро истощившему небольшой запас своих улиц, мы с Г—вым спустились в прилежавшее к вокзалу предместье. Нас окружал туман. Мы неподвижно стояли в нем, как скот на водопое, и упорно курили с тем молчаливым тупоумием, от которого то и дело тухнут папиросы.

Мало-помалу стал брезжить день. Огороды гусиной кожей стянула роса. Из мглы вырвались грядки атласной

рассады. Вдруг на этой стадии светанья город вырисовался весь разом на присущей ему высоте. Там спали. Там были церкви, замок и университет. Но они еще сливались с серым небом, как клоч паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что, едва выступив, город стал расплываться, как след дыханья, прерванного на полушаге от окна. «Ну, пора!» сказал Г—в.

Светало. Мы быстро расхаживали по каменному перрону. В лицо нам, как камни, летели из тумана куски близившегося грохота. Подлетел поезд, я обнялся с товарищем и, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Криком раскатились кремни бетона, щелкнула дверца, я прижался к окну. Поезд по дуге срезал всё пережитое, и раньше чем я ждал, пронеслись, налетая друг на друга — Лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал книзу оконную раму. Она не подавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся, что было мочи, наружу. Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. Прощай, философия, прощай молодость, прощай Германия!

11

Прошло шесть лет. Когда всё забылось, когда протянулась и кончилась война и разразилась революция, в низкие полутораэтажные сумерки приполз по снегу из тьмы и раздался в квартире вневременный звонок по телефону. «Кто у телефона?» — спросил я. «Г—в» последовал ответ. Я даже не удивился, так это было удивительно. «Где вы?» — внеременно выдал я из себя. Он ответил. Новая нелепость. Место оказалось у нас под боком, перейдя двор. Он звонил из бывшей гостиницы, занятой общежитьем Наркомпроса. Через минуту я сидел у него. Жена его ничуть не изменилась. Детей я раньше не знал.

Но вот что было неожиданно. Оказалось, что он все эти годы прожил на земле, как все, и — хотя за границей, но всё под той же пасмурной войной за освобожденные малых народностей. Я узнал, что он недавно из Лондона. И не то в партии, не то ярый ее сочувственник. Служит. С переездом правительства в Москву автоматически переведен при подлежащей части наркомпросовского аппарата. Оттого и сосед. Вот и всё.

А я бежал к нему, как к марбуржцу. Не для того, конечно, чтобы с его помощью начать жизнь сызнова с того туманного далекого рассвета, когда мы стояли во мгле, точно скот на коровьем броде, — и на этот раз поосторожнее, без войны, по возможности. О, конечно, не для того. Но зная наперед, что подобная реприза немислима, я бежал удостовериться, чем она немислима в моей жизни.

* * *

Впоследствии мне посчастливилось еще раз навещать в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале двадцать третьего года. Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими. Однако и мне было трудно. Я видел Германию до войны, и вот увидел после нее. То, что произошло на свете, явилось мне в самом страшном ракурсе. Это был период Рурской оккупации. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временам, как за подаяньем, рукой (жест для нее несвойственный), и вся поголовно на костылях.

К моему удивлению, хозяйку я застал в живых. При виде меня она и дочь всплеснули руками. Обе сидели на тех же местах, что и одиннадцать лет назад, и шили, когда я явился. Комната сдавалась внаймы. Мне ее открыли. Я бы ее не узнал, если бы не дорога из Окерсгаузена в Марбург. Она как прежде виднелась в окне. И была зима. Неопрятность пустой, захоленной комнаты, голые ветлы на горизонте, всё это было необычно. Ландшафт, когда-то слишком думавший о Тридцатилетней войне, кончил тем, что сам ее себе напрозорчил. Уезжая, я зашел в кондитерскую и послал обеим женщинам большой ореховый торт.

А теперь о Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер.

12

Итак — станции, станции, станции. Станции, каменными мотыльками пролетающие в хвост поезда.

В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки, снуя, оцарапывали крыльями карнизы. Пылающие стены глазами яблоками закатывались

под навесы черновишневых черепичных крыш. Весь город шурил и топырил их, как ресницы. И тем же гончарным пожаром, каким горел дикий виноград на особняках, горело горшечное золото примитивов в чистом и прохладном музее.

«Zwei francs vierzig centimes» — изумительно чисто произносит в лавке крестьянка в костюме кантона, но место слиянья обоих речевых бассейнов еще не тут, а направо, за низко нависшую крышу, на юг от нее, по жаркой, вольно раздавшейся федеральной лазури, и всё время в гору. Где-то под St. Gothard'ом, и — глубокой ночью, говорят.

И такое-то место я проспал, утомленный ночными бденьями двухсуточной дороги! Единственную ночь жизни, когда не подобало спать, — почти как какое-то «Симон, ты спишь?» — да простится мне. И всё же, мгновеньями, пробуждался, стойком у окна, на позорно короткие минуты, «ибо глаза у них отяжелели». И тогда...

Кругом галдел мирской сход недвижно столпившихся вершин. Ага, значит, пока я дремал, и, давая свисток за свистком, мы винтом в холодном дыму ввинчивались из туннеля в туннель, нас успело обступить дыханье, на три тысячи метров превосходящее наше природное?

Была непрогляднейшая тьма, но эхо наполняло ее выпуклою скульптурой звуков. Беззастенчиво громко разговаривали пропасти, по-кумовски перемывая косточки земле. Всюду, всюду, всюду судачили, сплетничали и сочились ручьи. Легко было угадать, как развешаны они по крутизнам и спущены сучеными нитками вниз в долину. А сверху на поезд соскакивали висячие отвесы, рассаживаясь на крышах вагонов и, перекрикиваясь и болтая ногами, предавались бесплатному катанью.

Но сон одолевал меня, и я впадал в недопустимую дремоту у порога снегов, под слепыми Эдиповыми белками Альпов, на вершине демонического совершенства планеты. На высоте поцелуя, который она, как Микель-Анджелова ночь, самовлюбленно кладет здесь на свое собственное плечо.

Когда я проснулся, чистое альпийское утро смотрело в окна. Какое-то препятствие, вроде обвала, остановило поезд. Нам предложили перейти в другой. Мы пошли по рельсам горной дороги. Лента полотна вилась разобщен-

ными панорамами, точно дорогу всё время совали за угол, как краденое. Мои вещи нес босой мальчик-итальянец, совершенно такой, каких изображают на шоколадных обертках. Где-то неподалеку музицировало его стадо. Звяканье колокольчиков падало ленивыми встрясками и отмашками. Музыка сосали слепни, вероятно, на ней дёргом ходила кожа. Благоухали ромашки, и ни на минуту не прекращалось переливанье из пустого в порожнее незримо шлепавшихся отовсюду вод.

Следствия недосыпанья не замедлили сказаться. Я был в Милане полдня и не запомнил его. Только собор, всё время менявшийся в лице, пока я шел к нему городом, в зависимости от перекрестков, с которых он последовательно открывался, смутно запечатлелся мне. Он тающим глетчером неоднократно вырастал на синем от весе августовской жары и словно питал льдом и водой многочисленные кофейни Милана. Когда наконец неширокая площадь поставила меня к его подошве, и я задрал голову, он съехал в меня всем хором и шорохом своих пилястр и башенок, как снежная пробка по колечатому голенищу водосточной трубы.

Однако я едва держался на ногах, и первое, что обещал себе по прибытии в Венецию, так это основательно отоспаться.

13

Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно-темное, как помой, и тронутое двумя-тремя блестящими звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось, и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция. Что я — в ней, что это не снится мне.

Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой пловучей галереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых парходиков, заменяющих тут трамвай.

Катер потел и задыхался, утирал нос и захлебывался, и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились

его затонувшие усы,плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами и всё равно никакие слова не могут дать понятия о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира.

Есть особый елочный восток, восток прерафаелитов. Есть представление о звездной ночи по легенде о поклонении волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений.

Как бы для того, чтобы тем прочней утвердить в русском ухе его ореховую гамму, на катере, пристающем то к одному берегу, то к другому, выкрикивают к сведению едущих: *Fondaco dei turchi! Fondaco dei tedeschi!* Но разумеется, названия кварталов ничего общего с фундаками не имеют, а заключают воспоминанья о каравансараях, когда-то основанных тут турецкими и немецкими купцами.

Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лореданов увидел я первую, или первую поразившую меня, гондолу. Но это было уже по ту сторону Риальто. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши наперерез, стала чалить к ближайшему дворцовому порталу. Ее как бы подали со двора на парадное на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселина, полная дохлых крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалось лунное безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно всё, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алебарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера. А клубочек кабины пропадал, как бы вдавленный в воду в седловине между кормой и носом.

Уже и раньше по рассказам Г—ва о Венеции я рассудил, что всего лучше будет поселиться в районе близ Академии. Тут я и высадился. Не помню, перешел ли я

по мосту на левый берег или остался на правом. Помню крошечную площадь. Ее обступали такие же дворцы, что и на канале, только серее и строже. И они упирались в сушу.

На залитой луной площади стояли, прохаживались и полулежали люди. Их было немного, и они точно ее драпировали движущимися, малоподвижными и неподвижными телами. Был необыкновенно тихий вечер. Мне бросилась в глаза одна пара. Не поворачивая друг к другу голов и наслаждаясь обоюдным отмалчиванием, они напряженно всматривались в противоположную даль. Вероятно, это была отдохавшая прислуга палатки. Сперва меня привлекла спокойная осанка лакея, его стриженная проседь, серый цвет его куртки. В них было что-то неитальянское. От них веяло севером. Затем я увидел его лицо. Оно показалось мне когда-то уже виденным, и только я не мог вспомнить, где это было.

Подойдя к нему с чемоданом, я выложил ему свою заботу о пристанище на несуществующем наречьи, сложившемся у меня после былых попыток почитать Данте в оригинале. Он вежливо меня выслушал, задумался и о чем-то спросил стоявшую рядом горничную. Та отрицательно покачала головой. Он вынул часы с крышкой, поглядел время, защелкнул, сунул в жилет и, не выходя из задумчивости, наклоном головы пригласил следовать за собою. Мы загнули из-за залитого луною фасада за угол, где был полный мрак.

Мы шли по каменным переулочкам не шире квартирных коридоров. От времени до времени они подымали нас на короткие мосты из горбатого камня. Тогда по обе руки вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалась персидским ковром в трубчатом свертке, едва втиснутым на дно кривого ящика.

По горбатым мостам проходили встречные, и за долго до ее появления, о приближении венецианки предупреждал частый стук ее туфель по каменным лещадкам квартала.

В высоте, поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело ночное небо и всё куда-то уходило. Точно по всему Млечному пути тянул пух семенившегося одуванчика, и будто ради того лишь,

чтобы пропустить колонну — другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И удивляясь странной знакомости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречьи и переваливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, ища с его помощью найдешевейшего ночлега.

Но на набережных, у выходов к широкой воде царили другие краски, и тишину сменяла сутолока. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и маслянисто-черная вода вспыхивала снежной пылью как битый мрамор, разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопоривавших машин. А по соседству с ее клокотаньем ярко жужжали горелки в палатках фруктошников, работали языки, и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов.

В одной из ресторанных судомоен у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ *Campro Morosini*, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстояние, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движению. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция... — «Светлые ночи, — сказал бы я, — крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми».

14

«Ну-с, дружище!» — громко, как глухому, прорычал мне хозяин, крепкий старик лет шестидесяти в расстегнутой грязной рубахе, — «я вас устрою, как родного». Он налился кровью, смерил меня взглядом исподлобья и, заложив руки за пряжки подтяжек, забарабанил пальцами по волосатой груди. «Хотите холодной телятины?», не смягчая взгляда, рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа.

Вероятно это был добряк, корчивший из себя страшилище, с усами à la *Radetzki*. Он помнил австрийское владычество, и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему язы-

ком унтеров-далматинцев по преимуществу, то мое беглое произношение навело его на грустные мысли о падении немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него вероятно была изжога.

Поднявшись как на стременах из-за стойки, он кроважно куда-то что-то проорал и пружинисто спустился во дворик, где протекало наше ознакомление. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями. «Я сразу почувствовал к вам расположение, как только вы вошли» — злорадно процедил он, движением руки пригласив меня присесть, и опустился на стул, стола через два или три от меня. Мне принесли пива и мяса.

Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут какие имелись, давно, верно, отужинали и разбрелись на покой, и только в самом углу обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался.

Уплетая телятину, я уже раз или два обратил внимание на странные исчезновения и возвращения на тарелку ее влажно-розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту. У меня слипались веки.

Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках.

Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов стремительного, непрерывного сна. Небылица подтверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать.

Я оглядел помещение, в котором лежал. На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, перьяная метелка на колечке, колотушка, плетеньем зацепленная за гвоздь. Подоконник был загроможден мазями в жестянках. В коробке из-под конфет лежал неочищенный мел.

За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это верно чистили обувь на всю гостиницу.

К шуму примешивались женское шушуканье и детский шепот. В шушукавшей женщине я узнал мою вчерашнюю старушку.

Она приходилась дальней родней хозяйину и работала у него в экономках. Он уступил мне ее конуру, однако, когда я пожелал это как-нибудь исправить, она сама встревоженно упросила меня не вмешиваться в их семейные дела.

Перед одеваньем, потягиваясь, я еще раз оглядел всё кругом, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства минувшего дня. Мой вчерашний провожатый напоминал оберкельнера в Марбурге, того самого, что надеялся мне еще пригодиться.

Вероятный налет вмененья, заключавшийся в его просьбе, мог еще увеличить это сходство. Это-то и было причиной инстинктивного предпочтенья, которое я оказал одному из людей на площади перед всеми остальными.

Меня это открытие не удивило. Тут нет ничего чудесного. Наши невиннейшие «здравствуйте» и «прощайте» не имели бы никакого смысла, если бы время не было пронизано единством жизненных событий, то есть перекрестными действиями бытового гипноза.

15

Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с живою личностью.

С какой стороны ни итти на пьядцу, на всех подступах к ней стережет мгновенье, когда дыханье учащается, и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии, или телеграфа, дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную, площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дождей и трехстороннюю галерею.

Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущению, что Венеция — город, обитаемый зданьями. Четырьмя перечисленными, и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное

в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться. Кроме того оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Всё занято красотой.

Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьедестале в позах, которые были бы естественны при прощании с живым лицом, площадь ревнует к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская.

16

Однажды под этими же штандартными мачтами, переплетаясь по коленям, как золотыми нитками, толпилось три великолепно вотканных друг в друга столетия, а недалеко от площади недвижимой корабельной чащей дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высывались из-за чердаков, галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уставясь ребром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно-развернутого напора. И в том же выносном величьи стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы.

По тем временам это был флот очень сильный. Он поражал своей численностью. Уже в пятнадцатом веке в нем одних торговых судов, не считая военных, насчитывалось до трех с половиной тысяч, при семидесяти тысячах матросов и судорбочих.

Этот флот был невымысленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей скучал плененный воздух. Флот томил и угнетал. Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это значит понять, как обманывает искусство своего заказчика.

Любопытно происхождение слова «панталоны». Когда-то, до своего позднейшего значения штанов, оно начало лицо итальянской комедии. Но еще раньше, в первоначальном значении, «*pianta leone*» выражало идею венецианской победоносности и значило: водрузительница льва (на знамени), т. е. — иными словами — Венеция-завоевательница. Об этом есть даже у Байрона в Чайльд Гарольде:

Her very byword sprung from victory,
The «Planter of the Lion», which through fire
And blood she bore o'er subject earth and sea¹

Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона. Пойдем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки?

Эмблема льва многообразно фигурировала в Венеции. Так, и опуская щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта «*bocca di leoni*» современникам, и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения.

Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались.

И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в возможном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторождение, чтобы в отличие от отдельных картин увидеть самое живопись, как золотую топь, как один из первичных омутов творчества.

¹ Даже и ее прозвище произошло от победы, — распространительница льва, которого сквозь огонь и кровь она несла покоренной суше и морю.

Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направлении, в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным образом в течение лет, и в своем сжатом заключении я не удалюсь от правды.

Я увидел, какое наблюдение первым поражает живописный инстинкт. Как вдруг постигается, каково становится видимому, когда его начинают видеть. Будучи замечена, природа расступается послушным простором повести, и в этом состоянии ее, как сонную, тихо вносят на полотно. Надо видеть Карпаччио и Беллини, чтобы понять, что такое изображение.

Я узнал далее, какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда, при достигнутом тождестве художника и живописной стихии, становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне — исполнитель, исполненное или предмет исполненья. Надо видеть Веронеза и Тициана, чтобы понять, что такое искусство.

Наконец, недостаточно оценив эти впечатления в то время, я узнал, как мало нужно гению для того, чтобы взорваться.

Кто поверит? Тождество изображенного, изобразителя и предмета изображенья, или шире: равнодушие к непосредственной истине, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти. Надо видеть Микель Анджело Венеции — Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник.

Однако в те дни я не входил в эти тонкости. Тогда в Венеции, и еще сильнее во Флоренции, или чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после путешествия зимы в Москве, мне приходили в голову другие, более специальные мысли.

Главное, что выносит всякий от встречи с итальянским искусством, это ощущение осязательного единства

нашей культуры, в чем бы он его ни видел и как бы ни называл.

Как много, например, говорилось о язычестве гуманистов, и как по-разному, — как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение веры в Воскресенье с веком возрождения — явление необычайное и для всей европейской образованности центральное. Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного, в трактовках канонических тем всех этих «Введений», «Вознесений», «Бракосочетаний в Кане» и «Тайных вечерь», с их разнузданно-великосветской роскошью?

И вот именно в этом несоответствии сказала мне тысячелетняя особенность нашей культуры.

Италия кристаллизовала для меня то, чем мы бессознательно дышим с колыбели. Ее живопись сама додела-ла для меня то, что я должен был по ее поводу додумать, и, пока я днями переходил из собрания в собрание, она выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краске наблюдение.

Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково всё вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие от него века. Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым, — актуальный момент текущей культуры.

Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда понимал и любил.

Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки-саланганы, построили мир — огромное гнездо, сплетенное из земли и неба, жизни и смерти, и двух времен, наличного и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его частиц.

Но я был молод и не знал, что это не охватывает судьбы гения и его природы. Я не знал, что его существо

покоится в опыте реальной биографии, а не в символике, образно преломленной. Я не знал, что в отличие от примитивов его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья. Замечательна одна его особенность. Хотя все вспышки нравственного аффекта разыгрываются внутри культуры, бунтовщику всегда кажется, что его бунт прокатывается на улице, за ее оградой. Я не знал, что долговечнейшие образы оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми руками.

Когда папа Юлий Второй выразил неудовольствие по поводу колористической бедности Сикстинского плафона, то в применении к потолку, изображающему создание мира с полагающимися фигурами, Микель Анджело, оправдываясь, заметил: «В те времена в золото не рядились. Особы, здесь изображенные, были людьми небогатыми». Вот громоподобный и младенческий язык этого типа.

Предела культуры достигает человек, таящий в себе укрощенного Савонаролу. Неукрощенный Савонарола разрушает ее.

19

Вечером накануне отъезда на пьядце был концерт с иллюминацией, какие часто там устраивались. Ограничивающие ее фасады сверху донизу оделись остриями лампочек. Ее с трех сторон озарил черно-белый транспарант. Лица слушавших под открытым небом вспарило банной яркостью, как в закрытом великолепно освещенном помещении. Вдруг с потолка воображаемого бального зала стало слегка накрапывать. Но едва начавшись, дождик внезапно перестал. Иллюминационный ответ кипел над площадью цветной мглой. Колокольня св. Марка ракетой из красного мрамора врезалась в розовый туман, до половины заволакивавший ее верхушку. Несколько подальше клубились темно-оливковые пары, и в них сказочно прятался пятиголовый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскачь примчавшихся из древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва.

Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшийся музыкой. Это было кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались подобно шороху коньков в ледяной чашке катка.

Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщение. Они оборачивались на ходу, точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающе изгибая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе *allegro irato* странно соответствовала черному дрожанию иллюминации в белых царпинах алмазных огоньков.

В стихах я дважды пробовал выразить ощущение, навсегда связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так внимательно, точно там мог остаться след мгновенно смолкшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не возшло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездье, со смутно готовым представлением о нем, как о созвездьи Гитары.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посередке лимонов. На деревья низко свешивалось вьюжное небо, и всё белое кругом было сине.

По бульварам, нагибаясь, как для боданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал, все же вместе были моими ровесниками, то есть неисчислимыми лицами моего детства.

Их только что стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов: овладеть, извлечь пользу, присвоить. Они обнаруживали поспешность, достойную более внимательного разбора.

На свете есть смерть и предвидение. Нам мила неизвестность, наперед известное страшно, и всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающей неотвратимости. Живым видам негде было бы существовать и повторяться, если бы страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, какое есть время постепенного разрушения вселенной.

Но жизни есть где жить и страсти есть куда прыгать, потому что наряду с общим временем существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных в воспроизведении, и одним из них является всякое новое поколение.

Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее, и это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежало в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшее конца человечество.

А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за это сходство, как терпятся портреты жен и матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенной разгадке смерти.

Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шиб-

че, горячей и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти невысказано, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникло не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца. Таково было искусство. Каково же было поколение?

Мальчикам близкого мне возраста было по тринадцать лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользование старикам и детям.

Когда я возвращался из-за границы, было столетие Отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Станционное здание в Кубинке было утыкано флагами, у дверей стоял усиленный караул. Поблизости происходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом рыхлого, не везде еще притоптанного песка.

Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствования — равнодушием к родной истории. И если торжества на чем и отражались, то не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором.

Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова, его рассказы поры писанья царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых, курьезы, сопровождавшие кутеповское издание «Царской охоты», и множество подходящих к случаю мелочей, связанных с училищем живописи, которое состояло в ведении министерства императорского двора и в котором мы прожили около двадцати лет. Я также мог бы вспомнить девятьсот пятый год, драму в семье Касаткина и мою грошовую революционность, дальше бравирования перед казацкой нагайкой и удара ею по спинке ватной шинели не пошедшую. Нако-

нец, что касается сторожей, станций и флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм.

Поколение было аполитичным, мог бы я сказать, если бы не сознавал, что ничтожной его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для суждения обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но тою же стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявлениями о своей науке, своей философии и своем искусстве.

2

Однако культура в объятья первого желающего не падает. Всё перечисленное надо было взять с бою. Понимание любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влечения, пережитого со всем волнением, как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого состояния. Новички объединялись в группы. Группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немыслимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал всё кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого романа. Эпигоны представляли влечение без огня и дара, новаторы ничем, кроме выхолощенной ненависти, не движимую воинственность. Это были слова и движения крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется, по частям, в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевлявшем эту бурю.

Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокійны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движение, новаторство отличалось видимым единодушием. Но как в движениях всех времен, это было единодушие лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движения бы-

ло остаться навеки движением, то есть любопытным случаем механического перемещения шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значения. Движение называлось футуризмом.

Победителем и оправданием тиража был Маяковский.

3

Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем Ю. Анисимов показал мне его стихи в «Садке судей», как поэт показывает поэта. Но это было в эпигонском кружке «Лирика», эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке Маяковский был открыт как явление многообещающей близости, как громада.

Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал (это было в 1914 году, весной), что Шершеневич, Большаков и Маяковский наши враги и с ними предстоит нешуточное объяснение. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали всё более и более, нисколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарождение «Центрифуги» сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я приготовился снова предать что угодно, когда придется. Но на этот раз я переоценил свои силы.

Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеря звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам. У них были красивые голоса. Позднейшая декламационная линия поэзии пошла отсюда. Они были одеты элегантно, мы — неряшливо. Позиция противника была во всех отношениях превосходной.

Пока Бобров препирался с Шершеневичем, — а суть

дела заключалась в том, что они нас однажды задели, мы ответили еще грубее, и всему этому надо было положить конец, — я не отрываясь наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые.

Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличие от игры в отдельное он разом играл во всё, в противность разыгрыванию ролей — играл жизнью. Последнее — без какой бы то ни было мысли о его будущем конце — улавливалось с первого взгляда. Это-то приковывало к нему и пугало.

Хотя всех людей на ходу и когда они стоят видно во весь рост, но то же обстоятельство при появлении Маяковского показалось чудесным, заставив всех повернуться в его сторону. Естественное казалось в его случае сверхъестественным. Причиной был не его рост, а другая, более общая и менее уловимая особенность. Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явлении. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства, редко когда и лишь в случаях особых потрясений выходящего из мглы невыбродивших намерений и несостоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставляли его уже в снопе ее бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его

манерою держаться чудилось нечто подобное решению, когда оно приведено в исполнение и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решением была его гениальность, встреча с которой когда-то так его поразила, что стала ему на все времена тематическим предписанием, воплощению которого он отдал всего себя без жалости и колебания.

Но он был еще молод, формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищение же, осуществляемое в первом лице, есть поза.

Из этих поз, естественных в мире высшего самовыражения, как правила приличия в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки.

А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально-мнительное и склонное к беспричинной угрюмости безволие. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мешанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Потому что никто, как он, не знал всей пошлости самородного огня, не разъяряемого исподволь холодной водой, и того, что страсти, достаточной для продолжения рода, для творчества недостаточно, потому что оно нуждается в страсти, требующейся для продолженья образа рода, то есть в такой страсти, которая внутренне подобна страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованию.

Вдруг переговоры кончились. Враги, которых мы должны были уничтожить, ушли непопранными. Скорее условия выработанной мировой были унижительны для нас.

Между тем на улице потемнело. Стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились мухи, недоеденные пирожные, ослепленные горячим молоком стаканы. Но гроза не состоялась.

В панель, скрученную мелким лиловым горошком, сладко ударило солнце. Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко! Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались. Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем. Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел?

4

Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, потягиваясь и укладывая морды поудобней на передние лапы, худые длинноязыкие собаки. Няни, кума с кумой, всё о чем-то судачили и о чем-то сокрушались. Бабочки мгновеньями складывались, растворясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась в воздухе, всю себя за пятки охлестывая свистящими кругами веревочной скакалки.

Я увидал Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направлению к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть.

Зеленели тополя. Суховато серели липы. Выведенные блохами из терпенья, сонные собаки вскакивали на все лапы сразу и, призвав небо в свидетели своего морального бессилья против грубой силы, валились на песок в состоянии негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую. И кругом стригли, брили, пекли и жарили, торговали, передвигались — и ничего не ведали.

Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал не помня себя, всем перехваченным сердцем, затаив дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слышал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный, таинственный, летний текст, теперь доступный каждому в десятом издании.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия — одно недоразумение, временно не разъясненное.

И как просто было это всё! Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавие скрывало гениально простое открытие, что поэт — не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавие было не именем сочинителя, а фамилией содержания.

5

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь. Но он был огромен, удержать его в разлуке не представляло возможности. И я его утрачивал. Тогда он напоминал мне о себе. «Облаком в штанах», «Флейтой-позвоночником», «Войной и миром», «Человеком». То, что выветривалось в промежутках, было так громадно, что и напоминания требовались экстраординарные. Такими они и бывали. Каждый из перечисленных этапов заставлял меня неподготовленным. На каждом, выросши до неузнаваемости, он весь рождался вновь, как в первый раз. К нему нельзя было привыкнуть. Что же в нем было столь непривычного?

Он обладал сравнительно постоянными качествами. Относительно устойчива была и моя восторженность. Она всегда для него была готова. Казалось бы, при таких условиях и привыкание мое не должно было бы делать скачков. Между тем вот как обстояло дело.

Пока он существовал творчески, я четыре года призывал к нему и не мог привыкнуть. Потом привык в два часа с четвертью, что длилось чтение и разбор нетворче-

ских «150.000.000-нов». Потом больше десяти лет протомился с этой привычкой. Потом вдруг разом ее в слезах утратил, когда он во весь голос о себе напомнил, как бывало, но уже из-за могилы.

Привыкнуть нельзя было не к нему, а к миру, который он держал в своих руках, и то пускал в ход, то приводил в бездействие по своему капризу. Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничивании магнита, когда, в сохранении всей внешности, ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображение и притягивавшая какие-угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался.

Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому трагедии, к фамилии содержания, к поэту, извечно содержащемуся в поэзии, к возможности, осуществляемой наиболее сильными, а не к так называемому «интересному человеку».

С зарядом этой непривычности я и пошел домой с бульвара. Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С., семьи, глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображение, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической натуры. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.

6

Зеленели тополя, и ящерицами бегали по речной воде отражения золота и белого камня, когда я Кремлем к Покровке проехал на вокзал и оттуда с Балтрушайтисами на Оку в Тульскую губернию. Там под боком жил Вячеслав Иванов. Остальные дачники были также из артистического мира.¹

¹ Среди них — Е. В. Муратова.

Еще цвела сирень. Выбежав далеко на дорогу, она только что без музыки и хлеба-соли устраивала живую встречу на широком въезде в имение. За ней долго еще спускался к домам пустой, избитый скотом и поросший неровною травой двор.

Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникавшего Камерного театра я переводил комедию Клейста «Разбитый кувшин». В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купаньи. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт. С гиперболизмом Гюго первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов.

7

Когда объявили войну, занемогло, пошли дожди, полились первые бабьи слезы. Война была еще нова и в тряс страшна этой новостью. С ней не знали как быть, и в нее вступали, как в студеную воду.

Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из волости на сбор, отходили по старому расписанию. Поезд трогался, и ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна не похожего на плач, неестественно-нежного и горького, как рябина, кукования. Пожилую, не по-летнему укутанную женщину подхватывали на руки. Родня снаряженного с односложными уговорами отводила ее под станционные своды.

Это, только в первые месяцы державшееся, причитание было шире горя молодых и матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии, начальники станций брали при его следовании под козырек, телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видимое отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому что это была отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду и, как выведут за руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью проселка. Так провожали своих, вольными одиночками или с земляками уезжавших в город в зеленых вагонах.

Солдат же, готовыми маршевыми частями проходивших прямо туда, в самый страх, встречали и провожали без голошения. Во всем в обтяжку они не по-мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накиннутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, надменными ударами копыт ковырявших грязную древесину подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, за ответом в карман не лезла и, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы плотно скелотых платков.

Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара горел в лощинах мусорно-золотой орешник, погнутый и обломанный ветрами и лазальщиками по орехи, сумбурный образ разорения, свернутого со всех суставов упрямым сопротивлением беде.

Как-то в августе в полдень ножи и тарелки на террасе позеленели, на цветник пали сумерки, притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще закосился ввысь, на унижительную загадку, превращавшую во что-то заштатное землю, громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул ее и вдруг бросил и замер. И снова сломал и осыпал сухую охалку игл, и высунул, и спрятал свиную морду. Всё время, что длилось затмение, то сапожком, то шишкой собирался клубок колючей подозрительности, пока предвестье возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.

8

Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С—х, З. М. М—ва. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним) — И. Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той поре я уже привык видеть в нем первого поэта поколения. Время показало, что я не ошибся.

Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и донине для меня недоступна, по-

тому что поэзия моего понимания всё же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью.

Был также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами, и при всей неряшливой пошлости поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара.

Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколение выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращении от времени к миру слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую.

Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движения. В хозяйстве М—вой я увидел тогда первый в моей жизни примус. Изобретение не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе в ней такое широкое распространение?

Чистый ревущий кузов разбрасывал высоконапорное пламя. На нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты, локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским загаром. Холодная кухонька превращалась в поселение на Огненной Земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими патагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, Архимедовское. И — бегали за пивом и водкой.

В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как сладями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшению приглашали особо, с утра, по возможности, то есть часа в три пополудни.

Маяковский читал, смешил всё общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбуждение. С ним что-то творилось, в нем совер-

шался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначение. Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.

9

Но не всегда он приходил в сопутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходявший из испытания, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. Как впоследствии его еще более крепкое единение с другом на всю жизнь, Л. Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце, он был в соответствии с собой и не ронял себя.

Обычно же его симпатии вызывали недоумение. Поэт с захватывающе крупным самосознанием, дальше всех зашедший в обнажении лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он так же широко и крупно подхватил другую традицию, более местную.

Он видел под собою город, постепенно к нему поднывавшийся со дна «Медного всадника», «Преступления и наказания» и «Петербурга», город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции, по существу же город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город девятнадцатого и двадцатого столетия.

Он обнимал такие виды — и на ряду с этими огромными созерцаниями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличия посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или, чтоб назвать главное. Он до конца всё что-то находил в ветеранах движения, им самим давно и навсегда упраздненного.

Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направлении осознанной неизбежности.

10

Однако всё это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла.

Уже мы проваливались повсегда трудным для огромной России предметам транспорта и снабжения. Уже из новых слов: наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело — вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи, спешно, с песнями, вывозили крупные партии свежего коренного населения в обмен на порченное, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры.

Местом истинных положений был фронт, и тыл всё равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней цветочной витрины.

Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.

От М—вой напротив был дом московского полицеймейстера. Осенью в течение нескольких дней меня там stalkивала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей, требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло.

Меня заклил отказаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре затем он погиб в первом из боев по возвращении на позиции из этого отпуска.

Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же, после летнего освобождения перед самой войной, освобождался при всех последующих переосвидетельствованиях.

Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.

Как всегда, оживленное движение столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерок, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снега, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть.

Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношении шел еще больше, чем Москве.

Это было время «Флейты-позвоночника» и первых набросков «Войны и мира». Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах». Он рассказывал про новых друзей, к которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема всё шире проникает в его замыслы и позволяет ему работать по-новому, в определенные часы, размеренными порциями. И тогда я в первый раз побывал у Бриков.

Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте Капитанской дочки, на Урале и в пугачевском Прикамьи.

Вскоре после Февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые «Войну и мир». Я не стал распространяться о впечатле-

нии. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь всё это гласно послал к чертям. Смеясь, он почти со мной соглашался.

11

В предшествующем я показал, как я воспринимал Маяковского. Но любви без рубцов и жертв не бывает. Я рассказал, каким вошел Маяковский в мою жизнь. Остается сказать, что с ней при этом сделалось. Теперь я восполню этот пробел.

Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был помоложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз.

Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения. Я их заметил. Я понимал, что, если не сделать чего-то с собою, они в будущем участвуют. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.

Это представление владело Блоком лишь в течение некоторого периода. В той форме, в которой оно было ему свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представлением расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.

В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом, полагающем себя в мерилы жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте романтическое непонимание

покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто не проходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.

Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основание, немислим без не-поэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познанием лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишаящийся половины своего содержания.

Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла. И, во-первых, я освобождался от нее бессознательно, отказываясь от романтических приемов, которым она служила основанием. Во-вторых, я и сознательно избегал ее, как блеска, мне неподходящего, потому что, ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положение.

Когда же явилась «Сестра моя жизнь», в которой нашли выражение совсем несовременные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали.

В не убравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник, чрезвычайной рассеянности и добродушия, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охалками сгребал со стола и сносил на кухню газеты всех направле-

ний за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложениями из свиной кромки и хлебных горбушек скапливались между его утренними чтениями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее, как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и конторщиках. При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов.

Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль. И, как часто тогда, сразу не разобрать бывало, на улице ли это или в доме. А это минутами просветления среди сплошного беспамятства звал к себе из кабинета его единственный, переносный со штепселем, жилец.

Отсюда телефонным звонком приглашали меня в особняк в Трубниковском, на сбор всех, какие могли только оказаться тогда в Москве, поэтических сил. По этому же телефону, но гораздо раньше, до корниловского мятежа, спорил я с Маяковским.

Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым, но также и с вернейшими из верных, в том числе и с тем, кажется, что разбивал лбом верхковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые, как с чужим, говорил со своим любимцем, и, приходя во всё большее раздражение, один за другим парировал его доводы в свое оправдание. Я удивлялся не столько его бесцеремонности, сколько проявленной при этом бедности воображения, потому что инцидент, как говорил я, заключался не в его непрошеном распоряжении моим именем, а в его досадном убеждении, что мое двухлетнее отсутствие не изменило моей судьбы и занятий. Следовало вперед поинтересоваться, жив ли я еще и не бросил ли литературы для чего-нибудь лучшего. На это он резонно возражал, что после Урала я уже с ним виделся раз весною. Но удивительнейшим образом резон этот до меня не доходил. И я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки к афише, вещи по близости вечера неисполнимой, и по моей тогдашней безвестности, — аффективно бессмысленной.

Но хотя я тогда еще прятал «Сестру мою жизнь» и скрывал, что со мной делалось, я не выносил, когда кругом принимали, будто у меня всё идет по-прежнему. Кро-

ме того совсем глухо во мне, вероятно, жил именно тот весенний разговор, на который Маяковский так безуспешно ссылался, и меня раздражала непоследовательность этого приглашения после всего, тогда говорившегося.

13

Телефонную эту перепалку напомнил он мне спустя несколько месяцев в доме стихотворца-любителя А. Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цветаева. Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но, не зная и тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросающуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищение. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов.

Началось чтение. Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха. Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека». Он барельефом, каким я всегда видел его на времени, высился среди сидевших и стоявших, и то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности.

Против него сидел с Маргаритой Сабашниковой Андрей Белый. Войну он провел в Швейцарии. На родину его вернула революция. Возможно, что Маяковского он видел и слышал впервые. Он слушал, как завороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно несло навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуважения не выходило. Все чувствовали себя именами, все — поэтами.

Один Белый слушал, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостью, которой ничего не жаль, потому что на высотах, где она чувствует себя как дома, ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится.

Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправдания двух последовательно исчерпавших себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствовал Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи. В тот вечер я это пережил в последний раз.

После этого прошло много лет. Прошел год, и, прочтя ему первому стихи из «Сестры», я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать. Прошел еще год. Он в тесном кругу прочитал 150.000.000. И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в течение которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я всё меньше и меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего понимания, повидимому — непреодолимыми. Воспоминания об этом времени вышли бы бледными и ничего бы к сказанному не прибавили. И потому я прямо перейду к тому, что мне еще осталось досказать.

14

Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта.

Вдруг кончают не поддававшиеся завершению замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не хвалятся подъемом духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланию защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить кре-

стьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопатывали заграничный паспорт.

Но другие, как оказывается, в те же самые дни недели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом.

Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого, — Пушкиным девятьсот тридцать шестого года? Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо и бьется, и думает, и хочет жить. Что множившиеся всё время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются, и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью. Что это не иносказание. Что это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще и не названный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть. Что она похожа на смерть. Что она похожа на смерть, но — совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, только бы люди не пожелали полного сходства.

И вместе с сердцем смещаются воспоминания и произведения, произведения и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданию. Какова была его личная жизнь? — спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни. Огромная, предельного разноречия область стягивается, сосредоточивается, выравнивается и вдруг, вздрогнув одновременностью по всем частям своего сложения, начинает существовать телесно. Она открывает глаза, глубоко вдыхает и сбрасы-

вает с себя последние остатки позы, временно данной ему вподмогу.

И если вспомнить, что всё это спит ночью и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, — естественно ждать соответствующих явлений и в его поведении.

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете.

Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломить его непризнание. С тех пор утекло много воды. Его признание вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большее усилие памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волнение. В нем мигают огоньки, и, кашляя в платки, щелкают на счетах. Его засыпает снегом.

Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая, дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рожденья!? И вновь, как в детстве, замечается всё. Лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страшный мир!

Он топорщится спинками шуб и санок, он, как грибенник по полу, катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается и мельчает и кишит случайностями. В нем так легко напороться на легкий недостаток внимания! Это неприятности, намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравнении с обидами, по которым так торжественно шагало еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была ровней и правдоподобней!

Но она невероятна и бесподобна, и однако так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не швыряло.

Как тут падают духом! Как опять повторяется весь Андерсен с его несчастным утенком! Каких только слонов не делают тут из мух!

Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир?

«Просят не курить». «Просят дела излагать кратко». — Разве это не истины?

«— Этот? — Повесится? — Будьте покойны». «— Любить? — Этот? — Ха-ха-ха! Он любит только себя».

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетения двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Всё туманится, всё закатывается и пропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение? Так это смерть?

15

В отделах записей актов гражданского состояния приборов для измерения правдивости не ставят, искренности рентгеном не просвечивают. Для того чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирующей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуждают.

Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность, он свою искренность измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполнением, и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять.

Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнивает только с ним одним и со всем его предшествующим. Они строят предположения о его чувстве — и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а, хотя бы и не навеки, всем полным собранием прошедших дней.

Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего!

Она с детства стеснена в движениях. Она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, это так называемый Божий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться.

Она подростком выходит за ворота. Какие у ней умыслы? Она уже получает письма до востребования. Она

держит в курсе своих тайн двух-трех подруг. Всё это у нее уже есть, и допустим: она выходит на свидание.

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желания. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновения, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность вселенной никогда ее не покидает.

Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы. Винно-зеленое, слабого настою некрепкое бледное небо, пыль, родина, сухие щепящиеся голоса. Сухие, как щепки, звуки и вся в их зазорах, — гладкая, горячая тишина.

Навстречу — человек по дороге, тот самый, которого естественно было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто не сколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше, они идут вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадается им навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они несут ее дальше, он и она едва поспевают друг за другом, но неожиданно дорога выводит на некоторую широту, где будто малолюднее и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в это же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы тут ни произошло, всё равно, всё равно какое-то совершеннейшее «я — это ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль.

16

Начало апреля застало Москву в белом остолбенении вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положения еще не все привыкли.

Узнав о несчастье, я вызвал на место происшествия О. С. Что-то подсказало мне, что это потрясение даст выход ее собственному горю.

Между одиннадцатью и двенадцатью всё еще разбежались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой события. Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин, первыми известившие меня о несчастье. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протаскивали тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спрудились у выхода, так что, когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок.

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участие асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышание. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню.

Трамвай медленно взбирался на Швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, что, хватаясь за ремень, невольным движением нагибаешься над Москвой, как к поскользнувшейся старухе, потому что она вдруг опускается на четвереньки, скучно обирает с себя часовщиков и сапожников, подымает и переставляет какие-то крыши и колокольни и вдруг, встав и отряхнув подол, гонит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице.

На этот раз ее движения были столь явным отрывком из застрелившегося, то есть так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь задрожал и знаменитый телефонный вызов из «Облака» сам собой прогрохотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в проходе возле С—ой и наклонился к ней, чтобы напомнить восьмистишь, но

...«И чувствую «я» для меня мало»... складывали губы, как пальцы в варежках, проговорить же вслух я от волнения не мог ни слова.

В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала кучка любопытных.

В передней и столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Лилину комнату была открыта, и у порога, прижав голову к притолоке, плакал Асеев. В глубине у окна, втянув голову в плечи, тряся мелкой дрожью беззвучно рыдавший Кирсанов.

Сырой туман оплакивания прерывался и тут озабоченными разговорами вполголоса, как по окончании панихид, когда после густой, как варенье, службы первые слова, сказанные шопотом, так сухи, что кажутся произнесенными из-под полу и пахнут мышами. В один из таких перерывов в комнату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе раздевшись было еще вдрызг дрожко, и воробьи и ребятишки взбадривали себя беспричинным криком.

Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил, послана ли телеграмма Лиле. Л. А. Г. ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, обратив внимание на мужество, с каким Л. А. нес страшную тяжесть потрясшегося. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку.

В окно лилось кажущееся безучастье безмерного мира. Вдоль по нему, точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Глядя на сучья в горячающихся почках, я постарался представить себе далеко-далеко за ними тот маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там вскоре должны были вскрикнуть, простереть сюда руки и упасть без памяти. Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз вырветься в полную досталь.

Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам называл себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть заостренила мимику, почти никогда не попадаю-

щуюся ей в лапы. Это было выражение, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал.

Но вот в сенях произошло движение. Особняком от матери и старшей сестры, уже неслышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного, Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещение вплыл ее голос. Подымаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» — крикнула она на весь дом. Прошло мгновение. «Молчит!» — закричала она того пуще. «Молчит! Не отвечает, Володя. Володя!! Какой ужас!»

Она стала падать, ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ноги, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разревелся, как мне давно хотелось.

Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, как селитрой, вонял обожествлением неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на обезьяньей подражательности и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали, но оттого, что потрясенная глотка с животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, от чего тошнит отчаянием и рвет убийством.

Сестра первую плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великом, и под ее слова плакалось ненасытимо широко, как под рев органа.

Она же не унималась. «Баню им!» — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. «Чтобы посмешнее! Хохотали. Вызывали. — А с ним вот что делалось. — Что ж ты к нам не пришел, Володя?» — навзрыд протянула она, но, тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему поближе. «Помнишь, помнишь, Володичка?» — почти как живому вдруг напомнила она и стала декламировать:

И чувствую «я» для меня мало!
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Алло!
Кто говорит!? Мама?
Мама! Ваш сын прекрасно болен.
Мама! У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,
Ему уже некуда деться.

17

Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали.

Вдруг внизу под окном мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был собственно этому гражданству едва ли не единственным гражданином. Именно у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись привыком к состояниям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда.

НАДМЕННЫЙ НИЩИЙ

Тысяча девятьсот второй или третий год, жаркий день апреля. Видимо, это на Фоминой, перед обычным в Москве майским похолоданием. Кругом простор и широкая слышимость, сменившие долгошумные проводы Пасхи. Небо еще не просохло от целодневного звона, которым его поливали всю святую.

Мне девять лет, десятый. Уже полчаса, как я без дела слоняюсь по 3-му Богоявленскому, заглядывая в его дворы и зазевываясь на колокольни. Скоро я тут поселюсь, в доме Громеко. Пока же, хотя и частый его посетитель, я переулку еще чужой и плохо знаю эти места.

Какая-то площадь виднеется вдаль, за дровяным двором, обрывающимся в нижнем конце переулка. Я не знаю, что это Большие Скотники, которые так поразят меня через два или три года, и что из двух домов на площади один, многостекольный и из голого кирпича, — Щепихинские мастерские, а другой, крашеный в охру, — анилиновая фабрика «Анонимного общества». Также не знаю я, что, вопреки настоящему своему названию, красивая церковь с тринадцатью куполами в верхней части переулочка зовется Взысканьем Погибших, по имени чудотворной иконы, в ней находящейся.

Еще квартирую я у Федора Степановича Остромысленского, дальнего родственника Громеко, их седьмой воды на киселе, которого вслед за всеми зову дядей Федей. Никогда не задумываюсь я над тем, кем он мне приходится. Матрена Ивановна Белестова, дочь псаломщика, молоденькая его сожительница и по этой причине отвер-

женница родной семьи, величает его моим сухотником, то есть человеком, призванным обо мне заботиться. Сколько себя помню, я всегда с ним, хотя и не знаю, как у него очутился.

Сейчас он у Громеко, а меня оставил на улице, чтобы я случился под рукой, когда ему туда понадобится. Я на часах: караулю эту минуту, хотя и не представляю себе, как о ней узнаю.

Вчера его письмецом вызвали сюда и, видимо, неприятным. Его подали вечером, а до этого день прошел позаведенному. После обеда дядя Федя разбирал сломанные кухонные часы. Это была главная его страсть. Их он разобрал на своем веку несчетное множество, но не собрал ни одной пары. Потом, разбранив меня не за тот табак и послав на Сретенку за новым, набивал папиросы. Потом, вспомнив про расшатанные табуретки, со стамеской и рубанком пошел на кухню пристрагивать им новые ножки, но, не закончив дела, только задал хлопот Моте: засыпал стружками белье на гладильной доске и опрокинул на пол жбан с горячим столярным клеем.

Потом присел к окошку с «Единственным и его достоянием» Макса Штирнера, книгой действительно вредной и полной грубых заблуждений, но на которую он стал бы шипеть и в том случае, если бы это был голос и самой истины. Книги, вообще говоря, читал он только затем, чтобы потом их опровергать в моем и мотином обществе. За чтением имел он привычку напевать что-нибудь вполголоса, а слуху у него никакого не было. Штирнера этого читал он почему-то на мотив «Среди долины ровные», прерывая его восклицаньями: «Ах, разбойник! Ну погоди же, покажу я тебе!»

Тем временем жизнь двора шла своим чередом. Он помещался в одном из переулков между Сретенкой и Цветным бульваром. Цежеными трелями заливались канарейки у бобыля, промышлявшего ими на Трубе по воскресеньям. Татарам, торговавшим кониной, привозили и выгружали синие конские туши с умными мраморными головами. Кот из конских барышников, недавно выпущенный из тюрьмы, избивал свою мамашку, как тут говорили, и она возбудительно визжала, а потом, в соблазнительной растерзанности, вырывалась наружу плакаться встречным и поперечным. Ко всему безучастная и как бы

окаменев от запоя, раскорякой стояла старая нищенка близ помойной ямы. Старуха-ветошница со щепой в мешке, казавшемся костлявым ее продолжением, угощала ее козьей ножкой. Обе жмурясь затягивались, отхаркивались басом и, сплевывая и почесывая зады, смотрели на круглое небо с круглым солнцем, стоявшим прямо над дворовою дырою.

Письмо передали перед ужином. За рассольником с потрохами и студнем из телячьих ножек дядя Федя жаловался на людскую напраслину, смолоду его преследовавшую.

— Лучше б вам всё-таки куда-нибудь определиться, — робко замечала Мотя. — И самим было бы приятнее и легче смотреть в глаза людям. При типографии архива чем была не служба? Ну, о городском училище я не говорю. Обучение детей, видно, не по душе вам, и это, правда, хуже нет, когда начальство в букварях ищет смуты-янтства.

«Чем живет дядя Федя?» — думаю и я, разгуливая по 3-му Богоявленскому. Александр Александрович читает в Петровской академии и пишет руководства по естествознанию, его брат Николай — профессор римского права, его зять Канчугин занимается врачебной практикой. Я перебираю всех, кого знаю, вплоть до знакомых столяров, сапожников и горничных, и прихожу к заключению, что у дяди Феди есть какой-то секрет не жать, не сеять и питаться как птицы небесные, если не лучше.

В противоположность нашим краям окрестности четырех Богоявленских полны чистоты и поэзии. В тени без уговону возятся воробьи, булыжины пахнут сковородной пригарью солнцепека. Точно в частом поту свешиваются липовые побеги в крепко, до едкости пахнувших почках. А в церковном саду, у Взыскания Погибших, тополя уже в молодом листе, точно во всем, жары ради, сменном летнем.

А внизу еще сыро. Груды белошафранного швырка на дровяном дворе плавают в горячем шоколаде черной слякоти. Как яйцо в глазунью, выпущен в лужи синий, белооблачный полдень. Всю Страстную тут гоготали гуси, соперничая в белизне с последними сугробами.

Но теперь тут ни гусей, ни снега. Головастые ветлы над конторой угорают от грачиного крика. По двору дрог-

ливо и рассудительно похаживают куры. Дворы всем околотком отвечают петуху, скрытому за поленницей. Но вот и сам он, масляноголовый и шелкобородый, давится, как костью, кукареканьем и, обугливаясь жаром пера и хвостом осыпая искры, оправляется от запевки, точно облегчив желудок. Тихо кругом. Жарко.

Но что это? Не сигнал ли мне? Зажмурясь, как перед выстрелом, обеими руками открывает окно гостиной старая громековская девушка, Глафира Никитишна. Пригнув половинки крючками и сложив руки под передником, она локтями и грудью ложится на подоконник. Перед ней через дорогу три этажа противоположного дома.

— У вас, видать, новенькая, — негромко, как из ложи в ложу у Корша, обращается она туда. — Вы ей прикажите наперед мелом, а то что ж это такое: возит, возит, не отмажется.

Не слышно, что ей отвечают. Из громековского полуподвала выходит обойщик Мухрыгин, личность прежде времени сморщенная смешливостью и склонностью к душевным угрызениям.

— Вы их послушайте, мадам, — говорит он в ту же сторону. — Подол задирать — всё равно крыши не покроешь. А окна мыть — на это самые знающие маляры. Тут не мыло, тут надоть мел.

Обогнув дом, я двором прохожу в него с черного хода.

Тут первым делом попадаю я в обширные сени. В них широкое трехстворчатое окно с цветным стеклом. Из них поднимается лестница в мезонин. На дворе перед сенями растет старый трехствольный тополь. Летом, когда он зазеленеет, стекло в окне кажется бутылочным и играет пивными зайчиками бурого зноя.

Посмотрев через дверь, я вижу у окна в гостиной Тоню с детским рукодельем. Не глядя на работу, она к чему-то прислушивается.

— Что ты тут делаешь? — спрашиваю я, подойдя к ней.

Ничего мне не ответив, она прикладывает палец к губам. Потом вдруг говорит:

— Ты теперь бедный. Совсем-совсем. Они говорят, он тебя как кустик объел. Не спорь, я сама слыхала. Всё, го-

ворят, спустил и профарфорил. Тебя отдадут в гимназию. Ты будешь жить у нас.

Дверь из будуара Анны Губертовны, называемого бабушкиной угловушкой, приотворена. Ее за ручку придерживает изнутри дядя Федя. Видимо, он собирается уходить. Но вот он снова ее притворяет, оставив щель. Там дымно и много народу. Но это, может быть, обман чувств. Этому способствует обстановка угловушки.

Там с потолка низвергается целый дождь благозвучных стеклянных подвесков, с бамбуковых жардиньерок спускаются усики вьющихся растений, перед окнами просвечивающие слюдяные картинки на цепочках, а у входа камышовая с бисером занавесь, в струйчатых изломах которой и стоит дядя Федя.

— Главное, он обижается! — голосом тигрицы вырывается из этой тростниковой заросли. — Подумаешь, казанская сирота!

Это голос громековской невестки, запойной кофейницы и любительницы меховых палантинов, курильщицы-брюнетки. Дяди Федя не слышно, он говорит вполголоса. Вероятно, он предлагает очную со мной ставку. Это вызывает новую бурю негодования. Все говорят разом, нельзя отличить, кто о чем.

— Детей впутывать? — Опомнитесь! — Вы тунеядец! — Недавно у нас в сиротском суде... Мамуриться, брат, можешь с кем тебе угодно, но дети... Не ваше дело, Бога вы не боитесь. — Лучше скажите, что вы сделали с закладной? — Bravo, Анета! Да, да, ты нам ответь, что ты сделал с закладной. — Наука? — В интересах науки? — Нет, он мертвого рассмешит! — Ну и горе-аптекарь, нечего сказать! — Анисовую настаивать или зверобой... Ха-ха-ха! — Бога вы не боитесь... Моментально, Федор, прекратить, а то я при всех такое покажу тебе, будешь у меня помнить жалобить, как на Хитровке. — Успокойся, Саша, тебе вредно расстраиваться.

Голоса выравниваются. После общего крика их спокойствие кажется зловещим. На семейном совете обсуждают что-то практическое. Дядю Федю просят вглубь, к круглому столу. Частыми вызовами посылают Глашу то за чаем с птифурами, то за чернильным прибором. Она его приносит на подносе, с сургучом и свечкой в подсвечнике. Составляют и подписывают какую-то бумагу.

Мы с Тоней собираемся наверх, в ее детскую, но как пригвожденные остаемся на месте. В дверях показывается дядя Федя — долговязая орясина в очках с отращенными волосами, живая всему на свете укоризна в серых штанах, заправленных в мягкие валенки.

Он нас не видит. Дойдя до середины зала, он с разбегу останавливается. Наклонившись вперед и ладошкой подгребая бороду, он задумывается. Решив оставить последнее слово за собой, он поворачивает назад к будуару.

— Дядя Федя! — окликаем мы его, предупреждая о своем присутствии.

— Зачем вы тут, дети? — говорит он, забыв о данном мне поручении. Передумав заходить в угловушку, он в рассеянности направляется к выходу, но, вспомнив о нас, возвращается.

— Прощай, Патрикий, — с дрожью в голосе говорит он. — Расти и тут, как рос у меня. Добрые семена, которые я заронил в тебя, не пропадут даром. Малы вы еще понимать, что тут приключилось, в этом женском кабинете. Господь терпел и нам велел. Прощай, Патрик. Прощай, Антонина. И, прошу, не провожайте меня.

На другой день я поселился под одним кровом с Тоней.

Впоследствии, когда наряду с историографией пристрастился я к литературе и призванье столкнуло меня с учением о типах, доверие к теории было у меня в корне отбито воспоминаниями о первом моем покровителе. На своем детском опыте научился я думать, что всякая типичность равносильна неестественности и типами, строго говоря, бывают лишь те, кто в ущерб природе сами в них умышленно лезут. Зачем, думалось мне, тащить типичность на сцену, когда уже и в жизни она театральна? Силу свою дядя Федя полагал в пародии на светлую личность, которую, не имея об этих вещах никакого представления, он из себя корчил.

Своею склонность к отвлеченным существительным среднего рода и неопределенным местоимениям принимал он за философскую жилку. Каким-то сретенским Диогеном казался он себе и свою ничем не выделяющуюся серость считал качествами простого народа.

Как могло родиться такое притязание? Рядом жил и двигался этот народ — сплошь ремесленник, деталист,

знарок чего-нибудь одного, мастер и фанатик частности, дитя страсти и игрушка случая, — а он не видел его острой отчетливости, воспринимая в той водянистой и напыщенной общности, которую сам являлся, ничему толком не обученный, приблизительный, никакой, всякий.

Прошли годы и не изменили его. Не изменило и несчастье. За него отдувалась Мотя, распродававшая его книги и благодаря каллиграфической руке зарабатывавшая перепиской бумаг и нотариальных актов.

Химик-любитель по Рубакину, кипятил он однажды какую-то смесь. По неизвестной причине пробирку разнесло вдребезги. Мига не прошло, как лицо его превратилось в кровавую кашу. Он ослеп в несказанных мучениях: оба глаза были забиты мельчайшими стеклянными осколками.

В последних классах гимназии занимался я платным репетиторством. Один из уроков давал я на Царицынской. Остромысленские после несчастья жили в Хамовниках. У меня был их адрес. Я решил их навестить.

Окна кухоньки, которую они снимали в нежилой, сдававшейся под контору квартире, выходили на улицу. Из них раздавались ровные звуки мотина голоса. Она вслух что-то читала. По переводчику, материи и форме можно было догадаться, что это Аристотель в каком-то допотопном переводе.

— Вы это понимаете? — перебила Мотя свое чтение.

— А чего тут понимать? Явная галиматья. Автор — имя почтенное, древний греческий философ, — что ты думаешь, я не знаю? Но переводчика следовало бы пробрать. Продолжай, пожалуйста.

Тут я их окликнул. Оба мне обрадовались и стали звать к себе. Но у меня было подряд два урока. Я пообещал зайти в другой раз, а пока, сказал, постою на улице. Так мы и разговаривали.

Некоторое время всё шло хорошо. Дядя Федя мало изменился. Раны на лице зажили без следов. Он слегка поседел. Разговор шел в соответствии с теплым уличным воздухом, с нашими местами в кухне и на тротуаре, с разницей нашего возраста.

— Ах, годы, годы! — говорил дядя Федя. — Где же ты столько пропадал? Мотя, обсмотри его со всех сторон и опиши. Важничает? Вырос? Небось, важничает, морда

лошадиная. А Матрена Ивановна в январе папашу похоронила, ты посочувствуй.

С этой фразы всё и переменялось. Мне бросилась в глаза мотина молодость и миловидность. В нее так легко было влюбиться. Не должен был так говорить об ее утрате этот старый дурак — никакая ей не поддержка и горю ее вероятный виновник. Мне стало противно.

— Слухами земля полнится. О пробах пера твоих знаю, — сказал он и заговорил о них подробнее.

В принципе он их одобрял, но предостерегал от дурных примеров. Под последними разумел он как раз всё то, чему поклонялся я тогда, перед чем благоговел.

В вырезе усов и бороды двигались его губы, самодовольные, как две астраханские виноградины. На них страшно было глядеть, потому что в живом своем блеске производили они впечатление зрячего места на этом гладком лице, затушеванном и успокоенном слепотой. Он поучал, наслаждаясь, точно десерт ел, а я вынужденно соглашался, чтобы не огорчать его.

— Хоть на крылечко бы зашел. На минутку! — позвала Мотя, чтобы прекратить мученье моего недобровольного предательства.

Я послушался. Завернув во дворик, я застал ее сидящей на ступеньке с толщеннейшим Священным Писанием на коленях. Мусля палец, она быстро его перелистывала и, не подымая головы, подала мне для пожатия левую руку.

— Вот гляди, Патричок, что покажу тебе. Вот гляди, на что на днях наткнулась. Ах, да куда ж оно занастилось? Вот. Вот смотри.

«И три рода людей, — прочел я в стихе, — возненавидела душа моя: надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея...»

— Надменного нищего, — с торжеством повторила Мотя. — Каково, Патричок? Не в бровь, а в глаз.

ТЕТЯ ОЛЯ

У Александра Александровича была сводная сестра Ольга Васильевна, слушательница высших женских курсов Герье. Это была миловидная блондинка, любившая поговорить и подурачиться, существо компанейское и страшная непоседа.

Она принимала близко к сердцу все частности академической жизни у себя и в университете, и значение, которое она им придавала, часто производило комическое впечатление.

В девятьсот четвертом году, работая одно время в студенческой столовой, она с увлечением рассказывала о борьбе, которая ведется между кассой взаимопомощи и прежним обществом вспомоществования, которое она призвана заменить.

Александр Александрович не понимал, как можно с таким жаром толковать не о помощи нуждающимся, а о том, где и под каким именем она будет производиться. — Что ж тут непонятного? — в свою очередь удивлялась Оля. — Общество — учреждение официальное, утвержденное попечительством, а касса — начинание демократическое и, занимаясь текущими нуждами, не будет чуждаться политики. — Виноват, — поправлялся тогда Александр Александрович. — Я не говорю, что не вижу разницы. Наоборот, она так очевидна, что спор наш выеденного яйца не стоит. Ты же рассуждаешь об этом, как об истории Реформации. — Историей Реформации всё это потом и стало.

Весь год Оля носилась по студенческим сходкам и не пропустила ни одной демонстрации, с которых иногда

влетала к нам со свежими политическими новостями. К весне тысяча девятьсот пятого года она была уже записной и признанной пропагандисткой. Тогда случай свел ее с одним любопытным человеком.

В середине января, вскоре после событий девятого, выступала она на парфюмерной фабрике Дюшателя, где было много работниц. Собрание происходило на фабричном дворе под открытым небом. Взобравшись на перевернутый ящик, Оля призвала собравшихся примкнуть к забастовке протеста, готовившейся в ответ на происшествие. Ее слушали с земли и с таких же ящиков, во множестве загромождавших вход в экспедицию и браковочную.

Хозяева вызвали казаков. В те месяцы их было не узнать. Булыгинский проект узаконивал крамолу. Им всё чаще давали отпор на улицах. Казаки стали в отдалении за воротами фабрики и нагаек в ход не пускали.

Как бы то ни было, собравшимся предложили разойтись, и Оле, которую застали говорящей, грозил неминуемый арест. Тогда, чтобы запутать картину, работницы стали влезать на ящики, перекрикиваясь издали и постепенно окружили Олю. В давке, образовавшейся перед проходною, чьи-то руки накинули на нее тулуп и платок. В тулупе в накидку вместе со всей ватагой Оля вышла со двора и неузнанно прошла мимо казаков. Дальше толпа разбилась, и когда улицы через три Оля вспомнила про платок и тулуп, не у кого было спросить, кому их отдать.

За ними от дюшателевой работницы пришел в воскресенье упаковщик той же фабрики Петр Терентьевич, рослый малый в ватном пиджаке и высоких сапогах. Он стал у двери и не проронил ни слова, пока Оля суетилась, оправдывалась и увязывала вещи в худую, но чистую простыню.

В марте она его видела два раза на загородных масовках. На первой, где она выступала, они только поздоровались. На второй, по нездоровью отказавшись от слова, она сама попала в его слушательницы, и они потом разговорились.

Массовку устраивали мебельщики со Стромьнки, при участии соседей, рабочих Ярославской железной дороги. Ни к тем, ни к другим Терентьев не имел никакого отношения. Олю удивило, что все его знают.

Весна только начиналась. По ложбинам кусками черного мела залеживался снег. Сидели на пнях и бревнах недавней лесной валки.

На собрании выступил анархист. Еще раньше Терентьев подсел к Оле. Разложив на коленях газету, он резал хлеб и чистил крутые яйца. Когда заговорил анархист, он стал сопровождать его речь замечаниями, обнаружившими ум и начитанность. Оля подумала: «Какой же это укладчик».

Вдруг анархист кончил, и все закричали: — Терентьев! Петька! Валяй анархию по косточкам!

Он не дал себя упрашивать, аккуратно стряхнул с платья яичную скорлупу и крошки ситного, утер рукою рот и, поднявшись, стал возражать предшествующему оратору.

Интеллигенты-общественники любят говорить под народ, что выходит нарочито, даже когда не перевирают поговорок. Подымаясь в общественники, народ потом копирует эту копию, хотя мог бы без чувства фальши пользоваться живущим в нем оригиналом. Так, вдруг нескладно — книжно, то неумеренно образно говорил и Терентьев. Но все это было умно и живо.

Пустую вырубку окружали голенастые ели и сосны. За ними лиловела голая, еще только что отзимовавшая чаща. Из нее заплывал паровозный дым и тянул ключьями до самой заставы.

Обратно шли пешком. По Сокольническому шоссе летели вагоны недавно проложенной электрички. Оля что-то сморозила насчет тока и тяги, и Терентьев подивился ее техническому невежеству. Чтобы сгладить неловкость, он сказал: — Тянет «Коммунистический манифест» почитать, а по истории я ни в зуб. Скоро лето, вам не учиться. Что бы вместе?

После двух-трех встреч она узнала: он сын клепальщика Люберецкого депо, чуть ли не с двенадцати лет стал на ноги; одну за другою окончив две школы, городскую и ремесленную, шестнадцати лет поступил на службу мастером на пятнадцатирублевое жалованье; учась на каждом новом месте и чтением пополняя образование, переходил он с фабрики на фабрику; рано просветился политически; сидел в частях и высылался по этапу; а главное, как она давно уже подозревала, в парфюмерных упаковщиках

скрывался с последнего места, где кроме сборки дуговых фонарей был организатором и откуда должен был исчезнуть.

— Вы очень способны, знаете ли вы это? — говорила она ему, когда невзначай он не надолго заходил к ней, всегда куда-нибудь торопясь.

От хозяйки приносили самовар, и, заварив чай, Оля принималась что-нибудь рассказывать, про что сама узнавала из десятых рук утром или накануне. Про недавно состоявшийся третий съезд, например, или про то, как относятся к вопросу о власти в Лондоне и Женеве. — Мы, социал-демократы, полагаем... — говорила она. Или о тогда еще новом расколе: — Органы социал-демократии стали органами борьбы против социал-демократии. — И на цыпочках подходила к двери проверить, не подслушивают ли. Терентьев выпивал стакан-другой и уходил, поблагодарив за беседу.

Иногда, но это было позднее, летом, дождь или какая-нибудь другая нечаянность задерживали его. Он садился что-нибудь обдумывать и вычерчивать. Идеи механических вращений занимали его, а также задачи вроде изобретения сверла, развертывающего четырехугольные отверстия.

Оля читала что-нибудь вслух, а он сопел, откидывая голову набок, справа и слева осматривал рисунок и насвистывал, и эта работа нисколько не мешала ему следить за олинным чтением. Комната была в два света, и они отворяли в ней все окна.

В задних, за спинками стульев, виднелся двор, в передних — переулок, и трудно было поверить, что и в природе они не разделены так же полно. Но внезапно их объединяла смена тождественного освещения.

Двор и переулок заливало желтым, как сера, светом, признаком кончающегося дождя. Но он возобновлялся, весь в мерцающих струях, точно натянутых на раму ткацкого стана. Желтое освещение сменялось черным, если такое выражение допустимо, черное — красным. В закате загорался притвор Спаса в Песках и черепные впадины его звонниц. Заглохший самовар приходилось раздувать. Это почти никогда не удавалось. Его разводили сызнова.

Подкрадывались сумерки. Оля закрывала книгу. Чай садились пить в надвинувшейся темноте. Только руки, са-

харница и что-нибудь из закусок озарялись на минуту красноватым вздохом угольков, падавших в решетку самоварного поддувала. Вдруг занавески или страницы книги приходили в трепещущее движение, легкомысленное и тревожное, как мельканье ночной бабочки. Отблеск уличного фонаря заскакивал на вздрагивающую оконницу, или на глазной белок Терентьева, или на голую кафлю голландки. И тогда неловкое волнение, давно охватывавшее Олю, становилось очевидным.

— Опять гроза от Дорогомилова, — говорила Оля и поднималась, чтобы затворить окна надворного ряда, а когда возвращалась на место, мысли ее получали неожиданное направление.

Ей вспомнилась работница, не пожалевшая для нее платка и тулупа, и всё, относящееся к этой неведомой женщине, начинало необычайно ее занимать. Но что-то не нравилось Терентьеву в ее расспросах. — Вдова, трое детей мал-мала меньше, золотое сердце, — почти отмалчивался он, и Оля не знала, чем ей огорчаться: тем ли, что она может причинить огорчение незнакомой женщине, ничего, кроме добра, Оле не сделавшей, или тем, что никакого огорчения она причинить не может, — такая у той женщины власть.

Но это было летом, а друзьями они стали раньше, и раннею еще весной предложил он ей как-то навестить своих. Она стала перелистывать расписание, думая, что он приглашает к старикам в Люберцы. Но свои оказались инструментальною Казанских железнодорожных мастерских.

На станках рядами притирали какие-то части, и так как гул валов всё равно заглушил бы голоса, то Терентьеву только знаками выразили свою радость и неопределенно кивнули Оле. Кто помахал рукой, ладонью разгоняя круглую рукоятку тисков, кто, нагнувшись к соседу, мотнул на вошедших головой и, что-то крича ему в самое ухо и смеясь, почесал бритую морщинистую щеку и стал рыться с выбором в грудке железной мелочи, чтобы сменить резец в гнезде или переменить деталь в патроне. С ленивой телесностью, как волос в парикмахерской, на пол падало жирное серебро стальной стружки. Мимо обширного застекления с полопавшимися стеклами, сотрясая полы и своды, пробегали поезда и паровозы. Но свистков не

было слышно, лишь видно было, как отрывались от клапанов петушки белого пара и отлетали в пустое послеобеденное небо.

Всё же несколько человек терентьевских приятелей вышли в разных местах из рядов. Одни, отлучаясь на короткое время, перевели станки на холостой ход. Другие, имея в виду постоять и поговорить, сняли их с привода.

Части, при вращении сплошь казавшиеся круглыми, по его прекращении лишались симметрии. Воображаемые валы и оси, приходя с замедленного бега в состояние покоя, оказывались четырехгранными брусами неправильной формы с выгнутыми шейками и непарными шипами. То же самое делалось с товарищами Терентьева по мере их приближения. Общетипическое отступало перед силой разностей и несходств.

С видом его ровесников, хотя некоторые были вдвое старше, они окружили стол у входа с какими-то наглухо приделанными к доске лекалами и винкелями, на который он сел и, помоги Оле вспрыгнуть, усадил ее рядом.

— Никак Престол на парфюмерной, что в прогулочке? — спросили его, здороваясь. — Нда, святомученика Дюшателя, — понимающе усмехнулся он и прибавил: — Нет. Сами по себе шабашуем, — и рекомендуя округлением показал на Олю, знакомя. Все стали здороваться за руку, и, как всегда, рук оказалось больше, чем кажется сразу в толпе. Некоторые знали ее по митингам в консерватории. Это ей польстило. Посыпались новости. Кто-то сказал:

— Помнишь Назарова?

— Ну, как же.

— Попадется — остерегайся. Провокатор.

— Быть не может.

— Будьте покойны.

— Где ж он теперь?

— А мы что — каменные? В февральскую стачку четверых уволили. По нашему требованию. Ну, тоже и он.

— Видите, как вас ублажают. На задних лапках ходят. А вы не верили.

— Это кто же не верил?

— Да я первый.

— Вот так клюква!

— А что же ты думаешь? Бывало, подымешь вас на

шарап, сулишь вам золотые горы, самого раздумье берет. Быть-то оно, думаешь, будет, да только за тем морем, что хвалилась синица зажечь. А она его, стерва, возьми и зажги. Зажгла. Показали мы им прибавочную стоимость.

Ему стали рассказывать о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы и других улучшениях, достигнутых без него в февральскую стачку.

В разговор давно старался вмешаться темный, как прокуренный мундштук, модельщик, с пучками волос в ушах и ноздрях, морщивший лоб с такой натугой, точно весь его надо было упрятать под черные очки. Ввиду неисполнимости намерения верхняя часть лица выходила у него разочарованно-сердитой, а нижняя, в свисающих усах, удовлетворенно улыбалась. Наконец к нему прислушались.

— Это что! — рванул он и, как клещами гвозди, стал тащить хрипотою погнутые слова со дна самой, казалось, селезенки. — По свистку в главной конторе курсы французской революции. Ей-Богу, правда, расшиби меня гром. Лектор каждую среду, по казенному найму. — Правда, — подтвердили остальные. — А также Соединенные Штаты, — добавил кто-то для точности. — Это для желающих, — одернули выскочку, чтобы не портил цельности впечатления. Слово вернулось к модельщику.

Терентьев сидел, опустив голову и свесив между колен сложенные руки. Не всё в этих рассказах нравилось ему. «Что малые ребята, — думал он. — Напроказили и радуются. А что дальше, об том никто и не думает». — Ну, а ты как? — спросили его. Вместо ответа он выпрямился и, закинув руки за голову, потянулся.

Он сказал, что как это всё ни распрекрасно, но далеко еще не всё. Надо вперед смотреть. Даже когда и форма правления полетит в тартарары, это будет с полдела, пока мы сами не переменимся. Самим надо по-другому жить, повторил он, ничего не объяснив. Вот они кое-чего добились, а о том не подумали, что на то и перемены, чтобы их обживать по-новому. И опять всё осталось в неясности.

Тут была какая-то важная для него идея. Ближе определить ее он не мог и решил, что надо будет насчет этого справиться в местах, где это должны знать лучше. Таких

мест тогда было два: окружной и городской комитеты. В окружном он никого не знал, а в городском у него были знакомые. Как бы то ни было, в мастерских о таких вещах и не задумывались, и, следовательно, как ни смутны были его собственные догадки, во вразумители сюда он еще годился. И тогда он вспомнил, зачем, собственно, пришел сюда. Он сказал, что собирается вернуться в мастерские. Время стало легче, прятаться больше нечего. На днях он потребует расчета у Дюшателя и попробует устроиться у них. Есть у него, кроме того, одна вещичка, которую надо будет у них выточить и потом испытать. — Пойдемте, Левицкая, — сказал он, спрыгнув со стола, и стал прощаться с товарищами, а когда вышел с нею за двери, предложил:

— Хочешь в Сокольники?

ИЗ НОВОГО РОМАНА О 1905 г.

Предсказания Харлушкиной оправдались. В ту же ночь артиллерия осадилла училище Фидлера на Чистых прудах. Драгуны обстреляли мирную толпу на Тверской. В наших местах и по соседству стали строить баррикады.

Улицы опустели. На них было небезопасно соваться. Бледные ряды зданий в крышах, подъездах и чердаках стояли как отсутствующие, точно пространство отступилось от них и повернулось к ним спиной.

Что делалось при этом с воздухом! Это заслуживает особого описания. Весь он с земли до неба был приобщен к восстанию, и весь, морозный, высокий и безлюдный, вертелся и гудел, как медный волчок, до смерти закруженный выстрелами и взрывами. Они уже не воспринимались раздельно. Оглушенное небо было сплошь пропитано их колебанием. Слуха достигало другое: назойливое комариное зудение, усыпительно-перемешанное с тихим чоканьем и шелестеньем.

Пулей пробило форточку в домашней лаборатории Александра Александровича. Пройдя сквозь стену, она сколупнула кусок штукатурки с потолка в его кабинете. Нас держали на запоре и экономили керосин и дрова, потому что их не запасли и они были на исходе. В эти дни случилось несчастье с Анной Губертовной.

В ноябре между обеими забастовками любитель старины Александр Александрович купил где-то по случаю чудовищных размеров гардероб, величиной с екатерининскую выездную колымагу. Человек в пальто, доставивший эту вещь на ломовике, внес ее по частям в залу. Возник

вопрос, где ее собирать и ставить. Анна Губертовна была в отчаянии от покупки. Комнаты ломились от мебели. В них негде было повернуться.

Дело было к ночи. Ломовик просил отпустить его. Человеку в пальто не хотелось возвращаться пешком по морозу. Он не торопил Анну Губертовну, но и не снимал пальто. Это ее нервировало.

Второпах, за невозможностью выбрать место получше, решили гардероб временно оставить в зале, как самой просторной комнате дома, где он и был в пять минут без шума собран искусником в пальто, который безмолвно затем откланялся, как артист, исполнивший на большом вечере свой коротенький номер. «Смерть это моя, а не шкаф», вздыхала Анна Губертовна, когда проходила мимо него из своей угловушки. Он мозолил всем глаза. Я тоже его возненавидел.

Одиннадцатого вечером, доставая с пыльного его верха какой-то узел с теплыми вещами, Анна Губертовна ступила в темноте на борт выдвинутого ящика, ухватилась за край развершки и, потеряв равновесие, упала, усложнив падение тем, что, балансируя, повернулась всем корпусом вперед. Она так больно расшибла коленку, что в первые минуты лишилась сознания.

Двенадцатого в перестрелке наступило затишье. Пользуясь им, в ближайшей окрестности разыскали и с трудом уговорили притти врача не по специальности. Хотя он и не установил перелома, но допускал возможность костной трещины и велел прикладывать лед.

С этой вылазки Глафира Никитишна явилась победительницей, полная гордого достоинства. Все ее расспрашивали о виденном, но ровням она отвечала неохотно, а в спальне рассказала, что Скотники и прилегающие переулки перегорожены баррикадами. Народ с них ушел и засел в верхнем Копытниковском, но к ночи фабричные беспрерывно спустятся и устроят сражение на площади.

Александр Александрович посылал ее за льдом и просил не утомлять больной таким вздором, потому что члены боевых дружин не такие дураки, чтобы укрепляться в яме, по которой можно стрелять сверху из переулков. Глаша обижалась и надувала губы. Нас на несколько минут выпустили во двор.

Состояние, царившее на нем, в обычное время называется тишиной. Однако в те минуты оно казалось лишенным имени и необъяснимым. Воздух, который столько дней подряд дырявили плеточные щелчки выстрелов, поражал нетронутостью и благодаря заре и сумеркам был румян и гладок, как кожа у девушки.

В этой тишине и раздался вдруг негромкий разговор, слышный от слова до слова. Ерофей, старый наш дворник, завел его, может быть, нарочно для нас. Он беседовал с Мухрыгиным за углом дома, в воротном проходе. Край стены скрывал их от нас.

— В Троицу веровать не диво, — говорил Ерофей, — так уж люди родятся. Да ино вещь делом, ино языком. Если запускать поглыбше, так сейчас встретились семик и антисемик, какие за весну народного освобождения, а какому наплевать. И верно про тебя господа сказали — антисемик, как ты хоша и богомольный, но выходишь супротивник семика. Жисти ты настоящей не знаешь, живешь без проветру в каменном помещеньи, как мокрая склизь, или какая-нибудь древесная губа, и тута и кашель твой, и табак, и запой; а дворник завсегда находящийся на вольном воздухе, и от этого польза уму и грудям.

Среди ночи я проснулся. «Вставай, мы горим», — кричала в дверь Тоня, одеваясь. «Тише, дом подымешь. Это костры. У нас отходники качают. Слышишь, какая вонь». И я тотчас захрапел, но понял, что действительно что-то неладно, когда через несколько минут вновь проснулся.

Весь дом был на ногах. Внизу хлопали дверьми. Стрельба в городе возобновилась с неиспытанной силой. Верно, это были пушки. Тоня, растолкавшая меня на этот раз, стояла надо мной, одевшись.

— Выйди на минуту, — сказал я ей. Накинув одеяло, я вскочил на подоконник и распахнул форточку. Меня обдало прежним зловоньем, но раз ощутив его, я уже больше его не слышал. Его очистила дикая тревога, исходившая от зрелища.

Небо лопалось и дышало огнем и гулом орудий. Его опоясывали зарева нескольких пожаров. Один полыхал где-то поблизости. Неразличимые голоса сталкивались в темноте, бежали друг за другом, друг друга обгоняли. Кто-то кого-то звал, куда-то посылал, что-то приказывал.

Срывая дома с оснований, по переулку проскакала кавалерия. Языки пламени дернулись в ту сторону. Всё смолкло.

Я не заметил, как оделся. Вверх по лестнице прогремели шаги Александра Александровича. С никогда не слышанной зычностью он звал нас вниз со средней площадки. Услышав наш ответ и еще раз в нем уверясь, он с грохотом сбежал с лестницы.

Мы собрались в столовой, все в верхнем, чтобы быть наготове, если придется идти из дому. Суконные гардины на окнах задернули пола за полу, свечку на обеденном столе заставили стойком поставленной книгой.

Анна Губертовна в накинутой на плечи ротонде лежала на диване, закатив, по своей привычке, глаза под опущенные веки. Из-под ресниц просвечивали полоски белков. Тоня бросилась целовать ее. Покусывая губы, она высвободила руку из ротонды и, кривясь от слез, стала с прерывистым шепотом крестить себя и дочку и стены собравшей нас столовой.

Вдруг в дверь заглянул бледный, как смерть, Ерофей и позвал Александра Александровича. Оба были слишком озабочены, чтобы заниматься мною. Пользуясь замешательством, я выбежал за ними.

Каждое утро выходил я отсюда при огне, на исходе синей зимней ночи. По гимназической привычке показалось мне, что светает. С улицы стучали в ворота. Они трещали. Их высаживали силой.

— Сбегать бы на парадное, посмотреть кто, отпираться ли. — Не успел Александр Александрович договорить, как во двор вбежало человек пять-шесть вооруженных, кто в ватном пальто, кто в полушубке. «Кто хозяин?» — спросила портартурская косматая папаха. — «Я», — отвечал Александр Александрович. — «Можно спрятаться?» — «О, конечно! Прячьтесь, господа. Можно в сарай. Можно в дом. Ерофей, ключи! Впрочем, уж не знаю как... В доме больные».

Дружинники переглянулись. Десятник в папаше, а за ним и другие стали осматриваться. — «Что за забором?» — спросил десятник. — «Глухой соседский сад». — «А сзади?» — «Пустырь со свалками». — «А дальше?» — «Система переулков с выходом на Долгооруковскую». — «Прятаться не будем?» — полувопросом, полузаключи-

тельно предложил старший. — «Нет, — отвечали остальные. — Двор не велик и стоять не велит». Все рассмеялись. «Правильно. Айда, товарищи», — сказал старший, и все бросились к забору. — «Лестницу, Ерофей!» — крикнул Александр Александрович. Но все до одного уже были по ту сторону.

Прошло несколько минут. — «А мороз-то злющий», — сказал Александр Александрович, и зевнул — «Как есть, злющий. Так точно». — «Ты, Ерофей, смотри. Длинный у тебя язык». — «Что вы? Глыбше могилы... Лестницу прикажете убрать?» — «Да. Давай вместе снесем. Фу ты, следов сколько, затоптать бы».

Этим и занялись, когда заперли в сарай лестницу. — «Заходи от забора, опять ты задом, дуралей!» — кричал Александр Александрович. — «Я ведь тебе сказал, как, а ты всё норовишь по-своему. Надо, чтобы от нас шли следы, а не к нам».

В это время переулочек огласился тем же топотом, что я слышал, проснувшись. По легкости разбега отряд должен был пролететь дальше. Вдруг он остановился. Лошадей осадили у нашего дома. Они стали, скользя и разъезжаясь.

Послышался шум прыжков, шаги и бряцанье. Ерофей спрятался за сараем. Александр Александрович вбежал на крыльцо и стал в дверной коробке. На середку двора, освещенную заревом, вышло несколько спешенных казаков.

Ремни и винтовки за плечами кургузили их. Все казались окривевшими от водки, мороза и недосыпу. Им было скользко в сапогах. Кавалерийская походка их сутулила.

— Дубровин, пятерых к забору! — орал хорунжий, — Онисименко, я сказал дворника! Ах, вот он, каналья. Кому служишь, мать твою в пята! Приказ градоначальника знаешь? Отчего ворота расстегашкой? Отчего, я спрашиваю, ворота, — хлясь, хлясь, — я тебя научу, — хлясь, хлясь, — отвечать, вихлезадый черт. Иметь наблюденье! Очухается, — допрошу. Ничего не понимаю, рапортуй толком, Дубровин. Следы? Какие следы? А, следы на снегу!

Тут он оглянулся и забыл об ефрейторе. Он отскочил в сторону и выхватил револьвер. — «Застрелю! Ни с мес-

та! — закричал он. — Подымите руки! Кто вы такой, милостивый государь?»

— За что вы дворника бьете? — тихо, с дрожью в голосе спросил Александр Александрович.

— Прошу меня не учить. После девяти запрещено выходить на улицу. На каком основании вы здесь, и кто вы сами?

— Я владелец дома и должен сообщить вам что-то важное. Но вперед велите обыскать меня. Я не могу отвечать под дулом револьвера. У меня затекают руки.

— Фамилия?

— Громеко.

— Не слыхал. Так вы хозяин? Тем хуже. Вас придется привлечь к ответственности по всей строгости закона. Вы приказ градоначальника читали? А знаете ли вы, в каком виде у вас наружные ворота? Вот видите. Ну нельзя же так, нельзя же так, молодой человек. Вы только рот раскрыли и ваше первое слово дворник. А знаете ли вы его? Готовы ли за него поручиться? Да и только ли это! Отчего в доме не спят? На душе неспокойно? Это курьезно. Отчего же у вас неспокойно на душе? Ну хорошо-с. Оружье есть?

— Нету.

— Вы дворянин?

— Да.

— Можете опустить руки.

— Мерси, — машинально сказал Александр Александрович и, спускаясь со ступеньки на ступеньку, сошел с крыльца на землю.

— В доме спали, — начал он. — Ворота были на запоре. Вдруг переполох. Бужу дворника. На дворе несколько вооруженных. Рабочие.

— Какие это рабочие? Надо называть вещи своими именами. Это воры, висельники, хамово племя.

— Ну да. Несколько этих... висельников. — Александр Александрович замялся. — Вижу, они с Долгоруковской пробрались соседними владеньями и рубят ворота, пробиваясь в переулок. Удивляюсь, как вы с ними не столкнулись. Это было назад минут пять, десять. Значит, они кинулись в Скотники.

— А скажите, оттуда эти дни не постреливали? С соседних садов? Не замечали?

— Нет. Там всё спокойно.

— Так-с, так-с. Вы ответите, если это неправда. Вольно, Дубровин. Ты докладывал — следы. Пойдем, покажи. До свиданья, милостивый государь. Помните, чем вы рискуете. Я охраны не выставлю, но вас везде найти сумею.

Они удалились. В темной глубине двора раздалось слова команды. Было слышно, как построились казаки, и стройно, стройнее чем входили, вышли на улицу. Отряду скомандовали в седла. Лошадей тронули и с нескольких шагов перешли в галоп. Беспамятный скак, слышанный мною ночью и как раз возле нас так страшно пресекавшийся, возобновился с прежней гладкостью и стал стихать и замер. Всё скрылось, как прерванное сновиденье.

На крыльце стояли Глаша с Тоней и дергали меня за рукав.

— Сейчас. Отвяжитесь, — отмахивался я, но уже сам всё им рассказывал.

Но Александр Александрович не мог вымолвить ни слова. Невольное унижение не давало ему покоя. У него дрожали губы. Он что-то с трудом в себе преодолевал.

Как только отряд тронулся, он подошел к Ерофею. Но тот и сам поднялся без труда. Обморок его был наполовину притворен. У него слегка подбит был глаз, и на скуле кровавилась небольшая ссадинка с содранной кожей. Нас отправили по кроватям, — и странно, — мы тотчас заснули.

Я встал поздно. Занавеска, как в вареньи, вымокла в гранатовом соку заката. Спросонья мне показалось, что весна. Со двора неслись влажные чавкающие звуки. Проваливаясь в мокрый снег, по нему что-то тащили. Была оттепель. Убирали остатки ночного обстрела. И попрежнему воняло, тепло и тошнотворно.

Я всё вспомнил. Но в такой час вставал я впервые. Это чувство было ново. Оно затмевало ночные воспоминанья. Знакомство с ним так мне понравилось, что я решил искать случая встать еще раз в такое время.

У Анны Губертовы обнаружили воспаление коленного сустава. Она плохо спала и стонала ночами. Если бы я устерег такую минуту и спустился к ней за сиделку, я заработал бы это право. Но я эти возможности безбожно просыпал.

Я не помню, каким для этого воспользовался предлогом. Восстание кончилось. Всё полно было сознанием его крушения и слухами о расправе. Рассказывали об изумстве семеновцев и наглости уличных казачьих пикетов. Начались выезды военно-полевых судов.

Александр Александрович ходил сам не свой. Сверх общих огорчений его удручало состояние больной. Чтобы сделать ей приятное, он в первый выход в город, когда открыли магазины, купил ей синих и белых гиацинтов, несколько кустов цинерарий и три горшка лакфиоля. Когда вслед за остальными цветами лакфиоль внесли в спальню, она раскапризничалась. Оказалось, лакфиоля она не любит. Непамятливость мужа ее обидела. Лакфиоль поставили в столовой.

Я проснулся в шестом часу вечера. Как и в первый раз, неведомо как без меня прошедший день был весь позади. Пока я одевался, сгущался сумрак, похожий на облако дорожной пыли, поднятой его отбытием. С непобедимой грустью смотрел я на бордовый глазок заката, как на кондукторский фонарь в хвосте отошедшего поезда. И так же болела голова.

Я спустился в столовую. Там спиной ко мне стояла Глафира Никитишна, чем-то занятая. Она только что полила цветок и расправляла подвернутые края лиловой обертки. Я спросил чаю. — «Сейчас», — ответила она, наблюдая, как натекает вода в поддонники, чтобы подтереть, если перельется.

Из спальни от Анны Губертовны вышла массажистка. Ей должны были сегодня отказать. Вчера новый доктор пришел в ужас, узнав, что целую неделю материю разгоняли по всему телу. Глафира Никитишна пошла провожать ее.

В это время позвонили с улицы. «Ну вот. Теперь она про чай забудет...» — подумал я и подошел к горке с лакфиолем.

Вдруг в гостиную рядом вихрем ворвался дядя Федя. По каким-то признакам я узнал его. Он нервно прошелся по коврам из угла в угол. Александр Александрович вышел к нему. Разговаривая, они вошли в столовую.

Дядя Федя был в страшном возбуждении. Слова рвались из него с такой силою, что он заплевывал бороду и

мычал, утирая губы платком, чтобы не потерять ни минуты в безгласности.

— Ты знаешь, Саша, как я люблю тебя, — говорил он. — Но вы чудовищные люди. Кажется, свет перевернись, а вы будете развлекаться массажами и возделывать комнатные растения. Приготовься к самому страшному. Где сестра твоя Оля?

— Если ты что-нибудь знаешь, то говори прямо.

— Нет, вперед ты. Вспомнил ли ты ее хоть раз? Догадался ли подумать?

— Я разыскиваю ее третий день. И пока безрезультатно. Но это в порядке вещей и меня не смущает. Потому что, согласишься, на другой день после подавления, при нынешних условиях, отыскать ее, это, понимаешь ли, не лапоть сплесть.

— Лапти! Условия! Не то ищешь! Не там ищешь! Тело надо... В приемных покоях... В анатомическом...

Но Александр Александрович уже держал его за руку выше кисти.

— Остановись, — крикнул он. — Что с ней?

— Она убита.

— Откуда ты знаешь?

— Чувство подсказало.

— Но... ты его проверил?

— Я был два раза у общих знакомых. О ней ни слуху, ни духу.

— Свинья же ты после этого, типун тебе на язык. Спасибо за сведение и... участие. Всё равно, с дубу ли, с ветру ль, лишь бы шум и эффект. Во сне ли там приснилось или под шелудьями завелось, он тут как тут. «Чувство подсказало».

— Постой, Саша, не горячись. В таком случае, что же... Я не жалею, что пришел. Я рад. Ты меня успокоил. Мне сообщилась твоя вера.

— И это в такое время, когда я буквально изнемогаю... Ньюта хворает...

— А, эта коленка? Бог даст, обойдется.

— Ну, конечно. В особенности твоими молитвами. К сожалению, я естественник. Существо и опасность сеп-

тических процессов мне известно... И вместо того, чтобы помочь мне, когда я буквально разрываюсь...

Его напоили чаем. Он сходил в спальню проведать больную. Потом стал прощаться. Уходя, он сказал:

— Я догадываюсь, зачем у вас цветы. Но никакими тут кактусами и рододендронами не поможешь. Не заглушают. Перешибает смрад. Откуда такое?

— Это двенадцатого ночью у Жогловых снарядом колодец разворотило. Выгребной, ты понимаешь?

Через два дня Ольга Васильевна отыскалась.

БЕЗЛЮБЬЕ

Глава из повести

У него был брат. Это он, скрипя по снегу обошел дом, и скрипя по мерзлым ступенькам поднялся на крыльцо и стал стучаться, как стучится человек в дом, обметаемый со всех концов бураном, когда вьюга леденит его кулак, и свища и завывая, орет ему в уши, чтобы он стучался чаще и сильнее, а то как бы не... а меж тем сама дубасит в ставни, чтобы заглушить его стук и сбить с толку обитателей.

Его слышали. Ему отперли. Дом стоял на пригорке. Дверь вырвало у него из рук вместе с рукавицей. Пока она летала и ее ловили, — седое вьюжное поле хлынуло в прихожую, его дыханье коснулось ламп, и до слуха долетело отдаленное звяканье колокольца. Он тонул в широком поле и, захлебываясь, звал на помощь. Его несло к дому неудержимой тягой вихря, ухватившегося за дверь, увалами санной дороги, пришедшей в дьявольское движение, ползавшей под полозьями и дымившейся на десятки верст кругом столбами душного снега.

Когда дверь поймали и заперли, все поднялись навстречу призраку, стоявшему в пимах, как на задних лапах, в дверях прихожей. «Подают?» спросил Ковалевский.

— «Да. Выехали. Едут. Вам пора собираться». — Он облизнулся и утер нос. Поднялась суматоха. Стали выносить узлы и корзины, и дети, хандрившие с самых сумерок, с развески изюма, которой занялись, опростав

стол, спуста и сдуру, когда выяснилось, что всё уже уложено, а говорить как будто не о чем, времени же впереди еще много, дети ударились в рев, оговариваясь друг другом: ревет-де Петя, — а я, — что папа уезжает, — и они тыкались в передники обеих матерей. За правдой, за избавлением от сумерок и сушеной коринки, от вьюжного поля и хаоса; от уезжающих пап и от ламп, от корзин и от шуб.

Вместо всего этого их, как по знаку, подняли на руки няньки и матери и в порыве душевного волнения, все вдруг, разом понесли в коридор, и в сенях, обеими половинками дверей перекликавшихся с ямщиками, протянули уезжавшим. Головы обнажались. Все стали, крестясь и умиляясь, прикладываться, кто к кому, торопясь и поторапливая.

А меж тем, с огнем в руках, плескавшим в ночь и не выплескивавшимся на снег, татары — их было трое, а казалось — десятеро, подскочили к коням, запряженным гусем, и едва успев сникнуть и озарить постромки и бабки, привскочили, и как угорелые, стали хлопотать и бегать, мasha пламенем и поднося его то к стоявшим кругом кибитки сундукам, то к ее задку, то под морды лошадей, узкою и цельной гирляндой взвивавшихся на воздух, как от порыва ветра, то в снег, то под самый их подпузний и под паха.

Миг отъезда зависел от них. А кругом — снегом гудели леса, снегом бредило поле, и напористый шум этой ночи, казалось, знает по-татарски, и громко споря с Миннибаем, взобравшимся на крышу кибитки, хватает его за руки, и советует вязать чемоданы не так, как кричит Гимазетдин, и не так, как полагает сшибаемый вихрем и вовсе осипший Галлиула. Миг отъезда зависел от них. Татар так подмывало взяться за кнут, засвистать и отдаться на волю последнего удалого айда. По всё́м этому не удержать бы уже больше коней. А ямщиков, как пьяниц к рюмке, тянуло уже безудержно и миг от мига горячей в печаль ямского гиканья и воркованья. И оттого в движениях, с которыми они бросились напяливать азямы поверх дох на господ, была лихорадка и страсть обезумевших алкоголических рук.

И вот, прощаясь, последний поцелуй послало пламя остающимся. Гольцев уже ковырнулся в глубь кибитки.

За ним, путаясь в трех парах дошных пол, пролез под полость и Ковалевский. Оба, не слыша тупыми валеными дна, стали, обминаясь, тонуть в подушках, в сене, в овчине. Пламя зашло с того бока кибитки и, неожиданно снизясь, исчезло.

Кибитку дернуло и покособило. Она скользнула, скренилась, и стала валиться на бок. Раздался тихий, из самой глубины азиатской души шедший свист, и на плечах выправляя падавшую кибитку, Миннибай за Гимазетдином с разбега взвились на облучок.

Кибитку вынесло, как на крыльях. Она потонула за ближней рощей. Поле встало за ней, ерошась и завывая. Оно радовалось гибели кибитки. Она исчезла без следа между ветвей походивших на босовики; за поворотом у выезда на Чистопольско-Казанское шоссе. Тут Миннибай слез и, пожелав барину счастливой дороги, пропал, прахом развеявшись по бурану. Их мчало и мчало прямым, как стрела, большаком.

«Собираясь сюда, я звал ее с собой» — так думал один, дыша влагою талого меха.

— «Это было, помнится, так. У театра скопилось множество трамваев и у переднего толпился и тревожился народ. «Спектакль начался» шепотом доверился капельдинер, и серый, в сукне, отвел рукой суконную полу, укрывавшую черное хайло амфитеатров от освещенных вешалок, лавок, калош и афиш. В антракте (он затянулся) — они прогуливались, косясь по зеркалам и не зная, куда им девать руки, свои и чужие, одинаково красные и разгоряченные. «И вот, перебирая всё это, — она хлебнула сельтерской — я и не знаю, что выбрать и как поступить. А потому и не удивляйтесь, пожалуйста, если услышите, что поехала сестрой. На днях запишусь в общину». — «Лучше поедемте со мной, на Каму» — сказал он. Она рассмеялась.

Антракт затянулся оттого, что в начале второго действия предполагался музыкальный номер. А номер без гобоя неисполним. В гобое же и заключалась несчастная причина скопления трамваев перед театром.

«Он изувечен», передавали вполголоса, рассаживаясь по местам, когда засветился крашенный низ занавеса.

«Он извлечен за смертью из-под колес» — узнавали от знакомых, стуча тяжелыми калошами по суконке и во-

лоча концы платков и шалей, упущенных из муфт и рукавов.

— «А, теперь они удивятся». — Так думал один, стараясь слить ход своих мыслей с хором саней и обрести сон в усыпительном подсакивании кибитки.

Другой думал о цели их внезапного выезда. Он думал о событиях, о своем былом отрочестве, о том как встретят его теперь там и о том, что надлежит сделать в первую голову, за что взяться и с чего начать. Он думал также, что Гольцев спит, и не подозревал того, что Гольцев бодрствует, а спит-то он сам, ныряя из дремы в дрему, из ухаба в ухаб, вместе со своими мыслями о революции, которые были ему опять как когда-то дороже шубы и дороже клади, дороже жены и ребенка, дороже собственной жизни и дороже чужой, и которых он ни за что бы не выпустил и во сне, раз за них уцепившись, и их на себе отогрев.

Сами собой, безучастно приподнялись веки. Их изумление было безотчетно. Село покоилось глубоким загробным сном. Сверкал снег. Тройка завернулась. Лошади сошли с дороги и стояли, сбившись в кучку, завитком. Была тихая, ясная ночь. Передовая, подняв голову, вглядывалась с высоты сугроба во что-то, оставшееся далеко позади. За избой, схваченная клоком морозного воздуха, загадочно чернелась луна. После торжественности лесов и вьюжного безлюдья полей было былинным дивом наткнуться на людское жильё. Оно словно сознавало, как страшно и как сказочно оно, и сверкая, не торопилось отвечать на стук ямщика. Оно безмолствовало, и длило свое гнетущее очарованье. Сверкал снег.

Но вскоре два голоса, не видя друг друга, громко затолковали через ворота, и целый мир перedelили между собой пополам эти двое, беседуя сквозь тес среди безрубного затишья, и тот, который отпирал, взял себе ту, что глядела на север и открывалась за крышей избы, а тот который дожидался, — ту, что виделась с сугроба тонко высившейся передовой.

На той станции Гимазетдин разбудил одного Ковалевского, и теперешний их ямщик был Гольцеву незнаком. Зато он сразу признал того Дементия Механошина, которому выдавал однажды в конторе, и значит верст за шестьдесят отсюда, удостоверение в том, что, содержа

тройку и правя последний год между Биляром и Сюгинским, он работает на оборону.

Было странно подумать, что тогда он удостоверял эту избу и двор, и совершенно про них не ведая, подписывал свидетельство этому сказочному селу и звездной ночи.

Потом, пока на дворе шла перепряжка и сонная ямщичка поила их чаем, пока тикали часы, и за невязавшимся разговором душно ползли клопы по календарям и коронованным особам, пока равномерно и невпопад, как механизмы с разным заводом, всхрапывали и подсвистывали сопатые тела, спавшие на лавках, Дементий входил и выходил, меняясь во всём с каждым новым появлением, смотря по тому, что снимал с гвоздя или вытаскивал из-под перины. В первый раз он вошел в зипуне — мужиком хлебосолом, сказать жене, чтобы дала господам с сахаром и вынула булку, в другой — работником, в короткой сибирке — за вожжами, и наконец в третий явился ямщиком в армяке и, не входя, сказал, нагибаясь, из сеней, что лошади готовы, а час уже четвертый, время-де собираться и, пнув кнутовищем дверь, вышел на темную, звонко разбренчавшуюся при его выходе, волю.

Вся остальная дорога прошла мимо памяти обоих. Светало, когда проснулся Гольцев, и поле туманилось. По нем, прямясь и растягиваясь, тяжело и парно дымился нескончаемый обоз; они его обгоняли и потому казалось, что сани с дровами и возчики только топочут на месте, чтобы отогреться, и только отвизгиваются, крепясь со стороны на сторону, и раскачиваются, вперед не подвигаясь.

Широкая гужевая дорога шла стороной от той тропки, по которой летели они. Она была многим выше. Меся непогаснувшие звезды, подымались и опускались ноги, двигались руки, морды лошадей, башлыки и дровни. Казалось, само подслободное утро, серое и трудное, дюжими клоками сырости плывет по прозрачному небу, в ту сторону, где ему почуялась чугушка, кирпич фабричных корпусов, сырой, лежалый уголь, майный, горемычный гар и дым. А кибитка неслась, вылетая из выбоин и перелетая ухабы, захлебывался колокольчик, и обозу не

предвиделось скончания, и давно было уже время взойти солнцу, но до солнца было еще далеко.

До солнца было еще далеко. До солнца оставалось еще верст пять пути, короткая остановка на въезде, вызов к директору завода и долгое шарканье по половику прихожей.

Тогда оно выглянуло. Оно вошло вместе с ними в кабинет, где оно разбежалось по коврику и, закатившись за цветочные горшки, усмехнулось клеткам и пичужкам в окне, елкам за окошком и печке и всем сорока четырем корешкам кожаного Брокгауза.

Потом, во всё время разговора Ковалевского с заводоуправителем, двор играл за окном и уже не бросал играть, и не уставал сыпать бирюзой и ручьями терпкого хвойного пота, каплями сварившегося инея и янтарем.

Директор движеньем глаз указал на Гольцева. «Этот мой друг» — живо вставил Ковалевский. «При нем можно. Будьте покойны. Так вы знали Брешковскую?..»

Вдруг он поднялся и, повернувшись к Гольцеву, воскликнул как в испуге:

«А мои бумаги? Я говорил — так и есть. Ах, Костя! Ну, что теперь делать?»

Тот не сразу понял его.

— «Паспорта со мной». —

«Сверток, — рассерженно перебил его Ковалевский — ведь я просил вас напомнить» —

— «Ах, Юра, простите. Он остался там. Это, в самом деле, свинство. И как это я...»

Меж тем хозяин, плотный и одышливый коротыш, отдавал приказания по хозяйству, фыркал, смотря на часы, поворачивал кочергой дрова в печке и вдруг, до чего-нибудь не добыв, словно передумавши, круто поворачивал назад и, возвращаясь, с разбега внезапно вырастал у стола, за которым Ковалевский писал брату: — «словом, лучше нельзя, дай Бог дальше так. Теперь перехожу к главному. Исполни всё в точности. В передней, Костя говорит, на машинном сундуке, остался сверток с моей нелегальщиной. Разверни, и если среди брошюр найдешь рукописи (воспоминания, организац. границы, шифрованн. корреспонд. периода конспират. квартиры у нас

и побега Кулишера и т. п.), то заверни всё, как было, и при первой же верной okazji запечатай и перешли на мое имя в Москву, в адрес Теплорядной конторы. Смотри, разумеется, по обстоятельствам.

Ты ведь и сам не дурак и при изменившейся...»

«Пожалуйте кофе пить, — шаркнув и отшаркнувшись, осторожно шепнул хозяин. — Вам, молодой человек, — еще осторожнее пояснил он Гольцеву с почтительным умолчанием в сторону манжеты Ковалевского, целившейся в нужное выражение и застывшей над бумагой в ожидании его пролета.

Мимо окна прошли, беседуя и на ходу сморкаясь, три пленные австрийца. Они шли, обхаживая образовавшиеся лужи.

«— при изменившейся —»

Ворона, взлетевшая при появлении австрийцев, тяжело опустилась на прежний сук.

«— при изменившейся конъюнктуре —»

обрел недостававшее Ковалевский — свертка в Москву не посылай, а припречь поверней. Полагаюсь на тебя, как и во всем остальном, о чем уговор у нас. Скоро садиться в поезд. Смертельно устал. Думаем выспаться в вагоне. Маше пишу отдельно. Ну, прощай.

Р. S. Представь, оказывается Р., директор — старый соц. рев. Вот и говори после».

В это время в кабинет заглянул Гольцев с откушенной тартинкой, и сглатывая недожеванный мякиш, сказал:

«Вы — Мише ведь? Напишите, чтобы и папку мою — он укусил тартинку и продолжал, глотая и жуя — послали. Я передумал. Не забудьте, Юра. И идите кофе пить».

20 ноября 1918 г.

УЕЗД В ТЫЛУ

Два отрывка из главы романа

I

Помню вечер. Он как сейчас предо мною. Это было на мельнице теста. Днем я ездил по его делам верхом в город.

Я выехал рано. Тоня с Шурой еще спали, когда я на цыпочках выбрался от них на свет кончавшейся ночи. Кругом по колено в траве и комарином плаче стояли березы, всматриваясь куда-то в одну точку, откуда близились осень. Я шел в ту же сторону.

Там за оврагом был двор с домом, где мы жили раньше и откуда незадолго перед тем перебрались в лесную сторожку, чтобы освободить место для дачницы. Ее ожидали со дня на день. Среди дел, предстоявших мне в городе, должен я был повидать и ее.

На мне были новые, неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями лупили друг за дружкой сквозь листву. Там и сям оживали деревья, враскачку перебрасывая их с верхушки на верхушку.

Хотя преследование это прерывалось частыми перелетами по воздуху, но с такой гладкостью, что оставляло впечатление какой-то беготни по ровному предрассветному небу. А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота конюшни и седлал Сороку работник Демид.

Последний раз я был в городе в середине июля. Прошло три недели, и за это время произошли новые перемены к худшему.

По правде сказать, мне трудно было о них судить. Свою безумную покупку Александр Александрович совершил в самом начале войны. В первый наш наезд из Москвы на мельницу, как здесь по старой памяти звали его лесное приобретение, уральское лицо Юрятин уже было заслонено беженцами, австрийскими военнопленными и множеством военных и штатских из обеих столиц, заброшенных сюда всё усложнявшимися нуждами военного времени. Он сам уже ничего не представлял собою и только отражал, как в зеркале, изменения, происходившие в стране и на фронте.

Волны эвакуации докатывались сюда и раньше. Но когда с железнодорожного переезда за Скобяниками я увидел горы оборудования из Прибалтики, сваленные вдоль путей товарной станции под открытым небом, мне подумалось, что пройдут годы, прежде чем кто-нибудь вспомнит об этих «Этнах», ревельских трубопрокатных и «Перунах», и что не мы, а именно эти груды ржавчины будут когда-нибудь свидетельствовать, чем всё это кончится.

Несмотря на ранний час, присутствие у воинского начальника было в полном разгаре. На дворе старший из толпы татар и вотяков объяснял, что деревня плетет корзины под сернокислотные бутылки для Объединения Малояшвинских и Нижневарыньских, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми волостями. Ошибкой этой партии было то, что они сами проявили жизнь и кому-то показались. Их дело затеряли, и теперь, тяготясь скучными поисками, гнали на фронт. Хотя в теплом помещении канцелярии признавали их доводы, на дворе их никто не слушал. Мои бумаги оказались в исправности, и статья о килах и грыжах, по которой гулял Демид, также пока еще не оспаривалась.

За угол от воинского, на Сенной, против собора был заезжий двор, куда я и поставил Сорочу, стеснявшую меня в городе за короткостью его расстояний. Был Успенский пост. Больше года не продавали вина в казенных лавках. Но своей тишиной и мрачностью двор

выделялся и среди всеобщего потрезвения. Под широкой его крышей тайно промышляли кумышкой. Если не считать хозяина, здесь было теперь бабье царство. Лошадь приняла одна из его снох.

— Продаваться не надумали? — спросил хозяин откуда-то сверху, высунувшись из окна и подперши голову рукою. Я не сразу сообразил, к чему относится его вопрос. — Нет, не собираемся, — ответил я. Очевидно, слухи о наших лесных владениях дошли до города и стали притчей во языцех.

Улица ослепила меня после дворовых потемок. Очувшись на своих ногах после седла, я ощутил наступление утра как бы вторично. Поздней обычного тащились на рынок возы с капустой и морковью. Дальше Дворянской они не доезжали. Их уже останавливали на каждом шагу, как какую-то невидаль, и раскупали дорогой. Стоя на телегах, бабы-огородницы, как со всенародного возвышения клялись угодить каждому, но это не остепеняло толпы, не по-провинциальному шумной и сварливой, которая вокруг них вырастала.

По крашеной под мрамор лестнице в городскую контору Усть-Крымженских заводов я нагнал седобородого юртынского горожанина в сибирке со сборами, придававшими его талии сзади что-то бабье. Он медленно взбирался передо мной и, войдя в контору, высморкался в красный платок, надел серебряные очки и принялся разбирать объявленья, испещрявшие ближайшую от входа левую стену. Кроме издавна ее покрывавших печатных реклам и проспектов, одноцветных и в краску, на ней белело несколько столбцов бумажек, исписанных на машинке и от руки, которые и привлекали его внимание.

Здесь были публикации о покупке лесов на корню и в срубе, объявления о торгах для сдачи подрядов на всякого рода перевозки, извещение рабочих и служащих о единовременной прибавке на дороговизну в размере трехмесячного заработка, вызовы ратников ополчения второго разряда в стол личного состава. Висело тут и постановление об отпуске рабочим и служащим продовольственных товаров из заводских лавок в твердой месячной норме по ценам, близким к довоенным.

— Муки ржаной сорок пять фунтов, цена за пуд один рубль тридцать пять копеек; масла постного два

фунта... — читал по складам юрятинский мещанин. Я застал его потом перед одной из конторок за справками, согласилось ли бы правление рассчитываться по объявленным подрядам не кредитками, а карточными системами, — как именно он сказал, — вывешенного образца. Долго не могли взять в толк, что ему надо, а когда поняли, то сказали, что тут ему не лабаз. Я не слышал, чем кончилось недоразуменье. Меня отвлек Вяхрищев.

Он торчал в главном зале счетного отдела, разгоряченного надвое решеткою со стойками, и, заставляя сторониться молодых людей в развевающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдоты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, ни одного не допивая, брал с подноса устряпухи, в несколько приемов разносившей его по конторе.

Это был военный из Петербурга, в чине капитана, бритый и саркастический, состоявший приемщиком Главного артиллерийского управления на заводах.

Заводы находились в двадцати пяти верстах к югу от Юрятина, то есть в противоположную от нас сторону. Это было далекое путешествие, и его приходилось совершать на лошадях. Мы ездили иногда туда в гости, когда за нами посылали, однако это не имеет никакого отношения к Вяхрищеву. Надо рассказать, чем поддерживалось его постоянное остроумие.

II

Я отправился к Истоминой.

Об этой женщине что-то рассказывали. Она была родом из здешних мест, кажется, из Перми, и с какой-то сложной и несчастной судьбой. Ее отец, адвокат с нерусской фамилией Люверс, разорился при падении каких-то акций и застрелился, когда она была еще ребенком. Дети с матерью переехали в Москву. Потом, по выходе замуж, дочь каким-то образом снова очутилась на родине. Ходившие о ней рассказы относились к позднему времени и займут нас не скоро.

Хотя преподаватели учебных заведений мобилизации не подлежали, ее муж, физик и математик юрятинской гимназии Владимир Васильевич Истомин, пошел на

войну добровольцем. Уже около двух лет о нем не было ни слуху, ни духу. Его считали убитым, и жена его то вдруг уверялась в своем неустановленном вдовстве, то в нем сомневалась.

Я взбежал к ней по черной лестнице нового здания гимназии с несколько удлиненными маршами очень тесного и потому казавшегося кривым лестничного колодца. Лестница что-то напоминала.

Чувство той же знакомости охватило меня на пороге учительской квартиры. Дверь в нее была открыта. В передней стояло несколько мест дорожной клади, ожидавшей обшивки. Из нее виднелся край темной гостиной с пустым и сдвинутым с места книжным шкапом и зеркалом, снятым с подзеркальника. В окнах, вероятно выходивших на север, горела зелень гимназического сада, освещенного сзади. Не по сезону пахло нафталином.

На полу в гостиной хорошенькая девочка лет шести укладывала и стягивала мотком грязной марли свое кукольное хозяйство. Я кашлянул. Она подняла голову. Из дальней комнаты в гостиную выглянула Истомина с охапкой пестрых платков, низ которых она волочила по полу, а верх придерживала подбородком. Она была вызывающе хороша, почти до оскорбительности. Связанность движений очень шла к ней и была, может быть, рассчитана.

— Вот, наконец, решилась, — сказала она, не выпуская из рук охапки. — Долго же я вас водила за нос. — Среди гостиной стояла раскрытая дорожная корзина. Она сбросила в нее платки, отряхнулась, огладила и подошла ко мне. Мы поздоровались.

— Дача с обстановкой, — напомнил я ей. — На что вам туда мебель? — Основательность ее сборов меня смутила.

— А ведь и в самом деле! — заволновалась она. — Что ж теперь делать? К трем сговорены подводы. Дуня, сколько у вас там на кухонных? Ах, ведь я сама послала ее в дворницкую. Катя, не мешайся тут, ради Христа.

— Двенадцать, — сказал я. — Надо отказать лишним ломовикам, а одного оставить. У вас еще много времени.

— Ах, да разве в этом дело!

Это было сказано почти с отчаянием. Я не мог понять, к чему оно относится. Вдруг я стал догадываться. Вероятно, ей отказывают от казенной квартиры, и она надеется найти у нас постоянное пристанище. Этим объясняется ее поздний переезд. Надо предупредить ее, что зимы мы проводим в Москве, а дом заколачиваем.

В это время с лестницы донесся гул голосов. Вскоре им наполнилась и прихожая. В дверях гостиной показалась девушка с несколькими связками свежей рогожи, и дворник с двумя ящиками, которые он со стуком опустил на пол. Опасаясь новой проволоочки, я стал прощаться. — Так что же, — сказал я, — в добрый час, Евгения Викентьевна. До скорого свидания. Дороги просохли, ехать сейчас — одно удовольствие.

Выйдя на улицу, я вспомнил, что с постоянного мне не прямо домой, а еще в контору за тючком, отложенным для Александра Александровича. Однако до Сенной я решил зайти пообедать на вокзал, буфет которого славился дешевизной и добротностью своей кухни. Дорогой мысли мои вернулись к Истоминой.

До этого разговора я видел ее два или три раза, и во всякую встречу меня преследовало ощущение, будто я уже ее когда-то видел. Долгое время я считал это ощущение обманчивым и не искал ему объяснения. Сама Истомина ему способствовала. Она должна была что-нибудь напоминать каждому, потому что некоторой неопределенностью манер часто сама походила на воспоминанье.

На вокзале было сущее столпотворение. Я сразу понял, что уйду не солоно хлебавши. Растекаясь рукавами от билетных касс, толпа уже без промежутков заливала все его залы. Публику в буфете составляли по преимуществу военные. Половине не хватало места за столами и они толпились вокруг обедающих, прогуливались в проходах, курили, несмотря на развешанные запрещения, и сидели на подоконниках. Из-за конца главного стола всё порывался вскочить какой-то военный. Товарищи его удерживали. За общим шумом ничего не было слышно, но, судя по движениям оправдывавшегося официанта, на него кричали. Направляясь туда, зал пересекал содержатель буфета, толстяк, раздутый, как казалось, до своих

неестественных размеров посудными гулами помещенья и близостью дебаркадера.

На дебаркадер было сунулся я, чтобы, минуя давку, пройти в город путями, но швейцар меня не пустил. Сквозь стекла выхода бросалась в глаза его необычная пустоватость. Стоявшие на нем артельщики смотрели в сторону открытой, в глубь путей отнесенной платформы, служившей продолжением крытых перронов. Туда прошел начальник станции с двумя жандармами. Говорили, что при отправке маршевой роты там недавно произошел какой-то шум, рода которого никто толком не знал.

Обо всем этом вспомнил я в конце обратного пути, лесной дорогой через рыньвенскую казенную дачу, где Сорока, точно заразясь моей усталостью, сама, встряхивая головой и поводя боками, пошла шагом.

В этом месте с лесом делалось то же самое, что со мной и с лошадьёю. Малоезжая дорога пролегла сечею. Она поросла травой. Казалось, ее проложил не человек, но сам лес, подавленный своей необъятностью, расступился здесь по своей воле, чтобы пораздумать на досуге. Просека казалась его душою.

В ее конце мысом в жердяной изгороди вклинивался белый прямоугольник. Это были ясырские яровые. Немного дальше показывалась бедная деревенька. Обрамлявший ее с горизонта лес смыкался дальше новою стеною. Ясыри с их овсами оставались позади ничтожным островком. Вероятно, как и в соседнем Пятибратском, часть земли крестьяне арендовали у уделов.

Я ехал шагом и, хлопая комаров на руках у себя, на лбу и шее, думал о своих, о жене и сыне, к которым возвращался.

Я думал о них, ловя себя на мысли, что вот я приеду, и опять никогда им не узнать, как я думал о них этою дорогой, и будет казаться, будто я люблю их недостаточно, будто так, как хотелось бы им, я люблю что-то другое и отдаленное, что-то подобное одиночеству и шаганью лошади, что-то подобное книге. Но растолковать им, что это-то всё и есть они, не будет никаких сил, и их недовольство будет меня мучить.

Поразительно, сколько было на их стороне правды. Всё это были знамения времени. Их улавливало бесхитрое чутье близких. Нечто более неведомое и отда-

ленное, чем все эти пристрастия, уже стояло за лесом, и вихрем должно было пронестись по человеческим судьбам. И они угадывали веянье грядущих разлук и перемен.

Что-то странное было в той осени. Будто перед тем, как выпить море и закусить небом, природа вздумала перевести дыханье, и его вдруг захватило. Не так куковала кукушка, не так белел и плющился спелый послеобеденный воздух, не так рос и розовел Иван-чай. И не так возвращался человек к себе в семью, дороже которой он ничего не знал.

Через некоторое время лес поредел. За неглубоким логом, межевою его границей, куда спускалась и откуда подымалась затем дорога, показался пригорок с несколькими строениями. Роща, в которой стояла усадьба, заменяла ей ограду. Она была до того запущена, что могла позавидовать зимним кордонам лесников, попадавшимися в разных концах соседнего леса. Изю всех глупостей, совершенных Александром Александровичем, это была, может быть, самая непростительная. Какой-то школьный товарищ, занятый в здешней промышленности, присмотрел для него этот ведьмовский уголок. Александр Александрович, не глядя, дал письменное согласие на сделку, вместо приобретения луговых земель где-нибудь в Средней России, где ему с большей пользойгодились бы его животноводческие познания. Но о пользе меньше всего думал этот образованный и тогда еще молодой человек. Он тоже посвящал свои мысли далекому и отвлеченному. Недаром получил я воспитание в его доме наравне с Тонею, его дочкой. Как бы то ни было, становилось не до шуток. Сокровище это надо было как можно скорее продать на дрова, благо был на них спрос. Фабрики переводили с минерального топлива на древесное, в городе больше всего говорили об этом.

Показался флигель под малиновой крышей. Сорока пошла вскачь. С горы я увидел Тоню и Шуру, со смехом бежавших ко мне со стороны оврага. Конюшня так и стояла с утра настежь. Только ступил я на землю, как лошадь, вырвав поводья, ринулась в нее к корму и отдыху, слишком дразнившим ее глаз и обонянье. Шурка запрыгал и стал хлопать в ладоши, точно это было сделано нарочно для его забавы.

— Пойдем ужинать, — сказала Тоня. — Что это ты хромаешь?

— Никак на ногу не ступлю, отсидел. Ничего, разомнусь — пройдет.

Из-за угла сарая вышел Демид и, скучливейше поклонившись, пошел расседывать и убирать Сороку.

— Да, там в ремнях за седлом папе подношение. Надо отвязать и отнести. Где он, кстати?

— Папа уехал до вторника. Днем были с заводов. Сегодня девятое, там какая-то Марья именинница. А что это такое?

— Продовольственный паек. Если он на Крымже, то тем лучше. Второй получит.

— Ты, кажется, сердишься?

— Суди сама, это начинает входить в систему. Мы не бездельники, не юроды, а папа твой так и попросту отличный человек. Между тем всё детство я на хлебах у вас, папа — у своей родни, та — еще на чьих-то, и так далее, и так до бесконечности. Мы могли бы жить, не дармоедствуя. Сколько раз предлагал я подсчитать наши знания и способности...

— Ну и что же?

— В том-то и дело, что теперь уже поздно. Это распространилось и стало всеобщим злом. В городе спят и видят, как бы попасть в приписанники к какому-нибудь горшку посытнее. Это возвращение посессионных времен, знаешь ли ты, что это такое? Каждый, кого ни возьмешь, к чему-нибудь прикреплен и даже не знает, из каких рук в чьи завещан и передоверен. Источник самостоятельного существования утрачен. Согласись, радости в этом мало.

— Ах, как всё это старо и надоело! Смотри, что ты делаешь. Это действие твоих монологов.

Мальчик плакал.

После ужина и примирения я ушел на кручу, обрывавшуюся в задней части рощи над рекою. Странно, как я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места, упоминаемом в песнях и занесенном на карты любого масштаба.

Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом, как бы в сознании своего речного имени, и тут же на выходе, в полуверсте вверх от нашего

обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежавшие ее занятию. Каждое ее колебание разливалось излучиной. Ее созерцание создавало заводи. Самая широкая была под нами. Здесь ее легко было принять за лесное озеро. На том берегу был другой уезд.

Я лег на траву. Я давно уже лежал, в ней растянувшись, но, вместо того чтобы смотреть на реку, шевелил без смысла носами тесных сапог, разглядывая их с высоты подложенного локтя. Чтобы увидеть реку, глаза надо было чуть-чуть приподнять. Я всё время собирался это сделать и всё откладывал.

Всё шло не по-моему, но и не наперекор мне и, следовательно, ни по-какому. Пожеланиям моим не хватало настойчивости. Уступчивость моя была не с добра. Страшно было подумать, от чего только не был я готов отказаться. Без меня родным было бы лучше, я портил им жизнь.

Постепенно мною завладел круг мыслей, привычных в те годы всем людям на свете, и разнообразившихся лишь их долею и личным складом, да еще отличьями поры, в которую они приходили; тревожных в четырнадцатом году, еще более смутных в пятнадцатом и совершенно беспросветных в том шестнадцатом, осенью которого это происходило.

Мне снова подумалось, что было бы, может быть, лучше, если бы, несмотря на повторные браковки, я всё же понюхал военного пороху. Я знал, что сожаленьям этим грош цена, добро бы я что-нибудь для этого делал.

Но прежде я жалел об этом из любви к жизни. Я жалел, что в ней останется пробел, если в памятный для отечества час я не разделю военных подвигов своих ровесников. Теперь я сожалел об этом из отвращения. Мне было жалко, что неучастие в войне сохраняет мне жизнь, настолько уже на себя непохожую, что с ней хотелось расстаться раньше, чем она сама тебя покинет. А расстаться с нею всего достойнее и с наибольшей пользой можно было на фронте.

Тем временем наш берег покрылся тенью. У противоположного вода лежала куском треснувшего зеркала. Он повторялся в ней со зловещей яркостью, в духе этой недоброй приметы. Берег был низкий. Отражения заса-

сывало под травяную бровку луга. Они стягивались и уменьшались.

Скоро солнце зашло. Оно село за моей спиной. Река запылилась, поросла щетиной, засалилась. Вдруг ее бордавчатая гладь задымилась в нескольких местах сразу, точно ее подожгли сверху и снизу.

В Пятибратской чуть внятно, но с видимой причиной залаяли собаки. Их лай подхватили на ближнем кордоне, громко, но без причины. Трава подо мной заметно отсырела. В ней лесными ягодами бредовой ясности зажглись первые звезды.

Скоро лай вдали возобновился, но роли в пространстве переменились. Теперь с явным поводом лаяли ближние, а дальние только подвывали. С лесной дороги слышался стук колес. Донеслись неровные звуки ровного дорожного разговора. Разговаривающих подбрасывало в тарантасе. Поднявшись с мокрой травы, я пошел встречать нашу дачницу.

Приложение первое

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ОХРАННОЙ ГРАМОТЕ»

Посмертное письмо Райнеру Марии Рильке

Если бы Вы были живы, я бы написал Вам сегодня такое письмо. Сейчас я кончил «Охранную грамоту», посвященную Вашей памяти, а вчера вечером меня просили из Вокса зайти по делу, лично касающемуся Вас. Из Германии для посмертного собрания Ваших писем потребовали записку, в которой Вы обняли и благословили меня. Я на нее тогда не ответил. Я верил в близкую с Вами встречу. Но вместо меня за границу поехали жена и сын.

Оставить такой дар, как Ваши строки, без ответа, было нелегко. Но я боялся, как бы, удовольствовавшись перепиской с Вами, я не поселился навеки на полдороге к Вам. А мне надо было Вас видеть. Когда же я ставил себя на Ваше место (потому что моя безответность могла удивить Вас), я успокаивался, вспоминая, что в переписке с Вами Цветаева, потому что хотя я не мог заменить Цветаевой, Цветаева заменяет меня.

Тогда у меня была семья. Преступным образом я завел то, к чему у меня нет достаточных данных, и вовлек в эту попытку другую жизнь и вместе с ней дал начало третьей.

Улыбка коlobком округляла подбородок молодой художницы, заливая ей светом щеки и глаза. И тогда она как от солнца щурила их непристально-матовым прищуром, как люди близорукие или со слабой грудью. Когда разлитье улыбки доходило до прекрасного, открытого

лба, всё более и более колебля упругий облик между овалом и кругом, вспоминалось итальянское возрождение. Освещенная извне улыбкой, она очень напоминала один из женских портретов Гирландайо. Тогда в ее лице хотелось купаться. И так как она всегда нуждалась в этом освещении, чтобы быть прекрасной, то ей требовалось счастье, чтобы нравиться.

Скажут, что таковы все лица. Напрасно, — я знаю другие. Я знаю лицо, которое равно разит и режет и в горе и в радости, и становится тем прекрасней, чем чаще застаешь его в положениях, в которых потухла бы другая красота. Взвивается ли эта женщина вверх, летит ли вниз головою, ее пугающему обаянию ничего не делается, и ей нужно что бы то ни было на земле гораздо меньше, чем сама она нужна земле, потому что это сама женственность, грубым куском небьющейся гордости целиком вынутая из каменоломни творенья. И так как законы внешности всего сильнее определяют женский склад и характер, то жизнь и суть и страсть такой женщины не зависят от освещения, и она не так боится огорчений, как первая.

Итак, я жил и принадлежал семье. — Как я помню тот день. Моей жены не было дома. Она ушла до вечера в высшие художественные мастерские. В передней стоял с утра неприбранный стол, я сидел за ним и задумчиво подбирал жареную картошку со сковородки, и задерживаясь в паденьи и как бы в чем-то сомневаясь, за окном редкими считанными снежинками нерешительно шел снег. Но заметно удлинившийся день весной в зиме, как вставленный, стоял в блуждающей серобахромчатой раме.

В это время позвонили с улицы, я отпер, подали заграничное письмо. Оно было от отца, я углубился в его чтение.

Утром того дня я прочел в первый раз «Поэму конца». Мне случайно передали ее в одном из ручных московских списков, не подозревая, как много значит для меня автор и сколько вестей пришло и ушло от нас друг к другу и находятся в дороге. Но поэму, как и позднее полученного «Крысолова», я до того дня еще не знал. Итак, прочитав ее утром, я был еще как в тумане от ее захватывающей драматической силы. Теперь с волнением читая отцово сообщение о Вашем пятидесятилетии и

о радости, с какой Вы приняли его поздравление и ответили, я вдруг наткнулся на темную для меня тогда еще приписку, что я каким-то образом известен Вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал.

Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе. Я не только не представлял себе такой возможности за двадцать с лишним лет моего Вам поклонения, но она наперед была исключена, и теперь нарушала мои представления о моей жизни и ее ходе. Дуга, концы которой расходились с каждым годом всё больше и никогда не должны были сойтись, вдруг сомкнулась на моих глазах в одно мгновение ока. И когда! В самый неподходящий час самого неподходящего дня!

На дворе собирались нетемные говорливые сумерки конца февраля. В первый раз в жизни мне пришло в голову, что Вы — человек, и я мог бы написать Вам, какую нечеловечески огромную роль Вы сыграли в моем существовании. До этого такая мысль ни разу не являлась мне. Теперь она вдруг уместилась в моем сознании. Я вскоре написал Вам.

Я боялся бы теперь взглянуть на то письмо, я его не помню. Сказать Вам, кто Вы такой, было самой легкой задачей на свете. Но если я заговорил и о себе, то есть о нашем времени, я едва ли справился с незрелой темой.

Едва ли сумел я, как следует, рассказать Вам о тех вечно первых днях всех революций, когда Демулены вскакивают на стол и зажигают прохожих тостом за воздух. Я был им свидетель. Действительность, как побочная дочь, выбежала полуодетой из затвора и законной истории противопоставила всю себя, с головы до ног незаконную и бесприданную. Я видел лето на земле, как бы узнавшее себя, естественное и доисторическое, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил всё, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого.

Приложение второе

ПРИМЕЧАНИЯ И РАЗНОЧТЕНИЯ

Во второй том включены прозаические произведения Б. Л. Пастернака, кроме романа «Доктор Живаго», вышедшего в свет в этом же издательстве и являющегося как бы четвертым томом Собрания сочинений Пастернака. Проза Пастернака была опубликована в книгах:

1. *Рассказы*. Изд. «Круг», Москва-Ленинград, 1925 («Детство Люверс». — «Il tratto di Apelle». — «Письма из Тулы». — «Воздушные пути»). (В дальнейшем сокращенно: «Рассказы»).

2. *Охранная грамота*. Изд. Писателей в Ленинграде, 1931.

3. *Воздушные Пути*. ГИХЛ, Москва, 1933 («Детство Люверс». — «Апеллесова черта». — «Воздушные Пути». — «Повесть»). (Сокращенно — «В. Пути»).

4. *Повесть*. Изд. Писателей в Ленинграде, 1934 (сокращенно — «Повесть»).

Кроме того, проза Пастернака публиковалась в повременных изданиях и альманахах:

1. *Наши Дни*. Альманах. Кн. 1, под ред. В.В. Вересаева. ГИЗ, Москва, 1922, стр. 121-167 («Детство Люверс»). (Сокращенно — «Н. Дни»);

2. *Шиповник*. Альманах. Кн. 1, под ред. Ф. А. Степуна, изд. «Шиповник», Москва, 1922, стр. 57-64 («Письма из Тулы»). (Сокращенно — «Шиповник»);

3. *Временник «Знамени Труда»*, Москва, 1918 («Апеллесова черта»). (Сокращенно — «Временник»);

4. *Звезда*. Журнал, Ленинград, 1929, кн. 8, стр. 148-166 («Охранная грамота», часть 1). (Сокращенно — «Звезда»);

5. *Красная Нива*. Еженедельный журнал, Москва, 1929, № 30, стр. 24-25 (глава из «Повести»). (Сокращенно — «Красн. Нива»);

6. *Красная Новь*. Журнал, Москва, 1931, кн. 4 («Охранная грамота», часть 2) и кн. 5-6 («Охранная грамота», часть 3). (Сокращенно — «Кр. Новь»);

7. *Новый Мир*. Журнал, Москва, 1929, кн. 7, стр. 5-43 («Повесть»). (Сокращенно — «Н. Мир»);

8. *Огонек*. Еженедельный журнал, Москва, 1939, № 1, стр. 14-15 («Надменный нищий»). (Сокращенно — «Огонек»);

9. *Русский Современник*. Журнал, Петроград-Москва, 1924, кн. 2, стр. 85-96 («Воздушные пути»). (Сокращенно — «Р. Современник»);

10. *Тридцать Дней*. Журнал, Москва-Ленинград, 1939, кн. 8-9, стр. 31-35 («Тетя Оля»). (Сокращенно — «30 дней»);

11. *Воля Труда*. Газета. Орган Центрального Комитета партии Революционного Коммунизма. 1918, №№ 60 и 62, от 26 и 28 ноября («Безлюбье»). (Сокращенно — «Воля Труда»);

12. *Литературная Газета*. Москва, 1929, № 13, 15 июля («Ночной набросок» — отрывок из «Повести»); 1931, № 20 (119), 14 апреля («Первые встречи с Маяковским», отрывок из третьей части «Охранной грамоты»); 1937, № 71 (707), 31 декабря («Из нового романа о 1905 г.»); 1938, № 69 (776), 15 декабря («Два отрывка из главы романа: Уезд в тылу»). (Сокращенно — «Лит. Газета», с указанием года и №);

13. *Новое Русское Слово*. Ежедневная газета, Нью-Йорк, 12-26 января 1959 («Автобиографический очерк»). (Сокращенно — «НРС»);

14. *Русская Мысль*. Газета, Париж, 12-31 декабря 1959 («Автобиографический очерк»); 24 января 1961 («Послесловие к 'Охранной грамоте'»). (Сокращенно — «Р. Мысль», с указ. даты).

Кроме того, «Автобиографический очерк» — под названием «Вместо предисловия» — включен в набранную и сверстанную, но не выпущенную в свет книгу избранных стихотворений Пастернака, Москва, 1957, фотостат гранок которой находится в нашем распоряжении (сокращенно — «Гранки 1957»).

Некоторые произведения Пастернака были перепечатаны в зарубежной печати:

15. *Опальные повести*. Сборник под ред. В. А. Александровой. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1955, стр. 67-165 («Охранная грамота»);

16. *Мосты*. Альманах. Кн. 1. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен, 1958, стр. 11-19 («Уезд в тылу»);

17. *Новый Журнал*. Нью-Йорк, кн. 62, 1960, стр. 10-18 («Безлюбье»). (Сокращенно — «Н. Журнал»);

18. *Новое Русское Слово*. Газета, Нью-Йорк, 5 октября 1958 («Из нового романа о 1905 г.» — с сопроводительной статьей Г. П. Струве «К творческой истории 'Доктора Живаго'»). (Сокращенно — «НРС»);

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Написан Б. Л. Пастернаком для предполагавшегося к выпуску в 1957 г. сборника его избранных стихотворений и потому первоначально

но был озаглавлен «Вместо предисловия» и датирован «май-июнь 1956 г.» («гранки 1957»). Очерк впервые опубликован по-русски в «НРС», затем — в «Р. Мысли». Нами сверен с копией авторской рукописи, любезно предоставленной нам Абрамом Соломоновичем Геренротом. Сверен также с первой редакцией очерка в «гранках 1957». Кроме немногочисленных разночтений стилистического характера, существенным отличием текста, помещенного в гранках, является значительно более сокращенный текст главок, посвященных Маяковскому.

Так, главка 8-ая (наша страница 38) — о самоубийствах поэтов — отсутствует целиком в «гранках 1957». Отсутствует пастернаковская отрицательная оценка позднего Маяковского — на стр. 43 в четвертом абзаце нет строк от «До меня не доходят...» и кончая «стал считаться революционным». В главке 13-ой перестроена фраза, начинающаяся словами: «В последние годы»: в «гранках 1957» отсутствует часть фразы от «когда не стало поэзии» и до «главную опору». Нет в гранках и трех последних абзацев, от «Еще раньше» до конца главки.

В конце первой главки части «Перед первой мировой войной» конец первого абзаца на нашей стр. 31 в гранках в иной редакции: «Он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль». Затем рукою автора вычеркнута фраза: «Измученные лишениями близкие отказались от него и не пустили его к себе». А следующая фраза изменена: «Заболел плевритом, он умер от отека легких». Есть, однако, основания думать, что версия насчет смерти Самарина от тифа более правильная.

В конце главки 9-й той же части (наша стр. 40) в гранках 1957, после заключительной фразы, заканчивающейся словами: «...и играл», следует:

«Вкус у него был такой зрелости и выношенности, что казался старше его самого. Ему было двадцать два года, а его вкусу, так сказать, — сто двадцать два».

Заключение очерка в гранках 1957 совсем иное, чем в окончательной редакции. Приводим его полностью.

На стр. 29 порядок, в котором Б. Л. Пастернак характеризует отца и дядю кн. Николая Сергеевича Трубецкого (1890-1938), может ввести в заблуждение читателя. Отцом кн. Н. С. Трубецкого был кн. Сергей Николаевич Трубецкой (1862-1905), известный философ и ректор Московского Университета. Его брат, кн. Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920), тоже философ, автор книги о Владимире Соловьеве, был профессором энциклопедии права.

На стр. 35 Пастернак ошибся, назвав книгу Ахматовой «Подорожник». Речь, очевидно, идет о «Четках» (1914). «Подорожник» вышел в 1921 году.

На стр. 37 в фразе «Его признание меня преувеличивают» слово

«меня» вставлено нами по смыслу. В первоначальной редакции было: «Признание, которым он дарил меня, преувеличивают».

З а к л ю ч е н и е

Здесь кончается мой вступительный очерк. Я не обрываю его, оставив недописанным, а ставлю точку именно там, где с самого начала задумал. Я совсем не собирался писать историю пятидесятилетия во многих томах и лицах.

Я не распространил разбора на Мартынова, Заболоцкого, Сельвинского, Тихонова, хороших поэтов. Я ни словом не упомянул о поэтах поколения Симонова и Твардовского, таких многочисленных.

Я шел из центра теснейшего жизненного круга, намеренно себя им ограничив.

Написанного тут достаточно, чтобы дать понятие о том, как в моем отдельном случае жизнь переходила в художественное претворение, как оно рождалось из судьбы и опыта.

В заключение мне осталось принести глубочайшую благодарность составителю книги, Николаю Васильевичу Банникову. Без него она не могла бы явиться. По его почину написан настоящий очерк, по его побуждению вызван к жизни и прибавлен новый стихотворный раздел.

Выше я говорил, как двойственно я отношусь к поэтическому прошлому, моему и многих. У меня не поднялись бы руки возвращать из небытия три четверти сделанного мною. Однако, я мирюсь с этим по двум причинам.

Во-первых, к тому досадному и прискорбному, что губит эти вещи, часто примешиваются крупницы должного, пронизательно найденного, удачного.

Во-вторых, совсем недавно я закончил главный и самый важный свой труд — роман в прозе со стихотворными добавлениями «Доктор Живаго». Разбросанные по всем годам моей жизни и собранные в этой книге стихотворения являются подготовительными ступенями к роману. Как на подготовку к нему я и смотрю на их переиздание. Я заново просмотрел их и сделал кое-какие исправления, на мой взгляд необходимые.

Май-июнь 1956 г.

В рукописной копии этой редакции заключения имеются также разночтения. Так, последняя фраза абзаца 6-го («Выше я говорил»), в рукописи, имеющейся в нашем распоряжении: «Однако, я мирюсь с этим по двум причинам:»

Следующий абзац в этой рукописи начинается иначе, чем в гранках: «Тому две причины. Во-первых, к тому досадному...» и т. д.

В следующем абзаце: «Во-вторых, совсем недавно я закончил

главный и самый важный свой труд» — в гранках 1957 рукою автора вычеркнуты слова: «совсем недавно я закончил» — и вместо них вписано: «я заканчиваю и готовлю к печати». В рукописи же, после слов: «самый важный свой труд» — следует еще фраза, исключенная в гранках: «единственный, которого я не стыжусь, и за который смело отвечаю, — роман в прозе...» и т. д.

Последней фразы «Заключения» — «Я заново пересмотрел их...» и т. д. — в рукописи этой редакции конца очерка нет.

АПЕЛЛЕСОВА ЧЕРТА. Впервые опубликовано во «Временнике». Затем — «Рассказы» (под названием «Il tratto di Apelle») и «В. Пути». Нами принят текст «В. Путей». Разночтений с «Рассказами», за исключением названия, нет.

ПИСЬМА ИЗ ТУЛЫ. Впервые — «Шиповник». Перепечатаны в «Рассказах». Нами принят текст «Рассказов». Разночтения:

Стр. 79, строки 14-16 сверху: ...дебаркадера, овладенье тишиною всей шири семафоров и звезд, — наступление полевого покоя....

Стр. 79, строки 21-22 сверху: ...Была ночь на всем пространстве сырой русской совести...

Стр. 81, строка 20 снизу: Мимо, клиньякая, протрусила конка.

ДЕТСТВО ЛЮБЕРС. Впервые — «Н. Дни». Затем — «Рассказы» и «В. Пути». Разночтения с первой публикацией:

Стр. 83, строка 5 сверху: широкую клиентулу среди заводчиков с Чусовой.

Стр. 86, строка 6 сверху: Сначала, случалось, они плакали;...

Стр. 96, строка 9 сверху: Урал вкривь и вкось и прекрасно знает,...

Стр. 101, строки 2-3 сверху: Фортки сводило синей судорогой.

Стр. 113, строка 16 снизу: ...как калитка, накладным крестом ходившая на столбе...

Стр. 123, строки 15-14 снизу: что их «не надо делать, а просто бросать прочь».

Стр. 124, строка 6 сверху: Одинокой бусой сверкал металлический шар...

Стр. 124, строка 8 сверху: ...Женя прищурила глаза, буса...

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ. Впервые — «Р. Современник». Затем — «Рассказы» и «В. Пути», текст которых нами и принят. Разночтения в первой публикации:

Стр. 137, строка 1 сверху: ...и обе пары рельсов полетят вдоль...

Стр. 143, строки 14-15 сверху: что, совершенно отчаявшись в поисках...

Стр. 147, строки 13-12 снизу: В промежутках, морща и собрав тремя пальцами...

Стр. 148, строки 4-5 сверху: ...он, — и снова стало бы нужно находить одного из членов ее...

ПОВЕСТЬ. Впервые — глава из «Повести» — «Красн. Нива»; другая глава — «Ночной набросок» — «Лит. Газета», 1929, № 13; полностью впервые — «Н. Мир». Затем — «В. Пути» и, наконец, отдельным изданием — «Повесть». Нами принят текст последней публикации, с исправлением опечаток и восстановлением нескольких пропущенных слов по «В. Путям». Разночтений нет, кроме пропуска нескольких фраз в журнальной публикации и, в самом начале:

Стр. 151, строка 13 снизу: Соликамск белел и грудился на другом берегу. («Н. Мир»).

Город белел и грудился на другом берегу. («В. Пути»).

Заключительные строки «Повести» перекликаются с рассказом о лете 1914 года в «Автобиографическом очерке» (см. стр. 33 этого тома нашего Собрания).

ОХРАННАЯ ГРАМОТА. Впервые — «Звезда», 1929, кн. 8 (часть 1) и «Кр. Новь», 1931, кн. 4 (часть 2) и кн. 5-6 (часть 3); отрывок «Первые встречи с Маяковским» — «Лит. Газета», 1931, № 20. В 1931 вышло отдельное издание. Нами даются по тексту последнего. Разночтения в журнальных публикациях не считая мелких:

Часть первая:

Главка 1, стр. 204, строки 14-15 сверху: Еще видно, как их подсаживает кучер.

Главка 2, стр. 205, строки 13-8 снизу: Не говоря о том, что внутреннее членение истории навязано моему пониманию в неотразимом образе неминуемой смерти, я и в жизни оживал целиком лишь в тех памятных случаях, когда заканчивалась утомительная варка частей, и, пообедав целым, распрямлялось, чтобы сняться в свой далекий отпуск, всюю мыслимой ширью оснащенное чувство.

Главка 3, стр. 207, абзац 2-й и начало абзаца 3-го: Он приехал, и сразу же пошли репетиции Экстаза. Как бы мне хотелось заменить теперь это название, отдающее тугою мыльной оберткой, каким-

нибудь другим, более подходящим! Они происходили по утрам, путь туда лежал разварной мглой, Фуркасовским и Кузнецким, тонувшими в ледяной тюре. Сонной дорогой в туман погружались висячие языки колоколен, в мокрых кромках ночных сосулек. На каждой по-разу ухал одинокий колокол, среди молчанья остальных, всей звонницей жаждавших вторы, и всем долготерпением говевшей меди от нее воздерживавшихся. На выезде из Газетного Никитская била яйцо с коньяком в глухом омуте перекрестка. Голоса, въезжали в лужи кованые полозья, и цокал кремень под тростями концертантов. Консерватория в эти часы походила на цирк порой утренней уборки. Пустовали клетки амфитеатров, медленно наполнялся партер. Насилу загнанная в палки на зимнюю половину, музыка шлепала оттуда лапой по деревянной обшивке органа. Вдруг публика начинала прибывать ровным потоком, как из города, назначенного к очищению. И вот ее выпускали, и пестрая, несметно ломящаяся, молниеносно множащаяся, она скачками рассыпалась по эстраде. Ее настраивали, она с лихорадочной поспешностью неслась к согласью, и вдруг, достигнув гула неслыханной слитности, обрывалась на всем ба систом вихре, вся замерев и выровнявшись вдоль ramпы.

Это было первое поселенье человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. Их распугивали литаврами и водопадами хроматики из холодных, как пожарные брандспойты, тромбонов. На освобожденном участке возводилось невымышленное лирическое жилище...

Та же глава, стр. 208, строка 9 сверху: ...не менее проникновенно. Чем были все эти годы...

Там же, стр. 208, абзац 4-й: Но у меня не было абсолютного слуха. Так называется способность узнавать любую произвольно взятую ноту, без связи с какой-либо другой. Отсутствие этого качества, ни в какой связи с общею музыкальностью не стоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покою. Если бы музыка была мне поприщем, каковым она казалась со стороны, я бы этим абсолютным слухом не интересовался, за полной его ненужностью. Я знал, что его нет у выдающихся современных композиторов, что, вероятно, и Вагнер и Чайковский были его лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что могло быть самого фанатического, суеверного и самоотреченного во мне, и потому, всякий раз, как за каким-нибудь вечерним вдохновеньем окрылялась моя воля, я утром спешил унижить ее, вновь и вновь напоминая ей о названном недостатке.

Глава 4, стр. 210, строки 11-6 снизу: ...Я соглашался, что безличие сложнее лица, что многословье, чем оно бессодержательнее, тем более кажется уместным, и что развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к

нам впервые после долгой отвычки, принимаем за претензии формы...

Весь конец главки — от строки 7 снизу на стр. 210 («В возрастах отлично разбиралась Греция») и до конца на стр. 211 — в журнальной публикации отсутствует.

Главка 5: в журнальной публикации отсутствуют два последних абзаца главки (стр. 213): «Я не пишу своей биографии» и «Хотя к этому располагал рассказ».

Главка 6, стр. 215, строки 18-15 снизу: Копаясь в последнем отдалении эстетической вселенной и находясь в неподвижности, они давали наиполнейшее понятие о ее движущемся походном целом, как всякий, кажущийся нам контрастом, предел.

Там же, стр. 216, строка 16 и следующие снизу: ...полузаплеванный университет. Когда с наступлением сумерек аллюр живого времени лишался лица, осиротевшую инерцию и тут оседывало бесплодь.

Скользнув стеклами очков по часовым стеклышкам, либеральные Задопьятовы всех толков подымали головы в обращении к хорам и потолочным сводам....

Главка 7 — конец главки (стр. 220): ...всегда разом выдает породу. Клубок громких и независимых мыслей вмиг, на месте, без ненужных прикрас превращался в клубок спокойных слов, производившихся так, точно достаточно было одного их звучанья, чтобы слово стало делом. Он думал вслух, то-есть с такою правильностью в следованьи мыслей, что большинству, для которого предрассудок стал вторым языком, оставался непонятен. Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспоминал о нем дважды. Раз, когда, перечитывая Толстого, я вновь столкнулся с ним в Нехлюдове, и другой, когда на девятом съезде советов впервые услышал Владимира Ильича. Я говорю, разумеется, о последней неувимости, то-есть позволяю себе одну из тех аналогий, на почве которых делались сближения с лукавым хозяйственным мужичком, и множество других, менее убедительных.

Главка 8 — конец главки (стр. 222): ...Терпимость в отношении удобств, с появлением семьи дошедшая до прямой потребности в уюте, зародилась у меня только в послевоенное время. Оно наставило таких препятствий тому миру, который именно и не допускал в мою комнату никаких прикрас и поблажек, что временно он не мог не надломиться, а только на его внушеньях и держался весь мой характер.

Главка 9, стр. 223, строки 5-2 снизу: ...в разрезах шарообразных рукавов и крестчатой шнуровки корсажей. Они рвались к опущенному окну и подступали к горлу. Вконец потрясенный,...

Там же, стр. 225, строки 9-14 сверху: Так, например, школа не говорила о стадиях мирового духа, а, предположим, о почтовой

переписке семьи Бернулли, но при этом она знала, что всякая мысль, сколь угодно отдаленного времени, застигнутая на месте и за делом, т. е. за открытием закона природы или за каким-нибудь иным законодательным актом, должна полностью допустить нашу логическую комментацию.

Там же, стр. 225, строки 20-17 снизу: Они говорят о ее оригинальности, т. е. о живом месте, занятом ею в живой традиции для живого сообщения от лица и сердца поколения.

Часть вторая:

Глава 9, стр. 247, строки 5-3 снизу: За ними всплывали мученицы в капотах, проварившихся на теле, как в прачечных котлах.

Глава 14, стр. 259, последний абзац: он начинается прямо с: «Тут нет ничего чудесного».

Глава 15, стр. 259: конец 2-го абзаца: Со стороны ли мерцери, или телеграфа, дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья, вслед за чем воздух отламывается от воздуха и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную плоскость, выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дождей и трехстороннюю галерею.

Глава 16, стр. 261, последняя фраза главы: Но надо было попасть на их месторождение, чтобы в отличие от отдельных картин увидеть самое живопись, как золотую топь, кипящую под ногами, как особый язык, как один из первичных омутов творчества.

Глава 17, стр. 262, последний абзац: Кто поверит? Тожество изображенного, изобразителя и предмета изображения, или шире: смещение силовых осей объективности, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая творческий хаос определяющими ударами страсти. Надо видеть Микель Анджело Венеции — Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник.

Часть третья:

Глава 3, стр. 269, строки 8-7 снизу: ...трамваями и ломовиками, весело и просто направились к нам....

Глава 5, стр. 273, первый абзац заканчивается словами: «К нему нельзя было привыкнуть». Следующие абзацы: «Он обладал сравнительно постоянными качествами»; «Пока он существовал творчески»; «Привыкнуть нельзя было» и «Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому» — в журнальной публикации отсутствуют.

Глава 12, стр. 283, последняя фраза 2-го абзаца: А это минутами просветленья среди сплошного беспамятства звал к себе из ка-

бинета его единственный и безвыходный, переносный со штепселем, жилец.

Там же, абзац 3-й, вторая фраза: Я почти радовался случаю, когда впервые, как с обыкновенным смертным, говорил со своим любимцем,...

Главка 13 стр. 284, первый абзац заканчивается словами: «...Белый, Цветаева». Фраз, начиная с: «Я не мог, разумеется, знать» и кончая: «...людей двух движений, символистов и футуристов», — в журнальной публикации нет.

Главка 15, стр. 288, абзац 4: Но одинаково глупо произносятся слова: гений и красавица. А сколько в них общего!

Главка 17, стр. 293, абзац 2-й: фразы: «В своей осязательной необычности оно чем-то напоминало покойного» — в журнальной публикации нет.

Там же, начало абзаца 3-го: И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был собственно этому гражданству редчайшим гражданином.

Отдельное издание «Охранной грамоты» в книгохранилищах за пределами России — большая редкость. Издательство им. Чехова, включая «Охранную грамоту» в свой том «Опальных повестей» (1955), пользовалось первоначальной журнальной редакцией. Журнальная редакция легла также в основу недавнего нового английского перевода (Лондон, 1959) и немецкого перевода, вышедшего тоже в 1959 г. (в томике карманного формата вместе с другими произведениями Пастернака). Более ранний и крайне неудовлетворительный английский перевод был сделан с отдельного издания.

Припоминаемая Пастернаком в первой главке встреча со знаменитым немецким поэтом Рильке в поезде между Москвой и Тулой произошла в мае 1900 г. Рильке рассказывает о ней в письме из Тулы от 20 мая 1900 г. к Софии Николаевне Шилль, написанном сразу после посещения Ясной Поляны. В этом письме Рильке говорит, что Пастернаки ехали в Одессу и что Л. О. Пастернак сказал ему, что в том же поезде едет хороший знакомый Толстых и завсегда Ясной Поляны П. А. Буланже, который и взял на себя заботу о Рильке. Это была вторая поездка Рильке в Россию: с Толстым он познакомился в Москве в свою первую поездку, за год до того. Сопровождавшая Рильке дама — его приятельница, Lou Andreas-Salome. В переписке Рильке много писем к ней, и во многих речь идет о России. Она написала книгу воспоминаний о Рильке.

НАДМЕННЫЙ НИЩИЙ. Впервые — «Огонек».

ТЕТЯ ОЛЯ. Впервые — «30 Дней».

БЕЗЛЮБЬЕ. Впервые — «Воля Труда». Газету издавал бывший левый с.-р. Устинов. Текст в газете напечатан по смешанной орфографии и с несомненными опечатками, из которых совершенно явные нами исправлены без оговаривания. Никаких указаний на эту «главу из повести» нам в литературе о Пастернаке не попадалось. Не упоминает о ней нигде и сам Пастернак. В главе этой можно усмотреть первый зародыш будущего романа о Юрии Андреевиче Живаго, хотя героем его, может быть, должен был быть не Юрий Живаго, а Паша Антипов, первый, смутный набросок фигуры которого нельзя не видеть в Ковалевском. Кстати, последнему присвоено здесь имя Юрия. В описании зимней поездки в кибитке Пастернак использовал собственные впечатления от путешествия в марте 1917 г. с прикамских заводов в Москву, о котором он рассказал в «Автобиографическом очерке». В этом рассказе многое очень близко к описанию в «Безлюбьи», а есть и дословные совпадения (ср. в этом томе стр. 35-36). Между прочим, в «Очерке» Пастернак упоминает о том, что по пути, на Ижевском заводе должен был съехаться с инженером Збарским и прихватить его с собой. Этого Збарского он называет «замечательным человеком». Возможно, что он и послужил прототипом Ковалевского-Антипова. Другому персонажу «Безлюбья», Гольцеву, Пастернак придал автобиографическую черту: в «Очерке» он говорит про себя, что на заводе, на котором он служил в 1916 г., он «вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону». Обращает на себя внимание то обстоятельство, что «глава из повести» была напечатана Пастернаком всего через неделю после написания. См. по поводу этого отрывка комментарий Г. М. Каткова, от которого нами был получен текст «Безлюбья», к публикации его в «Н. Журнале». В тексте «Безлюбья», как оно напечатано в «Новом Журнале», случайно выпал абзац, начинающийся «Но вскоре два голоса...»

ДВА ОТРЫВКА ИЗ ГЛАВЫ РОМАНА «УЕЗД В ТЫЛУ». Впервые — «Лит. Газета», 1938, № 69. Все последние произведения — начиная с «Надменного нищего» и кончая «Уездом в тылу» — представляют отрывки из большого романа, — очевидно, первой редакции «Доктора Живаго». Роман свой Б. Л. Пастернак начал писать рано — он сам пишет об утерянном им романе, обработанном отрывком из которого является повесть «Детство Люверс». К этому же утерянному роману — прототипу «Живаго» — относится, несомненно, и «Безлюбье». Затем Пастернак снова возвратился к роману-эпопее — уже

во второй половине 1930-х гг. Так, в дневнике А. Н. Афиногенова, в записи от 21 сентября 1937 г., уже упоминается роман Пастернака: «Долго не мог понять — почему не понравился в романе Пастернака образ тающей кучки снега, как лебедя, выгибающего шею»... (А. Н. Афиногенов. Статьи. Дневники. Письма. Воспоминания. Изд. «Искусство», Москва, 1957, стр. 154.). Все эти отрывки тесно связаны также с «Детством Люверс», «Спекторским», «Повестью», некоторыми стихами (напр., стихотворением «Зимняя ночь», том 1, стр. 185). Общность многих имен героев и второстепенных персонажей; общность многих ситуаций и характеристик, не говоря уже о прямых указаниях самого автора в «Повести» и «Автобиографическом очерке», заставляют предполагать какую-то очень тесную связь между утраченной рукописью большого романа, первой редакцией «Живаго» (известной нам в отрывках «Надменный нищий», «Тетя Оля», «Из романа о 1905 г.» и «Уезд в тылу») и, наконец, самим романом. Последняя — общеизвестная — редакция «Живаго» закончена, вероятно, к 1954 г., так как во вступительной заметке к циклу стихов: «Стихи из романа 'Доктор Живаго'», — опубликованному в журн. «Знамя», кн. 4 за 1954, стр. 92-95, — Пастернак писал:

«Роман предположительно будет написан летом. Он охватит время от 1903 до 1929 года с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной Войне.

Герой — Юрий Александрович Живаго, врач, мыслитель, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и, среди бумаг, написанные в молодые годы, отделанные стихи, часть которых здесь предлагается и которые во всей совокупности составляют последнюю, заключительную главу романа».

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ОХРАННОЙ ГРАМОТЕ». Впервые — «Р. Мысль», № 1634, от 24 января 1961. В редакционной заметке говорилось, что «Послесловие» является неотправленным письмом к немецкому поэту Райнеру Марии Рильке: «Когда Пастернак кончил 'Охранную грамоту', Рильке уже не было в живых. Вышло так, что при жизни Рильке Пастернак не успел (или не сумел) поблагодарить его за лестный отзыв и любовь к нему. Делает это теперь посмертно, говорит о семейных своих делах («женский портрет Гирляндайо» — первая его жена; второе изображение — «кусочек небьющейся гордости» — вторая, теперь вдова), говорит, как всегда, взволнованно и несколько туманно, но с захватывающей искренностью и возвышенностью тона. Как нередко и в письмах, есть здесь и покаянная нота».

Если судить по фразе «Сейчас я кончил 'Охранную грамоту', посвященную Вашей памяти», «Послесловие» следовало бы отнести к 1931 году. Но, по словам некоторых близких к Б. Л. Пастернаку

людей, то, что он говорит о своих семейных обстоятельствах, свидетельствует о значительно более позднем времени написания. Во вступительной редакционной заметке «Русской Мысли» написание «Послесловия» было приурочено к 1937 году. Возможно, что «Послесловие» было начато в 1931 г., а закончено уже позднее. Записка, про которую Пастернак говорит, что Рильке в ней «обнял и благословил» его, напечатана в томе его писем из Мюзота (Briefe aus Muzot: 1921 bis 1926. Insel-Verlag, Leipzig, 1936, S. 355), а также в т. 5 Собрания писем. Она — без даты, но написана, видимо, в феврале 1926 г. из санатории Валь-Мон, в кантоне Валлис, где Рильке провел конец 1925 и начало 1926 года (там же он умер 29 декабря 1926 года). Повидимому, Пастернак просил Рильке прислать какой-то поэтессе (не Цветаевой ли? впрочем, едва ли: с Цветаевой Рильке был сам знаком и находился в переписке) две книги его стихов: «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею». Письмо Пастернака, насколько нам известно, никогда не печаталось. А вот что писал ему Рильке:

Дорогой мой Борис Пастернак,

Ваше желание было исполнено в тот самый час, как Ваше непосредственное письмо овеяло меня подобно неким крыльям: «Элегии» и «Сонеты к Орфею» уже находятся в руках поэтессы. Эти же книги пойдут затем и Вам — в других экземплярах. Как мне благодарить Вас за то, что Вы дали мне увидеть и почувствовать то, что Вы так чудесно в себе приумножили. То, что Вы могли уделить мне столь богатую жатву Вашего духа, служит к славе Вашего щедрого сердца. Да будет над Вами всяческое благословение. Обнимаю Вас.

Ваш Райнер Мария Рильке.

Вслед за подписью идет приписка, очевидно, обращенная к лицу, через посредство которого Рильке пересылал свое письмо Пастернаку. Эта приписка гласит:

Я так потрясен полнотой и силой его обращения, что сегодня не могу ничего больше сказать, но прилагаемый листок пошлите моему другу в Москву. Как привет.

В тех же томах писем Рильке напечатано его довольно длинное письмо к отцу Б. Л. Пастернака, художнику Л. О. Пастернаку, жившему тогда в Мюнхене (в переписке Рильке сохранились и два гораздо более ранних его письма к Пастернаку-отцу). В этом письме, датированном 14 марта 1926 г., Рильке упоминает и Б. Л. Говоря о своей поездке в 1925 г. в Париж, во время которой он как бы снова прикоснулся к любимой им России (он виделся тогда с Мариной Цветаевой, с И. А. Буниным, с Ю. Л. Сазоновой и другими русскими), Рильке писал, что в Париже его коснулась и «юная слава» Бориса

Пастернака, прибавляя: «Это было также последнее по времени, что я пробовал читать там — его стихи, п р е к р а с н ы е (в маленькой антологии Ильи Эренбурга, которую я потом, к сожалению, подарил русской балерине Миле Сируль — к сожалению, потому что с тех пор мне иногда хотелось перечитать их»). Рильке до самой своей смерти свободно читал по-русски. «Маленькая антология» Эренбурга — это его «Портреты русских поэтов» (Берлин 1922). В этой книжке краткие характеристики ряда современных поэтов, которых Эренбург знал лично и ценил, сопровождаются пятью образцами их поэзии.

В приписке к письму Рильке упоминал, что в последнем номере французского журнала “Commerce”, к которому имел ближайшее отношение поэт Поль Валери, были напечатаны «производящие большое впечатление» стихи Б. Л. Пастернака. Речь шла о переведенных Е. А. Извольской и напечатанных в тетради 6-й “Commerce” за 1925 год стихотворениях «Душная ночь» и «Отплытие».

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Текст	Страница Примечания
От редакторов	V	
Проза Пастернака. Вступительная статья В. Вейдле	VII	
Автобиографический очерк	1	348
Апеллесова черта	53	351
Письма из Тулы	75	351
Детство Люверс	83	351
Воздушные пути	137	351
Повесть	151	352
Охранная грамота	203	352
Надменный нищий	295	356
Тетя Оля	303	356
Из нового романа о 1905 годе	311	357
Безлюбье	321	357
Два отрывка из главы романа: Уезд в тылу	329	357
ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВОЕ:		
<i>Послесловие к «Охранной грамоте»</i>	341	358
ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ:		
<i>Примечания и разночтения</i>	345	

томник этот так и не увидел света в Советском Союзе (он должен в скором времени появиться за-границей); предпосланный же ему автобиографический очерк был в 1957 г. напечатан за-границей, сначала в переводах, а потом и по-русски.

В настоящий том вошли также более ранняя автобиография Пастернака — “Охранная грамота”, малоизвестная “Повесть”, связанная с поэмой “Спекторский”, несколько прозаических фрагментов, которые можно рассматривать как первые наброски к будущему роману. Читатель найдет также в этом томе вступительную статью В. В. Вейдле и обширные редакторские примечания.

Г. П. Струве, получивший образование в Оксфорде, занимает ныне должность профессора славянских языков и литератур в Калифорнийском университете в Беркли. Он автор книг **Советская русская литература: 1917-1950** и др.

Б. А. Филипов, родившийся в России, автор нескольких книг и редактор полного собрания сочинений Н.Клюева.

Обложка работы Рональда Стаховяка

This volume is part of the first edition in any language of the Collected Works of the Russian Nobel Prize winner Boris Pasternak. With *Doktor Zhivago* already published in Russian by The University of Michigan Press, it comprises all of the known available published works of Pasternak, with the exception of his translations.

“One of the most remarkable masters of verse in our day”: thus Nikolai Bukharin, one of the foremost ideologists of Russian Communism, described Pasternak at the First Congress of Soviet Writers in 1934. Yet during the last twenty-five years his work has been officially ignored. His novel, *Doktor Zhivago*, his *Autobiographical Sketch*, and a number of his poems written during the last years of his life were never published in the Soviet Union. His other works have been out of print for fifteen years.

This volume is a collection of Pasternak’s short prose works of 1915-1958. It includes early fragments and drafts related to *Zhivago*, stories which first appeared in book form in 1925, the earlier autobiography *Safe Conduct*, and the little known *Povest*, as well as the suppressed *Autobiographical Sketch*, published abroad in 1957.

Gleb Struve, educated at Oxford, is professor of Slavic Languages and Literatures at the University of California, Berkeley. He is the author of **Soviet Russian Literature: 1917-1950**.

Boris Filipoff, born in Russia, is the author of several books of poems and stories and has edited the complete works of Nikolay Klyuev.

Jacket designed by Ronald Stachowiak

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Четыре тома . . .

РАННИЕ СТИХИ, 1912-1932

ПРОЗА (рассказы и повести, автобиографические очерки)

СТАТЬИ И СТИХИ (поздние стихи и разные произведения)

под редакцией Глеба Струве и Бориса Филиппова, с предисловием графини Жаклин де Пруаяр и с вступительными статьями Владимира Вейдле

и получивший Нобелевскую премию ДОКТОР ЖИВАГО

“ . . . одно из величайших произведений нашего времени.”

Эдмунд Вилсон в **Нью Йоркере**

ТАКЖЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Михаил Зощенко

ИЗБРАННОЕ (рассказы)

под редакцией Марка Слонима, с его же введением

В это издание включены лучшие произведения Зощенко, часть которых ещё недоступна русской читающей публике и которые написаны на колоритном языке отражающем как запутанную речь недопечённого коммуниста, так и сочный, отземный разговор советского гражданина.

BORIS PASTERNAK'S COLLECTED WORKS

Four Volumes . . .

EARLY POETRY, 1912-1932

SHORT PROSE (stories and tales, autobiographical writings)

LATER POETRY AND MISCELLANEOUS WRITINGS

edited by Gleb Struve and Boris Filipoff, with introductions by Wladimir Weidlé and Foreword by Countess Jacqueline de Proyard
and the Nobel Prize Winning DOKTOR ZHIVAGO

“ . . . one of the very great books of our time.”

—Edmund Wilson, **New Yorker**

ALSO IN RUSSIAN:

Mikhail Zoshchenko

IZBRANNOE (Selected Stories)

Edited, with an introduction, by Marc Slonim

Here in the original Russian, in the twisted idiom of the half-baked Communist and the earthy speech of the Soviet citizen, is Zoshchenko's best work, much of it unavailable to the Russian reading public.

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS / ANN ARBOR